

Сергей Шелковый

*НА УЛИЦЕ  
ПУШКИНСКОЙ...*

проза, эссеистика

ХАРЬКОВ  
«ПРАВА ЛЮДИНИ»  
2011

ББК 84.4 УКР-РОС

III 43

**Шелковый С.К.**

III 43      **На улице Пушкинской...** : проза, эссеистика / Харьков  
Права людини, 2011. — 336 с.

ISBN 978-617-587-045-7.

В новую книгу известного писателя Сергея Шелкового, автора двух десятков книг и лауреата ряда литературных премий, включена автобиографическая проза «Кровь, молоко», на страницах которой оживают реалии харьковской жизни 50-ых и 60-ых годов прошлого века, а также эссеистские работы разных лет, посвящённые русским поэтам О. Мандельштаму, В. Нарбуту, М. Рахлиной, О. Бондаренко.

**ББК 84.4 УКР-РОС**

ISBN 978-617-587-045-7

© С.К.Шелковый, 2011

© Б.Е.Захаров, художественное  
оформление, 2011

# *Кровь, молоко*

*автобиографическая проза*



# 1. ЛИТЕРА НА БАГРЯНОМ ЩИТЕ

---

Я родился во Львове 21 июля 1947-го года. И время и место рождения были помечены явными знаками тревожности. Послевоенный 47-ой год выдался неурожайным, голодным. Голод, погубивший тогда около миллиона человек, охватил в основном Восток Украины. А по всей западной её части в полную силу продолжалось трагическое кровопускание. Лесные братья, сторонники независимости от Москвы, отбивались от вояк НКВД, сжимавших сталински-стальные объятия окружения. Люди с обеих сторон гибли нещадно, ибо особой жестокостью отличаются нередко именно гражданские побоища — споры в общем доме, когда каждый из домочадцев свирепо отстаивает лишь свою, единственно возможную и неприкосновенную, правоту.

Об этих обстоятельствах времени и места моего рождения я узнал значительно позднее, несколько десятилетий спустя. Фон тревожности, однако, присутствовал априорно и ощущался на уровне подсознания — постоянно и неизменно. После очень трудных, почти критических, родов меня продержали два месяца во Львове у родственников, из которых ближайшим родичем была бабка Ольга Ильинична — мать моей двадцатидвухлетней на тот час матери. После того, младенческого, отъезда из Львова, в том же 1947-ом году, — города этого я не видел потом без малого сорок девять лет.

В моем появлении на свет именно в европейском Львове никакой плановости и обстоятельной логики не просматривалось. Было лишь некое стечение житейских обстоятельств, которое, впрочем, присутствует явно или неявно в любом, и в малом, и в великом, осуществлении. Логичнее мне было бы родиться

во вполне евразийском Харькове, на переломе Дикого поля, где и был я, в одночасье, без великих стратегических умыслов, зачат молодым, но бывалым, двадцатилетним отцом и юной матерью, двадцати одного года от роду.

Никто из наших родичей корнями в Западной Украине похвалиться не мог. Бабка моя с материнской стороны, Ольга Ильинична Денисова (в девичестве — наследница известной разбойной фамилии Гаркуша), эвакуировалась из центральной Украины, с Кировоградщины, в узбекистанский Самарканд в 1941-ом году. После войны каким-то шальным ветром принесло ее из Средней Азии во Львов вместе с малым сыном Валерием, единственным моим дядькой, младшим братом моей матери, и вместе с семьей Анны Ильиничны — старшей из сестёр Гаркуш. Бабе Оле моей в июне этого, 2003-го года, даст Бог, стукнет 95 лет. А её обитание в этом городе, — галицком, украинском, польском, австрийском, советско-антисоветском, наконец, начиная с послевоенного времени, — и послужило основной причиной моего появления на свет именно там — во Львове, в Лемберге, в Леополисе.

Когда я подрастал в Харькове, то есть на тысячу километров восточнее Львова, помнится, упоминание о месте моего рождения меня определённо интриговало: и царско-звериной подоплёкой львиного имени, и западной отдалённостью города, и нестандартностью исторической его судьбы. Какие-то отрывочные свидетельства о старых львовских камнях, костёлах и каплицах, до меня уже в те отроческие годы время от времени долетали. А некое, словно бы врожденное, тяготение к седой каменной кладке, впитавшей вкус и запах минувших времён, сколько себя помню, всегда было со мной:

*Пересчитать все львовские соборы,  
в лазури искупать все купола! –  
Здесь львиных грив вельможные уборы  
июль ещё не выжег добела...*

Тогда, в июле 1947-го года, во Львове мать едва не умерла при родах. Выбирался я на свет Божий очень тяжело и родился двухголовым. На младенческом темени возвышалось сферическое

вздутие, размером со вторую голову, — гематома от природных ударов, от судорожных моих попыток пробиться в недружелюбный мир. Молоко у матери для меня так и не появилось, и после двух месяцев невнятного кормления во Львове я был отправлен на Кировоградщину, на станцию Долинская, к родственникам бабы Оли. Судя по бабкиным свидетельствам и единственному снимку того времени, на который мне удалось взглянуть, но который потом, как водится, увы, исчез, на тамошнем, долинском, козьем молоке младенец воспрял, и его не очень приветливое лицо с настырно-вдумчивым взглядом обзавелось плотными, начальственного вида щеками.

Родители к моменту моего рождения были студентами Харьковского политехнического института, точнее, тех вузов, в которые сразу после войны были временно превращены факультеты политеха. Отец заканчивал машиностроительный, а мать электротехнический. Отец с 1943-го по 1946-й учился в Москве в Бауманском высшем техническом училище на артиллерийском факультете, вернулся после 3-го курса к родителям в Харьков. Мама в эвакуации, в Самарканде, окончила два курса филиала Ленинградского института кинематографии, так приблизительно, по ее словам, это учебное заведение звалось. Однако в 1946-м году ее внутренний голос, которому я, видимо, очень многим обязан, направил ее в послевоенный Харьков, где на улице Дзержинского (ныне снова улица Мироносицкая) жили по-соседски в одной коммуналке тетка отца, Александра Ивановна Шелковая, и дальние родственники матери — чета Пироговых.

Николай Иванович Пирогов был весьма серьезным мужчиной с большим, внушительно-громоздким лицом. Черты лица такого, несколько лошадиного, типа, по моему наблюдению, высоко котировались при назначении на руководящую работу в те годы. Само послевоенное время было именно таким — сурово-серые, нарочито-мрачные колера, линии, сработанные одним-двумя топорными ударами. Все же то ли в линии огромного рта щелкунчика, то ли в иных складках и морщинах пироговского лица присутствовала, помимо несомненной основательности и надежности, и некая усталая доброта, черта как бы совершенно домашняя и не предназначенная для государственной службы.

Николай Иванович занимал высоко ответственную должность начальника областного аптекоуправления. Он был также обладателем огромной коллекции почтовых марок — огромной и по количеству зубчатых заманчивых картинок, и по их стоимости. Комплектовал он то, что называется системной коллекцией, то есть весь Советский Союз и все социалистические братские страны, идеологически безупречно выбрав вектор своего творческого накопительства. Это его марочное богатство послужило в дальнейшем, в период моего отрочества, причиной наших с ним редких, но обоюдоприятных общений. Ведь хотелось же ему изредка разделить хоть с кем-то обозрение своих филателистических сокровищ. Вполне благодарным собеседником и созерцателем был в этом случае подросток с живым взглядом, к тому же дальний родственник, десятая вода на киселе.

У этих Пироговых мать, в девичестве — Валентина Денисова, и поселилась на время, приехав в Харьков в августе 1946-го года. Окна двух пироговских, громадно-захламленных комнат, глядя с высоты подчердачного этажа, выходили на улицу Жен-мироносиц, заслоненных, правда, в тот период пуленепробиваемой шинелью железного Феликса.

Там, в коммунальной квартире на пятом, последнем, этаже серого дома с высоченными лестничными пролетами, мать с отцом и встретились впервые осенью 46-го года. Уже в последний год жизни отца, в одном из наших не очень-то частых разговоров, у него как-то выскользнуло признание, что очень скоро после первой их с матерью встречи объявил и я о своем возникновении, не слишком этим кого-либо обрадовав. Выразился он своеобразно, воистину в своем, ему присущем, стиле: «Не помню. Кажется, в первый вечер и прибрал ее к рукам...»

В голосе его, потускневшем, семидесятилетнем, по многим понятным мне тогда причинам, — в первую очередь из-за его старенья и нездоровья, — уже не слышалось ничего, кроме неотступной усталости. Однако и ответные слова, конечно, мною вслух не произнесенные, вряд ли могли быть в этом случае ласковыми: «Не помнит он... Ну, что ж, и на том спасибо». Все-таки характер его размашистый давал порою такие всплески, что хотелось перекреститься и сказать: «Не дай Бог...»



Мать, думаю, всегда была влюблена в отца. И не мудрено: высокий, статный, спортивный, похожий на киноактера, — как не раз попискивали женщины и слева, и справа уже на моей сыновьей памяти, — явно наделенный и сильным волевым излучением, и зачатками артистизма. О нем, о Константине Ивановиче, еще немало слов впереди. Он — существенная часть обширной, хотя и трудночитаемой семейной саги.

Но волнует меня, и волнует давно, мысль о том, что пора уже поспешить, дабы не опоздать, пора назвать, и бережно, и не всеумногие другие имена, более глубоко погруженные во время, большинство из которых уже никто, кроме меня, не только не назовет, но и вспомнить, пожалуй, не сможет. Ну, кто бы еще мог это сделать? Господь, разве что, единый. Всего-то двое и остается нас, посвященных в некий большой, многоименный и разнофамильный, срез человеческого бытия. Неудивительно, что мысль эта мало-помалу начинает входить и в дыхание, и в сердцебиенье.

И вот счастливое начало этого, как выяснилось, не столь уж краткого дыхания — Луганск, самая дорогая часть почвы моего детства. Самый солнечный и обширный, самый щедрый надел питающего душу земного пространства:

*Клочок земли, клочок земного сада,  
В живой росе жасминовый расцвет. —  
Ни большего, ни лучшего не надо  
Ни там, тогда, ни здесь, на склоне лет...*

Эта строфа, как и множество других моих строчек, написана о скромном луганском доме, о небольшой, но казавшейся прежде безмерной, усадьбе моего деда Петра Ивановича и бабушки Марфы Романовны. У них в свои дошкольные годы я жил каждое лето и каждую последующую зиму мечтал о новом возвращении в Луганск. Что влекло туда, почти на самый берег вечно заросшей ряскою речки Лугани, к железнодорожному поезду у Камброда, то есть у Каменного брода — старого района бандюганских малин?

Конечно же, влекло впервые испытанное здесь ощущение приволья, распаханности огромного летнего мира — золотого,

зеленого, ярко-синего. Конечно, застекленная и заросшая диким виноградом веранда, обратившая три свои деревянные ступени прямо в сад. Тот самый сад, где обитали пяток коренастых яблонь, бабушкины пионы и розы, петунии и настурции и самые душистые из растений, особенно во тьме вечеров, белые табачи. Конечно, дощатая лачужка летней душевой в дальнем углу сада, по железной трубе которой легче всего было взобраться на известняковую ограду. И еще превеликое множество, миллион других живых вещей, сросшихся с солнцем, воздухом, зеленью...

Но существовало еще нечто более важное, чем вся эта остроощутимая, праздничная фактура, чем вся эта вселенская таблица жизнетворящих элементов. Существовало то, что более всего притягивало отроческую душу в те края — чета родных людей, женщина и мужчина, уже в возрасте — под шестьдесят, от которых исходило дыхание доброты, заботы, бескорыстия. Дыхание мирной и ровной любви.

Дед целыми днями работал — директорствовал на Луганском военном заводе, и с ним я встречался, разве что, только за ужином — на облюбованной нами всеми веранде. Зато бабушка оставалась дома на хозяйстве и, как могла, отслеживала мою нескончаемую и непредсказуемую беготню. С ними двумя, в тех краях, все лето не покидало меня стойкое ощущение света, теплоты, легкости. К тому же, и называл я из обоих коротко и легко: Петя и Муся.

Петр Иванович был дядькой моего отца, вторым по старшинству сыном в большой семье прадеда Ивана Моисеевича Шелкового и прабабки Анны Петровны (до замужества — Бутенко). Старший из шести братьев, Василий Иванович, родился в 1887-ом году, Петр — в 1890-ом. Затем появились: Николай в 1893-ем, Иван — в 1894-ом, ставший отцом моего отца, за ними Константин — в 1896-ом, Яков — в 1900-ом. Старшая сестра Любовь родилась в 1888-ом, а самая младшая из всех детей, Александра, родившись в 1903-ем году, прожила 96 с половиной лет и умерла в августе 1999-го года, пережив ровно на три года моего отца, ее единственного племянника.

Незаяурядный заряд жизнестойкости в нашем роду бесспорно присутствовал. Все братья-сестры прадедовой семьи, пережив-

шие свое младенчество, смогли добраться в своей жизненной борьбе до преклонных лет (под восемьдесят и за восемьдесят), кроме Константина, погибшего совсем молодым в Гражданскую войну, в 1918-м году. А ведь всем им пришлось пережить две мировые войны, революцию, Гражданскую войну, разруху, голодомор, сталинщину, аресты близких, постоянное ожидание гибели день за днем, год за годом — в этом веке, выбравшем Русь для безумных экспериментов и репетиций Армагеддона...

В семье рождено еще трое детей, умерших младенцами, в 1885-ом, 1886-ом и 1913-ом: Андрей, Ульяна и Тамара. Сам прадед, учительствовавший в народных школах, в основном в городках и селах Полтавской губернии, являет с нескольких сохранившихся фотографий (снято в Константинограде) несомненно интеллигентное, породисто-удлиненное лицо — с высоким лбом, со взглядом светлых глаз, чуть лукавым и остро-пристальным. Родился он в 1847-ом году в полтавском Холодном Плесе, а смерть догнала его в дороге в январе 1920-го — в ту же Гражданскую войну, в которой два года назад погиб его сын Константин, захваченный немцами в плен в Таганроге и расстрелянный в Новороссийске. Прадед был человеком долга и отправился на поиски, вернее, во спасение сына Петра, сгоравшего в сыпняке на железнодорожной станции под Сумами.

Там, в Ахтырке, товарищи Петра Ивановича, красноармейцы, оставили его, тяжелого тифозного больного, и уже не жильца, по их мнению, одного в товарном вагоне. Прадед за трое суток добрался лишь до Барвенкова, одолев только тридцать с небольшим километров, и там почувствовал, что сам заразился тифом. Вернувшись в Краматорск, в дом, купленный в 1905-м году, где жила тогда большая часть семьи, он промаялся в тифозной горячке две недели и умер 28 января — семидесяти трех лет от роду. Жертва во спасение сына, выходит по всему, была принята. Как были приняты и замечены свыше материнские слезы Анны Петровны, узнавшей от красных вояк о почти безнадежном положении сына. Они-то, эти слезы, отчаянные и молитвенные, и подтолкнули в роковую дорогу прадеда Ивана, судя по всему, по-настоящему, — по-человечески и по-христиански, — любившего жену и детей.

Часть краматорского кладбища с его могилой была снесена позже, — по уважительным, как водится, причинам, — когда прокладывался рельсовый путь для вагонеток к краматорскому металлургическому заводу. Светло-острый прадедовский взгляд с константиноградских снимков конца 19-го века кажется мне совершенно живым и сегодняшним, очень знакомым — виданным вблизи, накоротке и не один раз...

Прабабка Анна Петровна (кроме фамилии ее отца, Бутенко, не забылась и фамилия матери — Скрипник) родилась на пятнадцать лет позже прадеда, то есть в 1862-ом. Упокоилась во вторую мировую войну, летом 1942-го года, в том же Краматорске, что и ее муж, да только оккупированном немцами, а не разодранном гражданскими распрями, как в году 1920-ом... Не дожила всего-то пять лет до моего на свет Божий появления, а могла бы, думаю, порадоваться — чадолюбия ей было явно не занимать. Не занимать — ни чадолюбия самоотверженного, себя не щадящего, ни упорства, ни терпения, ни работящей натуры. А ну-ка — родить одиннадцать детей, восьмерых вырастить, год за годом на десятерых трижды в день еды наколдовывать у чугунной плиты — чего-то эти труды да стоят? А выжить всей большой семьей в кровавейшей из смут — то вопреки Ленину-Сталину, то немцу-германцу в пику? Прадеда дети в семье называли на ты, хотя держал он их всех строго, в кулаке, а к Анне Петровне по его требованию обращались только на Вы. Не пересекшись с ними во времени, не встретившись вживую, я их обоих за одну лишь эту малую, да золотую и умную, подробность их бытия не любить, не ценить, не помнить — не вправе!

В устном семейном архиве сохранился — стараниями Александры Ивановны — и образец одного из высказываний прабабки, лаконичного и точно интонированного. Отвечая на радостно-возбужденные взмахи хвостом дворового кобелька, на «телячий восторг» своего любимца Тырыка, Анна Петровна произносила задумчиво и нараспев: «Ич, якэ...» Но в случае неких провинностей четвероногого служителя фраза чуть удлинялась и приобретала ноту суровости: «Ич, якэ стэрво...»

Из шести сыновей Петя был более других похож на мать. Такой же кареглазый, с выражением доброты и задумчивости

во взгляде, чуть рыжеватый, с белой кожей, что определяет, обычно, хороший цвет лица. «Ладный, высокий, широкоплечий, с бритой гетманской головой...» — напечатано на первой странице моей первой книжки «Всадник-май», вышедшей уже почти два десятилетия назад в неблизкой, и сказать бы, двоюродной, но не отказавшей в данном случае в родстве, Москве. Эти слова, и это стихотворение из той давней книги — о нем, о Петре Ивановиче. Бритоголовость его, однако, нисколько не была подражанием гетманству, но лишь следствием сыпняка 1920-го года — возвратного тифа с тремя циклами-повторениями.

«Ладный, высокий» — это точно. Петр Иванович, как и мой отец, отличался весьма хорошим ростом — за метр восемьдесят. Правда, мой родной дед Иван, пошедший и лицом, и фигурой, и ростом в прадеда, возвышался сантиметров на пять поболее. Однако же и он, и прадед удались высокими и сухощавыми, эдакого английско-дипломатического образца. А мощное, плечистое сложение Петра, а затем и моего отца, пожалуй, наследовали в следующем поколении мы с младшим братом. Да и вообще, что до размаха в плечах и до широкой кости, то в последних трех поколениях нашего рода мужиков менее, чем в сотню килограммов боевого веса, и не наблюдалось.

С пятнадцати лет Петя работал литейщиком на металлургическом краматорском заводе. В Луганск он перебрался в 1912-ом году и снова вернулся туда уже после окончания воинской службы, которую проходил сначала недолго в том же 12-ом году в Санкт-Петербурге, а затем, начиная с 14-го года, более трех лет, в действующей армии. «В память моей военной службы в лейб-гвардии Преображенского полка 4-й роты» — написано на сохранившейся до сего дня фотографии 1912-го года, отпечатанной в ателье В.Ю. Яновского на Большой Дворянской под номером 12.

Портрет гвардейца во весь рост в парадном мундире, в кивере с султаном, с коротким, вполне римским, мечом в деснице исполнен фотошаблоном, в который довольно аккуратно вставлено изображение родного дедового лица, тогда еще молодого, двадцатидвухлетнего. Лампасы брюк, обшлага рукавов, накладная червонная трапеция груди мундира, погоны, стоячий воротник, многодетальное сооружение кивера, пряжки, пуговицы, аксель-

банты — все это тщательно раскрашено на снимке вручную в четыре масляных краски — алую, золотую, белую, серо-голубую.

Ваза с цветами, поставленная на ампирном столике по левую руку гвардейца, расцвечена, хотя и не так тщательно, в те же четыре колера, но уже не маслом, а анилиновыми красками. Вся прочая атрибутика парадного изображения — целая коллекция холодного и огнестрельного оружия, знамен и штандартов, — красуется на стене фотостудии господина Яновского, равно как и на подиуме с перилами и фигуристыми балясинами.

В 1912-ом году, когда, еще до начала войны, Петр Иванович оказался в армии, его солдатский жребий, который он тянул ранее в Краматорске, был дальним или, как говорили тогда, высоким. То есть его черед служить еще не настал. Но двое хлопцев со жребием более низким как раз подались в дезертиры, и дед, «ладный, высокий, широкоплечий», оказался в лейб-гвардейском Преображенском полку. Роскошные милитаристские прищипки с фотографии петербургской студии являют, конечно, полный диссонанс с реалиями, обозначившими тогда солдатские годы деда Петра в окопах первой мировой войны.

Растянувшиеся с сентября 1914-го и до самого 17-го года военные окопные дни были раскрашены для Петра Ивановича уже в совсем иные краски. Мобилизовали его поспешно как участника недавних рабочих волнений на луганском патронном заводе. А вернувшись в Луганск в 1917-ом году, стал он, уже с сентября 1917-го, членом большевистской партии. Мне, в мятежном юношестве, среди множества регалий моего заслуженного деда Петра наиболее звучным и несомненным казалось как раз это определение — партиец с дореволюционным стажем... Оно как бы подразумевало дальнейший мужественный и стоический путь. В его случае, в его биографии все было именно так — и мужество, и самоотвержение, и стоицизм.

Дед не погиб на переломе 19-го и 20-го годов от жесточайшего сыпного тифа, оставленный своими спутниками-бойцами на умирание в грузовом вагоне на запасных путях Ахтырки. Сначала помогли продержаться несколько дней пожилые сердобольные железнодорожники, а затем и Марфа Романовна отыскала его, отправившись на поиски, после того, как прадед вынужден

был вернуться, едва пустившись в путь, не только не добравшись до сына, но и встретив на этом пути свою собственную гибель — от того же сыпняка. Выкарабкиваясь на этот свет после трех приступов возвратного тифа, Петр Иванович поглощал еду в невероятных количествах — как потом вспоминала бабушка. После тех ахтырских испытаний они прожили вместе еще сорок семь лет.

Если в окопах первой мировой войны с 14-го по 17-ый год было совсем не сладко, то Гражданская война далась Петру Ивановичу куда тяжелей: еще до тифа, в 19-ом году, ему пришлось долго залечивать плечо, простреленное пулеметным свинцом. После ранения дед работал казначеем 5-й армии, которой во время обороны Царицына руководил Сталин. Рассказывал, много позже, о эпизоде, когда ему пришлось перевозить одновременно несколько мешков, наполненных деньгами. Напутствие товарища Сталина было кратким: «Если хоть один рубль пропадет, из-под зэмли достану». Марфа Романовна усатого вождя категорически и страстно не любила из-за событий 1940–42-го годов, когда деда арестовали чекисты и промордовали в сталинских тюрьмах около двух лет. Из времен обороны Царицына вспоминала бытовую деталь о Сталине, по ее определению, позорную: «Тогда еще в парходный гальюн с охраной ходил, вояка...»

Закончил Петр Иванович Гражданскую войну с орденом Боевого Красного Знамени и, главное, живым. Дважды спас деда большевистский, по его выражению, Бог — в 19-ом, после сквозного пулеметного ранения при обороне Царицына от генерала Краснова и в 20-ом, во многонедельном тифозном жару в товарняке, на запасных путях сумской Ахтырки. Думаю, что в его формулировке «большевистский Бог» именно второе слово «Бог» было не только грамматическим существительным, но, наверняка, наиболее существенной, весомой частью определения. А прилагательное «большевистский» и моему Петру, и его Богу-спасителю было пожаловано — сказать бы, на двоих, в двуединстве, — тем грозным и жестоким, трагическим по сути, и «бессмысленным и беспощадным» по своим итогам русским временем, которое мы и сегодня еще рукавом с губ и с глаз горько утираем.

Говорю здесь о двуединстве земного и небесного именно потому, что, хорошо зная, кровно и родственно чувствуя деда, всег-

да видел и теперь вижу его человеком призванности, служения, истовым носителем высокой идеи (а разве это не одно из имен Божьих?). Вижу его таковым и по всем делам его, и по великочеловеческому облику — по редкому единению твердости действия и глубинной неизбывной мягкости взора, сердечности характера.

Пожевав за пять с половиной своих десятилетий и соли пудами, и ничуть не менее несолоно похлебавши, не сомневаюсь ни на йоту, что он, Петр, был из тех, кому имя — «соль земли». А земле нашей отеческой, безжалостно перепаханной железом и огнем, заблуждением и низостью, грехом и непокаянием последнего века, без этой своей исконной соли никак не выжить, не устоять.

Ведь бесом сегодня, в начале нового века и тысячелетия, на родимой почве смердит нисколько не меньше, чем смердело им в году 20-ом или 37-ом столетия минувшего. И мой Петр для меня — менее всего прошлое. Он — подлинная часть меня самого, дух и плоть нашего общего и богоборческого, и богоотступного времени.

После Гражданской войны дед стал работать директором Алчевского металлургического завода. Партия доверила, знала кому доверить. Из тех времен дошло до меня лишь то, что в доме у них с Марфой Романовной жила овчарка по имени Акбар. Из Алчевска же Петра Ивановича направили в Москву на учебу в Промакадемию — тогдашнюю кузницу руководящих кадров для индустрии. Да и не только для индустрии. В одной группе с дедом постигал науки знатный партиец Никита Хрущев. «Говорлив был неистово и всегда готов чуть ли не часами разглагольствовать на любую тему. Правда, все эти речи отличались крайним сумбуром и невнятистью», — вспоминал дед о Мыкитке времени Промакадемии.

Не удастся забыть и мне свою отроческую, двенадцатилетней поры, краску стыда на лице, эпизод из благословенного 59-го года. С экрана телевизора модели КВН, через глицериновую линзу, передавалось впервые — из самого Вашингтона — интервью первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева американскому телекорреспонденту. В один из моментов интервью, когда янки — кста-



ти, с довольно циничной, очень не нашей физиономией — имел неосторожность использовать в своем вопросе метафору «выть на луну», Никита, и до того душно и натужно пыхтевший после каждого вопроса, взорвался и отбросил всякие тормоза. «Я вам не собака, я не выть вам на луну, я первый секретарь!» — орало во все свое луженое и косноязычное горло наиважнейшее лицо моей великой Родины.

Жар на щеках, стыд, желание убежать и спрятаться памятни мне и через сорок с лишним лет, ощутимы едва ли не физически. Никита орал, наливался тяжким свинячьим загравком, брызгал во все стороны слюной. Эти брызги позора из плохого Вашингтона, казалось, пролетали через глицериновую линзу самого лучшего в мире телевизора КВН, чтобы в доме № 43 на Московском проспекте, бывшем проспекте Сталина, в городе Харькове прилепиться отнюдь не Божьей росой к щекам отрока и пионера, отличника и патриота.

Тогда это было впервые. Давно, уже очень давно, едва ли не каждое из высочайших изречений отечественных самодержцев для меня, взрослого человека, — те же ядовитые брызги лжи, позора, срама крошечного. И как бы ни хотел, как бы ни пытался я отделить всякий раз самого себя от очередного царя Ирода, получается, увы, не слишком убедительно...

Проучившись в Промакадемии в 28–29-ом годах, дед заканчивал ее уже заочно, после того, как был направлен из Москвы директорствовать сначала в Ульяновск, а затем на тот же луганский патронный завод, где еще в 12-ом году начинал работать литейщиком и куда в 17-ом году вернулся с фронта после большевистского переворота в Петрограде. Работая здесь, стал депутатом Верховного Совета СССР первого созыва. И депутатство всесоюзное и орден Ленина, в те годы наивысшую государственную награду, заслужил не интригами и аппаратными играми, а пахотой беззаветной, шестнадцатичасовым рабочим днем. Права на ошибку ни у него, ни у вверенных ему тысяч работников, конечно, не было. Субботы и воскресенья тоже начинались с непременного обхода заводских цехов. В уже завершающие годы дедовых трудов я, еще совсем мальчик, сам был тому служению понимающим и почтительным свидетелем.

Детей у них с Марфой Романовной, к превеликому их сожалению, не было, ребенок после родов с кесаревым сечением не выжил. Марфа моя, возлюбленная и незабвенная, — и это, при всей нашей с ней разнице возрастов в шесть десятков лет, ничуть не метафора, — была схвачена зимой 18-го года, в разгар боевых действий 5-й армии, деникинцами-контрразведчиками. Захватили ее, когда, подалась она, душа отважная и пылкая, характер искренний и прямой, в тыл к белым, с разведзаданием. Казнить ее пытались, выбросив после избиений из окна третьего этажа. Спасли промысел Господний и зимние сугробы под окнами. Но вследствие того падения родить, даже с кесаревым вмешательством, как выяснили позднее медики, она уже не могла.

Под новый 27-ой год Марфа Романовна, Муся, забрала к себе моего восьмимесячного отца и ухаживала за ним до 28-го года, пока отец Котика, младший брат Петра Ивановича, Иван, не защитил свой диплом в Харьковском политехе. Первый диплом нашей фамилии в этом весьма почтенном учебном заведении. В дальнейшем вышло так, что еще пятеро — отец, мать, мы с братом и моя дочь — окончили Харьковский политехнический, каждый, правда, будучи с усами и со своей дудой, по иной, неповторяющейся, специальности. Отец до войны, точнее, до 40-го года, каждое лето приезжал или к Пете и Мусе в Луганск, или к своей бабушке Анне Петровне, моей прабабке, во многолюдный краматорский дом на улице Красная пушка, где жили вместе с нею трое ее взрослых детей — Коля, Яша, Люба, которые своими собственными семьями так и не обзавелись.

Начиная с 48-го года, эти отцовские летние наезды в Луганск стал повторять и я, на новом временном витке и на ином, подозреваю, что на более сердечном, уровне человеческих отношений. Все-таки статус дядьки и тетки, которыми Петр и Марфа приходились отцу, определял психологический фон родственных отношений, видимо, чуть сниженный близким соседством во времени, периодическими жестами панибратства приткого и довольно самоуверенного племянника.

Для меня же мои луганские дед и бабушка воплощали несомненный авторитет — и моральный, и эстетический. Я чувствовал, что любим, и буквально воспарял от, может быть, еще более острого,

чувства своей собственной любви — к ним двоим и к их лучезарному летнему миру. Думаю, что те несколько давних летних месяцев, которые выпало провести мне в поле великодушия Петра и Марфы, были важнейшим моментом истины в моей биографии — и тогдашней, до десятилетнего возраста, и теперешней, более, чем полувековой. Вослед стихийному зачатию, вослед жестоким, несуразно-химерным родам Господь дал мне тогда хранительные и оживляющие касания двух родных душ. Не могу не видеть в этом даре явственный знак, что хотел бы Он на меня надеяться... Там и тогда, в единении с любящими людьми, в единении с подлинно женским, заботливым, и мужским, великодушно-сильным, началами дано мне было обрести вместе с «чувством рождения» и духовный имунитет, и стойкое направление жизненного вектора.

И в каких бы обличьях бесово или бесновато-мирское ни настигало меня в дальнейшем, в последующие полвека, я всегда и знал, и чувствовал, что то, первичное, вполне Божье, остается со мною — как завет и оберег.

Вспоминаю одно из стихотворений, посвященных этим, навсегда бесценным для меня, людям:

*Как пахла склянка синего стекла –  
серебряную крышку открывали  
и крошки чая бережно ссыпали...  
Какая благодать в воздухе плыла!  
И льнуло к пальцам старое стекло,  
шершавилось узорами травленья...  
Всё это и поныне — не виденье,  
хотя Бог весть когда уже прошло...*

*Нет тех, кого любил, и сломан дом.  
И десять лет прошло, и трижды десять.  
Лишь память не устала прошлым грезить,  
июлем плыть над глиной и песком...  
И полдень тот всё длится надо мной,  
двух верных душ заботу излучая, —  
то хрупкою стеклянной синевой,  
то прямой ностальгией горстки чая...*

Это свечение синего стекла, этот запах чайных лиственных крошек остаются со мной и сегодня, полвека спустя, совершенно живым, свежим и первозданным ощущением. А ведь минуло уже тридцать шесть лет, как нет в живых Петра, тридцать лет, как ушла вслед за ним Марфа. Единственное, что захотел я исправить в стихах, перечитав эти двадцатилетней давности строчки, — неточное слово «старики». Никогда ни Петр, ни Марфа мне стариками не казались. Ни о какой их старости у меня и мысли не возникало. Атмосфера тех летних луганских пробуждений, полудней и вечеров была насквозь живительной, радостной и молодой. И дед с бабушкой неизменно занимали сердцевину, центр моего полновоздушного царства, являясь в нем всемогущими, полными сил и великодушия суверенами.

Принимая с благодарностью то ровное излучение добра, мира, заботы, которое устремлялось от них ко мне, я, конечно же, не мог себе представить тогда и малой доли жестокости, дьявольской злобы времен, выпавших на их долю. Не мог знать, что совсем недавно, в начале тех же сороковых годов, в конце которых я появился в поле их любви, всемирно-исторические события развивались едва ли не фатально для них, двух отдельно взятых людей. В конце лета сорокового года, в конце же рабочего дня, в заводской директорский кабинет в Луганске, явились к Петру Ивановичу трое мужчин с совершенно каменными, как определял в последствии он сам, лицами. Объявили об аресте и, не задерживаясь ни на час в Луганске, отвезли деда в Москву, в Лубянскую внутреннюю тюрьму НКВД.

Допросы в первые дни, как было принято в чекистско-луганской системе, проходили почти непрерывно, едва оставляя час-другой для сна. Собственно, и допросов, как таковых, не было, а были упорные обвинения во вредительстве на заводе, угрозы, сопровождаемые избиениями (в 39-м году вышло сталинское постановление о применении пыток в НКВД), раз за разом повторяемое требование: «Подписывай, блядь, что нарком Ванников давал вредительские указания!»

«Никакой вины за собой не знаю и ничего подписывать не буду» — этот, ох, какой нелегкий, — чую сердцем, — ответ моего Петра растянулся для него, мученика, нашедшего в себе силы

стоять насмерть, на долгие, бесконечные, два года. За что стоял он из последних сил — под ударами, пытками, унижением, клеветой? За прежнего своего «большевистского Бога», коему и военными ранами, и стоическим трудом прослужил верой и правдой почти четверть века? Думаю, что, человек с трезвым, мощно-практическим умом, он уже тогда осознал, что иного выбора, как стоять до смертного конца за Бога, но не большевистского, а человеческого, у него не осталось.

Он и нашел в себе мужество выстоять там, в бесчеловечных лубяньских темницах. Сумел устоять и не отрекся от Божественной сути, от собственного человеческого достоинства, пусть и поруганного бесами в их мутном слое. Не отрекся и от той измороженной всечеловеческой и родовой правды, которая имеет обыкновение, помимо всего прочего, передаваться по наследству. Не предал мой Петр своей, а значит, и нашей, фамилии — ни в прошлой ее временной ипостаси, ни, тем более, в ипостаси ее будущего, идущего его стойкости вослед. В наследовании ему, Петру-камню, и сам я вправе присягнуть, добровольно и осознанно, — не перед лубяньскими казематными, конечно, нелюдями. Не перед нечистью вчерашней и сегодняшней, у которой куда как живуча своя, воронья и крысиная, традиция наследования.

Из Лубянской тюрьмы Петра Ивановича осенью 41-го года перебросили в тюрьму саратовскую, где соседство по нарам ему составил уголовник. В Москве на Лубянке дед сидел в одной камере с Кириллом Мерецковым, тогда еще генералом, впоследствии маршалом. Отношение к генералу, по воспоминаниям Петра, оставалось и в тюрьме всё-таки особым — кормили узника время от времени даже красной рыбой. Мерецков, кстати, как и нарком боеприпасов Ванников, которого дед не запачкал своей подписью под чекистскими наветами, похоронен в краснокирпичной кремлевской стене. Там же, у стены, покоится прах еще одного дедова знакомого, комиссара Генриха Звейнека, погибшего в апреле 19-го года на последнем рубеже обороны Луганска, на Острой Могиле.

Все эти злые дни и месяцы, когда Петра брали на измор допросами и пытками на Лубянке, Марфа Романовна отчаянно и бесстрашно, а этих качеств никогда не надо было занимать ее

характеру, боролась за мужа. Писала письмо за письмом Клименту Ворошилову, который хорошо знал и ее, и Петра Ивановича как по дореволюционному еще Луганску, так и по Гражданской войне. Отсылала отчаянные восклицания о невинности Петра и по всем другим возможным московским адресам сначала из Луганска, а потом из города эвакуации — из дальнего азиатского Фрунзе.

Стойкость ли дед, или послания бабушки бывшим красным соратникам — а, вероятно, и то и другое вместе — привели к тому, что летом 42-го года безнадежная ситуация внезапно изменилась. При очередном вызове в кабинет следователя саратовской тюрьмы, тот обратился к деду неожиданно: «Садитесь, товарищ Шелковый!»

«Гражданин я», — поправил следователя Петр Иванович.

«Нет, товарищ! Пришло указание. Ошибка, считайте, получилась. Когда лес рубят, тогда, знаете, щепки летят. Имеется постановление о Вашем освобождении».

«Щепки мы, сынок, выходит, что щепки», — с горечью повторял дед уже в 67-ом, при последней нашей с ним встрече в Луганске, за три месяца до своей смерти, вспоминая внезапно свалившееся на него известие об освобождении — поздний летний вечер в саратовской тюрьме. Время вызова к следователю было уже темным, почти ночным, и пришлось Петру Ивановичу вопреки предложению тюремного начальства освободиться немедленно, испрашивать позволения на последнюю ночевку в тюрьме. Ему просто-напросто некуда было подеваться в незнакомом городе среди ночи.

Свой арест в той же, последней нашей, беседе сам дед связывал с позорными итогами финской войны 1939–1940-го годов, когда на 16 тысяч финских потерь пришлось около двухсот тысяч убитых солдат Красной Армии. Естественно, НКВД бросилось искать виновных, ответчиков за провал финской компании. «Мое твердое убеждение, — говорил Петр Иванович, — что, не будь финского позорища, Гитлер еще десять раз подумал бы, прежде чем напасть на нас в 41-ом году...»

Утром следующего дня, в знойном Саратове 42-го года, дед отправился прямо из тюрьмы на Центральный телеграф, чтобы

сделать все возможные звонки, сообщив и родным, и по службе о своем освобождении. Последним был звонок в Москву ко Всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу Калинин. В ответ на свои слова: «С Вами говорит ваш бывший депутат Петр Иванович Шелковий...» дед услышал от благостного верховного старца: «Нет, Вы не бывший. Вы были и остаетесь нашим депутатом!» Такой ответ звучал не просто невероятно вослед двум годам нещадных тюремных истязаний. Столь резкое снятие предельного физического и психологического гнета оказалось уже непереносимым — дед лишился сознания и рухнул на пол там же, у телефонного аппарата. Окончательно пришел в себя он только после четырех месяцев больничного лечения в том же Саратове. Войдя в Лубянскую тюрьму здоровым человеком могучего телосложения (на Лубянке в декабре 40-го года довелось Петру встретить свое пятидесятилетие), он вышел из камеры в Саратове абсолютно изможденным — сорока килограммов веса, с кожей, скрученной жгутами по всей поверхности тела.

Что же происходило с душой моего Петра за два тюремных года — о том остается лишь догадываться с великой печалью и болью. Да и не обо всем дано догадаться, не все возможно словом определить. Уже после освобождения, работая, как и прежде, руководителем большого завода в подмосковном Подольске, Петр Иванович однажды в воскресенье при банных сборах вынул из шкафа, из стопки белья, холщовую нательную распашонку, в которой был выпущен из саратовской тюрьмы. По свидетельству моего отца, ставшего тогда, в 43-ом году, московским студентом и нередко гостившего у Петра Ивановича, крохотная распашонка, размером со сложенную вчетверо газету, была серо-желта и украшена жирными прямоугольниками черных тюремных штампов. Петр мой, человек истинный, взяв в руки это химерное, уже годичной давности, свидетельство своих мук, не смог удержаться тогда от рыданий.

И если нужны человеку свои личные, кровные, символы веры, — а они непременно нужны! — то я выбираю эти, за шестьдесят лет не высохшие, слезы сильного мужчины, родного мне и по крови, и по духу. Выбираю соль страдания и преодоления, неиссякающую и доныне в тех — по сути, всенародных — слезах.

После четырех месяцев саратовской больницы Петр Иванович, при сохранении всех его многочисленных регалий, орденов и званий, был возвращен к прежним своим руководящим заботам. Принял сначала на несколько месяцев военный завод в Казани, а затем, когда немцев оттеснили дальше на запад, стал директором воензавода № 710 в Подольске. Там он работал около года. И предприятие, бывший зингеровский завод, было хорошим, и справлялся он с директорством успешно, и жили они с Марфой Романовной куда просторней и благоустроенней, чем в Луганске, занимая весь первый этаж, пять комнат, двухэтажного зингеровского особняка.

Но все же в родные края, в Луганск влекло его постоянно и неодолимо. «Не знаю, сынок, — вспоминал дед о послевоенном возвращении в Луганск, — мог бы, я, конечно, работать и в Великобритании. Но мне, кажется, что, хотя наших малороссов труднее раскатать, они, если уж за дело возьмутся, никому не уступят!» Дед был патриотом степного дымного Луганска, с которым нелегкие годы связали его кровными узами. В конце 44-го года он добился перевода на свой прежний луганский номерной завод. Войной все было вдребезги разбито, пришлось все цеха восстанавливать, вернее, отстраивать все хозяйство заново.

На луганском патронном заводе, где впервые появился он молодым литейщиком еще в 12-ом году, на почтовом ящике № 270, на машиностроительном ныне предприятии имени, конечно же, В. И. Ленина проработал мой Петр Иванович еще одиннадцать лет директором, пока в августе 1956-го не вышел в отставку. Копия типографского листка с приказом о выходе на пенсию под грифом «для служебного пользования» и за подписью министра оборонной промышленности СССР, в дальнейшем — маршала и министра обороны, товарища Устинова сохранилась в моем архиве: «Отмечая долголетнюю и безупречную работу т. Шелкового в оборонной промышленности на руководящих должностях, объявляю ему благодарность и премирую двухмесячным окладом...»

Завершающие дедовы восемь лет на посту, считая с года моего первого появления в Луганске — с 48-го, и еще одиннадцать его последних лет жизни, отмеренные ему судьбой, оставались



уже непосредственно в поле моего зрения и слуха, в поле ощущения и осознания, схваченные цепкой детской и юношеской памятью. Наши совместные луганские дни сохранились во мне отдельными, мозаичными, пожалуй, фрагментами. Но фрагменты эти всякий раз легко и живо, ярко и выпукло образуют общую полнокровную и нетускнеющую картину того притягательного для меня бытия.

Когда, еще до выхода деда на пенсию, я писал зимние письма из Харькова своим Петру и Марфе, адрес на конверте выглядел так: город Ворошиловоград, 2-я линия... Эта «Вторая линия» в разговоре называлась «участок», то есть говорилось, к примеру: «живем на участке...» То, что называлось этими вполне неуклюжими, казенными именами «линия», «участок», было счастливейшим для меня образованием «складок местности», замечательным изобретением голи, что на выдумку хитра.

*Вымытый въезд из булыжного камня,  
взятый зеленым гнездовьем в полон.  
Стены и заросли родины давней,  
полные гулких зовущих имен.*

«Въезд из булыжного камня», та самая «Вторая линия», отходил перпендикуляром и немного покато, вниз, от пыльной улицы, тянувшейся вдоль глухого казенного забора дедового завода. Над забором, выкрашенным по всей его площади, необозримой, яко щит родины, салатным на мелу колером, тянулась в несколько рядов колючая проволока, естественно, под напряжением. Въезд, мощный гранитным булыжником, или, как выражались мы тогда, «диким камнем», отделялся от внешней улицы, идущей вдоль государственного забора к железнодорожному переезду и далее к Каменному Броду, неподъемными железными воротами.

Определение «неповоротливые», тавтологичное по форме, было бы по существу более точным. Впрочем, мне тогда, с моими худющими дошкольными силенками, всякая калитка могла бы показаться и тугой, и тяжеловесной. Решетка тех ворот венчалась остриями пик и бугрилась-пузырилась множеством слоев

зеленой масляной краски. Раскрывались ворота редко, чаще были взяты на замок, так как автомобили в наши владения почти не вторгались. Пешеход же попадал на участок через калитку справа от ворот, такую же, как и они, зелено-решетчатую, словно бы приходящуюся основным воротам младшей родственницей.

По обе стороны мощеного въезда стояли двумя рядами вдоль всего участка старые-престарые, высоченные и полнолиственные тополя.

*Знаю, что снова увижу на склоне  
здесь, только здесь, начинавшихся дней  
эту аллею грачиных колоний,  
строй патриарший седых тополей...*

Деревья восхищали толщиной стволов у комля — в несколько обхватов детских рук, гипнотизировали изысканно-ребристыми, премудро-морщинистыми узорами коры. В кронах, сходящихся на высоте двумя непрерывными листовыми навесами, обитало несчетное количество грачей и галок. Если я объявлялся на участке в мае или июне, а чаще всего так и бывало, то в течение месяца-двух нередко мог предаваться одному из своих любимых занятий — подбирать под тополями выпавших из гнезд, еще не вполне вставших на крыло, птенцов разнообразных черно-сизых расцветок и некоторое время, пока старшие не добивались освобождения пленников, исследовать и тискать грачиных и галочьих недорослей.

Отделяясь от тополиных рядов мелкими дождевыми канавками и живописно-щербатыми цементными плитками пешеходных дорожек, тянулись вдоль все той же центральной оси булыжного въезда два ряда «поместий» — по пять приземистых, одноэтажных домов с обеих сторон участка с крохотными садами за каждым из строений. Наш дом стоял вторым по правой стороне этой своеобразной, территориально замкнутой со всех сторон, колонии-коммуны.

Знакомыми и дружественными для меня, ребенка, в течение восьми лет, — от годовалого до девятилетнего возраста, — когда я приезжал на участок, являлись лишь три двора из десяти — два

на нашей правой стороне, где жили мои сверстники-товарищи Вовка Копанев и Юрка Землянский, и один, несколько иного рода, двор левосторонний. В нем обитал бывший заместитель Петра Ивановича по заводу Соляной с красивой, почти взрослой, то бишь года на три постарше меня, дочерью Нелей. В том же доме половину комнат занимали другие люди — еврейская семья, интересная для меня загадочной, лет десяти-двенадцати, девочкой Линой.

Эта Лина, светясь очень белой, с мраморным оттенком, кожей, изредка появлялась в сопровождении мамы, усаживалась на крыльце своего дома под железным козырьком на маленький удобный стул, и неторопливо, почти торжественно, извлекала рисовальные принадлежности. «Лина готовится стать художницей, — говорила бабушка, — хочешь пойти посмотреть?» Я хотел, поскольку и сам сызмала явно, хотя и стихийно, тяготел к изобразительству. Лина же вполне владела навыками рисовальщицы, и мне живо помнится та картинка, которую она скопировала для меня цветными карандашами из детского журнала. Там благородные звери, согласно сюжету сказки «Рукавичка», прижимались по-зимнему друг к другу — в тесноте, да не в обиде. На мой, того времени, взгляд — копия получилась чрезвычайно убедительной. Очень хотелось и самому владеть подобным искусством оживления. В известном смысле, желание не исчезло и до сей поры.

Кстати, о тесноте и не обиде. Дом деда и бабушки на участке все восемь лет нашего с ним общения казался мне обширным, значительным, полным и человеческого уюта, и приветливых, почти одушевленных вещей. Дом — это четыре комнаты, веранда и кухня. Каждая комната — со своими памятными предметами, со своим дыханием и освещением. В этом доме и в небольшом саду за ним — мое безоблачное царство, неутраченный, но и немислимый уже никогда позже во плоти, рай. Там моя малая, но непреданная и не предающая родина. Комнаты, наполненные простором полвека назад, теперь, постфактум, при объективном, сжимающем объеме, взоре, едва ли могут похвалиться площадями в десяток квадратных метров каждая.

Но в темноватой столовой, выходящей небольшими окнами на веранду, в самой большой из четырех комнат, осталось никогда нигде невозможное вновь чувство полного, ничем не умаляемого,

торжества, которое вспыхнуло в сознании сделавшего свои первые шаги годовалого мальчика. Сколько бы ни говорили мне, что невозможно с полной ясностью сохранить в памяти ту картинку луганского лета 48-го года, когда мне едва исполнился год, я-то вижу, и вижу во всех подробностях: оттолкнувшись от дивана, обитого светло-пестрой гобеленовой тканью, делаю несколько шагов к стоящему в центре столовой квадратному столу и вдохновенно впиваюсь обеими руками в свисающую со столешницы плотно-льняную ткань скатерти. Пальцы, ладони ощущают до сих пор спасительность, надежность хватательного жеста — там, на финише первого, великолепно осуществленного, неожиданно свершившегося пути. В раскрытую дверь с веранды падает как раз на пройденный мною полутораметровый участок дощатого пола яркий солнечный свет. Оттуда же, с веранды, раздается удивленный и одобрительный голос бабушки: «Сережа пошел...»

Из столовой одна дверь ведет в спальню, другая в кабинет деда. Эти комнаты чуть поменьше столовой, но светлей — два окна спальни выходят в сад. Там — утром солнечная сторона, и летние пробуждения у распахнутых окон всякий раз похожи на счастливое рождение заново. Иногда, если рядом нет старших, можно перебраться прямо с раскладушки на подоконник, а то и с подоконника на влажную садовую почву — бабушка постоянно поливает из шланга цветы, посаженные неподалеку. Там же, в спальне, в один из давних летних вечеров, звучит для меня дедов голос, читающий наизусть из пушкинской «Полтавы» о Кочубеевом гонце к царю Петру, о доносе на «гетмана-злодея» и о тайной депеше, зашитой в казацкую шапку...

*Кто при звездах и при луне  
Так поздно едет на коне?..  
Чей это конь неутомимый  
Бежит в степи необозримой?*

*Казак на север держит путь,  
Казак не хочет отдохнуть,  
Ни в чистом поле, ни в дубраве,  
Ни при опасной переправе...*

В кабинете деда — шкафы с книгами, письменный стол с телефоном, который имеет связь только с заводом, и другой диван, обитый черной кожей, стоящий торцом вплотную к окну. Окна кабинета выходят на участок, — на булыжный въезд и тополиные уголья, — и всегда закрыты ночью, а иногда и днем, деревянными ставнями. Над диваном в прямоугольной раме — гобелен охристых тонов, где на золотистых лужайках кофейного оттенка олени вздымают на переднем плане великолепие боевых рогов. Силуэты светло-коричневых замковых строений проступают сквозь золотистость растений на заднем плане тканного изображения. В углу, за дверью, соединяющей столовую и кабинет, висит на стене вещь первостепенной важности — дедова охотничья двустволка с воронеными стволами и лакированным прикладом.

Четвертая комнатуха, тоже выходящая окном на участок, — совсем маленькая и называется Галиной комнатой. Галя — двоюродная сестра моего отца, дочь самого старшего из шести братьев Шелковых — Василия Ивановича, выучившегося на бухгалтера еще в самом начале века. До революции он работал несколько лет в земстве в Могилевской губернии, а затем — в Тамбове. Позднее долгие годы посвятил бухгалтерским трудам в Харькове, где и скончался в 1950-ом году. Галя заканчивает в Луганске медицинский институт, специализируясь на хирургии. Летом мы с нею редко пересекаемся. Она уезжает к матери, женщине, по ее словам, чрезвычайно тяжелого характера, постоянно ропщет, но уезжает все же каждое лето. Она и похожа — немного скептическим выражением лица и яркой чернобровостью — на свою трудно переносимую, по мнению всех родственников, мать Антонину, которую все зовут, в сокращенном варианте, Ниной, — родом из белгородской Борисовки.

В Галину комнатенку, где едва помещается ее кровать, белоснежная, всегда тщательно прибранная, в одну из моих летних эпопей, в возрасте лет уже пяти, был я помещен, внезапно захворав, на поправку. Два дня продержалась высокая температура, после чего, на день третий, беготня моя по десятидворовым и въездным угольям участка, «гацанье», как выражалась бабушка, возобновилась с новой силой. Сам я подозревал, что

причиной хвори стало отравление, поскольку буквально накануне нажевался больше, чем обычно, вишневого клея, соблазняясь упругостью, янтарным колером и свечением его капель. Эти золотые, мутноватые снаружи, но прозрачные на разломе пузыри клея обильно выступали в особо жаркие дни на коре вишен, слив и абрикосовых деревьев. А пройти мимо живых доказательств таинственной внутрирастительной жизни и не отковырять от ствола, как минимум, пару мутно-янтарных смолистых капель я никогда в те времена и не помышлял.

Следующим летом Галина квалификация хирурга очень пригодилась, когда меня, один-единственный раз за все дошкольные годы, попытались устроить на неделю-другую в детсад. Это общественно-полезное заведение располагалось в пяти минутах ходьбы от участка, но уже за железнодорожным переездом, на территории Каменного брода, традиционно славного своей дурной, разбойничьей репутацией. Память о Каменнобродском периоде осталась лишь в ноздрях — свежий, пресно-речной, неослабевающий с годами, запах мокрой глины и акварельной краски от нескольких тамошних уроков лепки и рисования.

А походы по утрам через шпалы и рельсы переезда закончились вскоре — после того, как, пытаясь запустить шар в строй кеглей в детсадовском павильоне, я загнал занозу под ноготь среднего пальца — здоровенную, на всю высоту ногтя. Операцию Галина Васильевна, экстренно вызванная бабушкой с работы домой, на участок, провела в военно-полевых условиях и без наркоза. Сидя на кухонном столе и не глядя в упор, по совету обеих женщин, на свою правую руку, я все же несколькими косыми взорами-подглядываньями рассмотрел, как Галя аккуратно и безболезненно разрежала скальпелем ноготь над занозой и благополучно ее извлекала. Скорость броуновских перемещений ее пациента-племянника после удачной операции, — как по горизонталям булыжника и травостоя, так и по вертикалям известняковых оград, веток и стволов, насколько я теперь припоминаю, лишь возросла... Помню, что остроту скальпеля ощутил, тогда, отнюдь не осмысливая этого ощущения, как некий мощный и значитель-

ный символ. Как будто бы нутром почуял, что острота, твердость и точность, объединившись, на многое пригодны.

*Я просто мальчик в давнем синем дне,  
но некий хмель крепчает в слабых венах,  
и тянутся во сне от лун ко мне  
предчувствия о многих переменах.*

*И пальцы в шрамах — быстрая рука  
при ярком свете так неосторожна!  
А ночь — близка, нежна... И у виска  
всё шепчет, шепчет:  
«Жизнь твоя возможна...»*

Да, именно там, — в тех вольных снованиях по почти феодальным угожьям Луганской Второй линии (ни центрального отопления, ни горячей воды во всех домах участка, в том числе и в дедовом, директорском, доме не было), в порывистых, порою наполненных просто-напросто счастливым захлебом, перемещениях по пространству, остро ощутимому, возлюбленному, в постоянных обретениях царапин, ссадин, даже собачьих укусов, — именно там возникло и окрепло ощущение, что жизнь возможна. Окрепло предчувствие, что может сбыться страстно желаемое и полнозвучное участие в этой жизни — настоящей и будущей. Иначе не могло и не должно было произойти. Слишком ярко и щедро возобновлялась небесная синева каждым утром. Слишком надежно нисходило тепло степного полуденного солнца и на детские, предчувствующие завтрашнюю силу плечи, и на исполинские тополиные заросли, и на брызжущие фиолетовым кисло-сладким соком ягоды шелковиц, льнувших то здесь, то там к желтым камням известняковых оград. Воистину, «кто побывал в раю, не убоится ада...»

Бабушка, моя Марфа Романовна, Муся, давала мне волю, спасала, когда очередное ранение настигало ее неумного питомца. То раскрашивала зеленкой его левую ягодицу после падения вместе с оборвавшейся трубой летнего душа, приговаривая: «Будешь знать...». То отвозила на уколы на попутной кляче с телегой — после предательского укуса нашей гадковатой дворовой собачонки Чернухи.

Уколы укушенному делал, бережно прихватив двумя пальцами кожу тощего шестилетне-пацаньячьего пуза, пожилой доктор в белом халате — отец Галиной подруги и соученицы Евгении. Ее правильным чертам лица и блондинистым мелким кудряшкам я определенно симпатизировал, встречая ее изредка в нашем доме, что не мешало мне, сохранять одновременно и стойкую симпатию к соседской Неле Соляной, соратнице по летним играм. Поскольку лукавый седой врачеватель начинал каждый из десяти укольных сеансов заговариванием зубов, — рассказами, например, о том, как охотно корейцы поедают собачек, в особенности же кусачих, — десять уколов от бешенства были восприняты мной не только безболезненно, но и с явным удовольствием от общества добродушного Айболита.

Кстати, сын Чернухи, — и вправду зело черной, коротконогой и мелкокостной, — молодой кобелек Ароль, был ласков, ясноглаз, высок и отличался редкой и чистой окраской — кофе с молоком, может быть, даже более теплым тоном — густого топленого молока.

*На крыше кухни и сарая  
Дождями истрепало толь,  
И дремлет у калитки рая  
Дворняга с именем Ароль...*

Так время и семейные предания оставляют в памяти имена преданноглазых братцев и сестриц, словно бы имена из созвездья Гончих, уже унесенных темными ветрами, псов: Акбар, Ароль, Тарзан и тройная звезда Лада — две больших искры и последняя поменьше... Тарзан и три Лады — это уже питомцы из отцовского дома, следовавшие на протяжении сорока лет друг за другом: три чепрачных овчарки и шнауцер-мордаш, ловкая, боевого характера, собачонка — карие живые глаза и шерсть щеткою окраса перца с солью.

Колченогая, злобного нрава дворняжка Чернуха, тяпнувшая так меня однажды утром за палец при наивной попытке ее погладить, признавала одну лишь Марфу Романовну. Бабушка подобрала ее, бродягу, как-то на улице с перебитыми лапами, под-



лечила и оставила жить на нашем подворье, на участке, в зеленой дощатой будке, что стояла у торца надворных построек, возле входа в погреб. Бабушке Чернуха была верна, на всех прочих глядела недобро, вдвойне косо, — как-то одновременно и сбоку, и исподлобья, — издавая при этом рычание и нередко переходя на визгливо-угрожающие тявки. Я думаю, что к бабушке эта злобная и вздорная чернявка меня просто-напросто ревновала. Слишком очевидным было наше с Марфой Романовной взаимное тяготение.

В бабушке не иссякала природная врожденная доброта, сердечность. Жизнь, нередко к ней беспощадная, этих ее душевных качеств отнять у нее так и не смогла. Родилась она в простой многодетной семье Романа Цыбаненко на берегу Донца под Луганском. Очень рано, в младенческом возрасте, потеряла мать. Мачеха ее, придя в Романову семью с несколькими собственными детьми, к Марфуше никаких добрых чувств не испытывала и не собиралась терпеть лишний рот в доме. В пять лет ее отдали в няньки в семью казаков на противоположный берег Донца — в Ростовские уже края. Забот ей там всегда хватало — и при казачком ребенке, и в прочем услужении. Однажды, уходя в гости, хозяева поручили пятилетней работнице сварить яйца «в мешочках». Марфуша, перерыв дом, с трудом отыскала холщовые мешочки и добросовестно, не отступая от буквы указа, варила посиневшие яйца до самого прихода хозяев.

В революционную религию луганских пролетариев она устремилась еще задолго до 17-го года со всей энергией и отвагой своего незаурядного страстного характера. Она и родилась 14 июля, в день взятия Бастилии. Позднее, в многочисленных боевых и походных испытаниях 5-ой армии, в дни Гражданского противостояния, и она, и двое ее старших братьев оказывались не раз в самой гуще событий. Имена обоих братьев Цыбаненко, погибших в Гражданской войне, вырезаны на одной из плит луганского мемориала, на площади Героев революции в центре старой части города. Третьего, младшего брата, Андрея Романовича, как и его детей и внуков, я хорошо знал уже по 50–70-ым годам, когда они, тоже жившие в Луганске, нередко гостили в доме у деда и бабушки.

Марфа Романовна по дореволюционному Луганску, по нелегким, порой отчаянным, дням обороны Луганска и Царицына была хорошо знакома «маршалу нашему Ворошилову Климу», занимавшему позднее, в хрущевские времена, хотя и номинальный, но торжественно именуемый пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Дважды принимая Петра Ивановича после войны у себя дома, знатный луганский выходец оба раза осведомлялся и о незабытой им Марфе.

Со вдовой Александра Пархоменко, Харитиной Григорьевной, бабушка была близка настолько, что мой отец, студент МВТУ с 43-го года, на некоторое время по просьбе Марфы Романовны смог обосноваться в московской квартире семьи Пархоменко на Чистых прудах. За дверцей шкафа, как свидетельствовал отец о том периоде, хранился, накрытый марлей, череп Александра Пархоменко. Когда марлю снимали, на поверхности мертвой головы обнаруживались многочисленные сколы кости, оставшиеся от последних сабельных ударов махновского воинства. Сохранилась бледная любительская фотография, где Марфа Романовна и жена Пархоменко сняты в московской квартире. За их спинами чуть ли не половину стены по диагонали занимают висящие на гвозде винтовка и размашистая шашка в ножнах — последнее боевое оружие легендарного кавалеристского комдива, оставшееся в семье после гибели Пархоменко.

Доброта и отзывчивость, стремление отдать ближнему свою заботу, казалось, были у бабушки в крови. И отец, и я сам, каждый в свое время, сполна испытали ее теплоту, ее ежечасные и неутомимые хлопоты и раденья. Слово «раденья» в данном случае, звучит точно, вырастая из родного корня, ибо каждый раз чувствовалось, — а детская интуиция в таких ситуациях никогда не обманывает, — что ее заботы о беспокойном и шустром дитяти были для нее не в тяготу, но истинно — в радость.

Когда после Гражданской войны Петр Иванович впервые навестил в Краматорске свою матушку, приехав вместе с Марфой Романовной уже в качестве жены, Анна Петровна поначалу не слишком одобрила невестку. Приехали Петр с Марфой накануне Пасхи, и предпраздничным вечером Анна Петровна нашептыва-

ла младшей дочери Александре: «Шура, я тебя рано разбужу — тесто взбивать. А то Мусю не хочу — она коммунистка...»

Отношение прабабки к Марфе Романовне изменилось после ответного приезда к сыну и невестке в Луганск, где перед первым своим директорством в Алчевске Петр Иванович трудился в начале 20-ых заместителем директора на патронном заводе. «Шура, ты знаешь, Муся за Петей ухаживает, як за дытыной», — рассказывала она, вернувшись, все той же младшей дочери. «Он на завод каждый день в белом костюме ходит и через два дня на свежий меняет. Як за дытыной, она за ним смотрит. И за мной тоже...»

Хлопоты моей земной Марфы были столь же самоотверженны, как и хлопоты Марфы библейской. Но и от второй новозаветной сестры, Марии, было дано ей главное — обращенность всем существом к добру, любви, бескорыстному дарению. Та ее воистину материнская нежность, которую я ощутил на себе в конце 40-ых — начале 50-ых годов, ощутил по-детски интуитивно, еще не зная толком названия этому дару, полагаю, шла в немалой степени от нежности к их с Петром не родившемуся ребенку. Об этих обстоятельствах, однако, я смог догадываться уже значительно позже. А наши общие с ней дни, времена моих ранних каникул, незабываемые летние месяцы в Луганске, перемежаемые отчего-то совершенно непамятными кусками харьковских времен с общим серо-зимним фоном, остались раз и навсегда моей наиглавнейшей духовной опорой.

Остались — благодаря, в первую очередь, присутствию в той моей жизни женщины с когда-то ярко-огненными, а тогда уже чуть тронутыми пеплом, голубыми глазами, женщины, совсем не благостной, но наделенной редким даром сердечности. Женщины, которая, испытав в своей жизни сверх меры боли и зла, свидетельствовала и взглядом, и голосом, и токами тепла, исходившими от ее лица и рук, свидетельствовала не речисто, но истинно о присутствии в жизни доброго начала. Она была и остается моей живой и возлюбленной Марфой-Марией. Если Дух живет там, где хочет, то в те времена Он захотел поселиться в пространстве между нашими душами — ее, седой и принявшей муки, и моей,

мальчишеской, еще легкокрылой и первородной. И там, где обитает Дух, она для меня навсегда — первая и единственная.

*В лиловом и молочном свете,  
в крючках и петельках чернил  
еще живет письмо о лете,  
где мальчик бабочек ловил,  
где средь крыжовника колючек  
прозрачной ягоды овал  
созрел. И женский голос «внучек»  
так терпеливо, долго звал...*

*Был летний сад ветвленьем рая.  
Теперь, когда во дни стыда  
я крохи смысла подбираю,  
тем веткам я киваю «да».  
«Да» повторяю не свиданью,  
лишь вспышке памяти о том,  
как был распахнут мирозданью  
хранимый тополями дом.*

*Она звалась библейски — Марфа.  
В славянских злыднях рождена,  
и средь июля, и средь марта  
ко мне добра была она.  
Кровь с пальцев от шипов-колючек  
слижу и ягоду сорву.  
Сквозь ветки голос «внучек, внучек...»  
Ау, любимая, ау...*

Когда в 56-ом году в возрасте шестидесяти шести лет Петр Иванович вышел на пенсию, они с бабушкой переселились с участка, где зимами им приходилось постоянно носить уголь из сарая к двум печам отопления, в «цивилизованный» кирпичный дом в Красноармейском переулке, неподалеку от центральной проходной завода. Участок в прежних феодальных угодьях был для меня почти потерян, да и с июля пошел мне уже десятый год, словно бы начав отсчет новому этапу взросления. Летние приез-

ды в Луганск стали не такими неукоснительными, как прежде, поскольку в красногалстучный лагерь то на Эсхаре, то в Зеленем Гаю под Харьковом отцу вполне удавалось сбыть свое раздражающее родителей чадо по тем советским временам рублей эдак за десять-пятнадцать на полный месяц. К тому же ревность и неодобрение родителей по поводу моих луганских привязанностей существовали и давали порой эмоциональные всплески.

Выйдя в отставку, Петр Иванович, не ослабил своих усилий партийца, раз и навсегда присягнувшего и самой идее, и ее неустанной поддержке: работал в составе Луганского обкома, в областном комитете народного контроля, нередко выступал с воспоминаниями перед учащимся молодняком Луганска. Оставаясь на протяжении пятидесяти лет до последнего своего дня не просто сторонником, но реальным сильным персонажем большевистского мифа, сам он был безупречен в том смысле, что его отношения с мифом исчерпывались его личной отдачей, его служением. О каких-либо особых благах для себя он никогда и не помышлял, и не хлопотал. При неограниченном, нередко шестнадцатичасовом рабочем дне, при ежечасной экстремальной ответственности и постоянных, как минимум, полувоенных условиях жизни первого стандартно благоустроенного жилища — с отоплением и горячей водой — удостоился лишь в шестьдесят шесть лет, в год выхода на пенсию. Думаю, сознание причастности к государственному делу, причастности к высокой идее (а вывеска оной была и впрямь высока) оставалось для него всегда гораздо важнее материальной стороны существования. И понимаю, что лишь редкостно сильная натура, лишь большое и отважное сердце смогли удержать его на протяжении полувека в том державном, воистину марафонском, походе, которому была отдана его жизнь.

Общественным почетом и признанием в последние годы жизни дед обделен не был. В 1961-ом году принимал участие в 22-ом съезде КПСС в Кремле в качестве делегата от луганских коммунистов. Привез из Москвы многотомник бюллетеней с изложением выступлений на двадцати шести съездовских заседаниях (помимо материалов закрытых заседаний) — семь увесистых книг в коленкорových переплетах традиционного кумачового колера с золотобуквенным тиснением по нижнему краю обложки: «толь-

ко для делегатов 22-го съезда КПСС». Многотомник вышел тогда тиражом 5400 экземпляров и был отпечатан, как следует из строки петита внизу второй страницы каждого тома, в Ордена Ленина типографии газеты «Правда» имени И. В. Сталина. В торжественном типографском титуле так и поплясывает мелким бесом эдакая «всенародно любимая» парковая лавочка на постаменте с улыбочиво беседующими цементными вождями, стоящими друг друга...

Однако на страницах семитомника были отпечатаны не только стенограммы официозной нудной болтовни, которая давным-давно проела печенку каждому советскому гражданину. На этих двух с лишним тысячах страниц среди привычных заклинаний, полуправды, лжи, среди завалов картонных, проволочных и железобетонных словесных конструкций попадались в нескольких томах и слова политических признаний — по тем временам совершенно невероятных. Большая часть этих саморазоблачений прозвучала во вступительном и, особенно, в заключительном докладе Хрущева.

Из небольшой по объему информации, явно неохотно озвученной первым партийным бонзой, тем не менее вырисовывались ужасающие масштабы преступлений Сталина и всей его политической машины. Даже нескольких кратких примеров из хрущевских признаний хватало, чтобы понять диапазон чинимых десятилетиями беззаконий — от череды убийств свидетелей после покушения на Кирова до личного пистолетного выстрела товарища Берии, в стенах его руководящего кабинета, в армянского партийного секретаря — товарища Ханджана. Сказав «а» в феврале 56-го года на 20-м съезде, произнеся тогда еще весьма общие слова осуждения культа личности, Хрущев вынужден был идти теперь дальше, признавая массовую практику репрессий и уничтожение миллионов людей.

Семь краснокожих томов партийных книжек, привезенных дедом из Кремля, предоставляли четырнадцати-пятнадцатилетнему подростку, которым я был тогда, нелегкое, но познавательное чтение. Бодро звучащему по форме, но унылому по сути припеву: «Ленин нас этому не учил...» верилось почему-то мало. Постоянно повторяемый припев-заклинание о безупречном, добром

и мудром, вожде очень напоминал другую известную песню, где, помнится, сторел дотла весь дом: «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...»

Не сомневался, однако, ни тогда, ни теперь не сомневаюсь, что фанатизм и жестокость узурпаторов-вождей коммунистической идеи никак не могли умалить благородства и самоотверженности многих тысяч ее сторонников, служивших верой и правдой, подобно моему Петру Ивановичу, человеческой сущности этой идеи. Ведь и многовековая история христианства отмечена как чередой праведников и страстотерпцев, чаще всего безымянных, так и явлением понтификов-отравителей, развращенных до мозга кости, или верховных ревнителей чистоты веры, захлестнутых кровавой патологией жестокости. При этом носители наивысшего сана, папского или велико-инквизиторского, с мрачной надежностью оставляли потомкам свои имена в качестве символов трагического, но неизменно повторяющегося феномена — дьявольского дела при Божьем слове: имена Александра Борджиа, Торквемады и иже с ними... Прискорбные аналоги из отечественной истории — неестественные, если вдуматься, и несуразные, будто бы шарахающиеся от исходных человеческих фамилий, псевдонимы жрецов и инквизиторов коммунистических: Ульянов-Ленин, Джугашвили-Сталин...

В 1965-ом, году своего семидесятилетия, Петр Иванович был удостоен звания почетного гражданина города Луганска. Храню до сих пор и почтовый конверт, и присланный в конверте снимок с дарственной надписью на обороте, где дед запечатлен с лентой почетного гражданина через плечо. И на конверте, и на обороте фотографии — знакомые фиолетовые буквы, выведенные памятной перьевой ручкой, — буквы крупного, почти готического по очертаниям, дедова почерка.

В конце 1967-го года в Советском Союзе с большой помпой проходили празднования пятидесятилетней годовщины Октябрьской революции. Накануне юбилея — Петра Ивановича неожиданно вызвали в Москву, где в Кремле происходило вручение наград ветеранам революции и где он был награжден орденом Красной Звезды — пятым в его личном иконостасе. Предыдущие награды, — орден Ленина, Боевое и Трудовое Красное Знамя,

и первая, еще военных времен, Красная Звезда, — отмечали, начиная с Гражданской войны, определенные этапы в его боевой и трудовой биографии. Вторая Красная Звезда, 67-го года, оказалась по сути последней точкой этой биографии. В конце ноября, менее, чем через месяц после кремлевских чествований, собираясь на репетицию хора луганских старых большевиков, к которому он прикипел в последние три года певучей и романтической частью своего существа, дед скончался в одночасье у себя дома от сердечного удара.

Некоторое время Петра Ивановича еще помнили в Луганске. В простой белой папке с моим луганским архивом сохранился и едко пожелтевший квадратик вырезки из «Луганской правды» от 9 мая 1969 года с заголовком «В исполкоме Луганского городского Совета депутатов трудящихся». Текст вырезки предельно краткий: «В ознаменование 50-летия героической обороны Луганска исполком городского Совета депутатов трудящихся решил переименовать: улицу Новосветловскую — в улицу Петра Ивановича Шелкового, улицу Родаковскую — в улицу Петра Алексеевича Сорокина».

За рамками этого экскурса в фамильную историю остается немало родных и близких людей, о которых мне бы следовало рассказать или хотя бы промолвить «незлое, тихое слово». Надеюсь на снисходительность времени и обстоятельств. Уповаю на то, что при Божьем благоволении многие из них и окликнутся, и будут окликнуты в будущих моих строчках.

Мой родной дед, Иван Иванович, назвал своего сына Константином — в память о своем любимом младшем брате, расстрелянном немцами в 18-ом году в Новороссийске. Отец, Константин Иванович, в профессиональном отношении подхватил и продолжил стезю Петра, проработав сорок лет организатором производства, руководителем крупных станкостроительных предприятий уже в иные, но тоже совсем нелегкие, времена. Человек с чрезвычайно сильным и авторитарным характером, натура очень и очень непростая, отец имел на меня, несомненно, неоднозначное и неоднонаправленное влияние. Многие из моих важных жизненных решений приняты благодаря ему, но и немало серьезных шагов совершается мной, определенно, ему вопре-



ки и в противовес. Те отношения близости-отстраненности между нами, которые при его жизни варьировались порой самым неожиданным образом, теперь, после его смерти, оставили во мне не только твердую осознанную благодарность, не только горьковатое чувство трудной любви, но и мало подверженное логике, растворенное в подсознании ощущение кровного родства — не обсуждаемую, неизбежную данность.

В конце мая этого года, отчитав в очередную пятницу лекцию по информатике и программированию в родном Политехническом университете — последнюю в весеннем семестре, я устремился и спонтанно, и одновременно логично (почему бы художнику не выйти на пленер?) на зеленую и солнечную волю, позабытую за необычно долгую нынешнюю зиму. Пройдя поперек Пушкинской, Сумской и Рымарской и спустившись по живописно искривленному, заполненному стихийными букинистами Классическому переулку, я благополучно достиг за двадцать минут цели моего похода — книжного рынка, именуемого в народе Балкой. Стоит ли жалеть, что новые, наверняка плохо читающие, хозяева книжного торга назвали его более, чем сладко, «Райским уголком»? Стоит ли вообще о чем-то жалеть, если случаются такие, совершенно неожиданные подарки, как находка того майского дня? В первой же от входа со стороны Классического переулка книжной палатке, я наткнулся на весьма интересное для себя издание — «Малороссийский гербовник» В. Лукомского и В. Модзелевского с рисунками Егора Нарбута. Книга вышла в Киеве в 1993 году как репринтное повторение петербургского издания 1914 года и уже была у меня в руках тогда же, в 93-ем. В тот раз, однако, полистав с умеренным интересом большеформатный геральдический том, я без особых колебаний положил его снова на прилавок. Но то была, помнится, скептическая осень, а нынешняя весенняя, через десять лет, встреча с гербовником оказалась более колоритной и почти родственной.

В указателе малороссийских родов на последних страницах я сразу же обнаружил собственную фамилию, а на 125-ой странице и описание фамильного герба: «Щит: в красном поле золотая фигура, подобная букве М, увенчанная справа кавалерским

крестом и пронзенная наискось слева тростью. Нашлемник: три траусовых пера».

Не имея никогда прежде геральдических притязаний, не проникся я этими страстями и теперь. Хотя и не исключено, что трудоемкие изыскания могли бы установить неслучайность совпадения фамилии владельцев Высочайше пожалованного герба, Шелковых-Онопреенко, и моей собственной фамилии. Мне, к сожалению, далее середины 19-го века, когда родился мой прадед, о представителях нашего рода, о его стволе и разветвлениях ничего не ведомо: «Русской памяти усталость и беспамятства вина...»

Пожалуй, даже метафорических прикосновений к новоявленному гербу я смог бы избежать, если бы не одно обстоятельство. В репринтном гербовнике, как и в питерском оригинале, острое перо Егора-Георгия Нарбута, кстати, старшего брата сильного и оригинального русского поэта-акмеиста Владимира Нарбута, перо талантливейшего графика-самородка, правленное и острённое Иваном Билибиным, изобразило ровно четыреста Высочайше жалованных и прочих малороссийских и польских гербов. И среди четырех сотен гербовых щитов, украшенных львами и единорогами, медведями и змиями, орлами и кречетами, крепостными воротами и башнями, мечами и железными рукавицами, лишь один-единственный багряный щит герба-однофамильца был помечен «золотой фигурой, подобной букве», а в нарбутовском изображении — просто-напросто литерой М. Вряд ли человека, посвятившего почти полвека своей жизни письмам, словам, звукам и буквам, более того, истово устремленного к обретению и оживлению Духа в букве, подобное точно-прицельное совпадение, пролетевшее 320 лет во времени, могло оставить равнодушным.

И отчего бы не предположить, что промысел Господний, щегольнув легчайшим сцеплением разнородных сущностей, доброжелательно подбросил на пробу звуко- и букволюбу эту изящно сработанную, почти невесомую ситуацию-намек, которая, однако, оставляет и время, и пространство для размышлений и толкований? И что, например, могли бы ниспослать еле слышно небесные Отцовы уста одному из бесчисленных своих земных чад,

и слабому, и небезгрешному, заготовив для него три с лишним века назад однобуквенное, в гербовый щит вписанное сообщение? Не только ведь один, навсегда усталый, вседержительский скепсис, звучащий в вялой житейской фразе: «М-м-м...»? Не только ведь скорбный вздох о наполовину мнимом, о мифическом, на пятьдесят один процент, могуществе мрака — в обличьях Молоха и Мамонны вчера, мегаполисов и монстров масс-медиа сегодня, вневременных и вездесущих «магистров мантии Мефисто» во веки веков?

Нет, нет, этот нежно-губной звук, словно бы отпускающий в воздушный полет легко-стремительный поцелуй, достоин просветленной минуты и обнадёживающего слова Того, Кто и сам вначале именовался Младенцем Марии. Именно от Него, Ему принадлежа, готов я в любую пору услышать многое, — и вовсе не о мраке, — готов распознать оживающие слова-символы по единственному долетевшему звуку. О времени ли — миллениум и миг, многоденствие и мимолетность, о пространстве ли — Магелланово облако, Млечный путь, мореходы и марсиане, марева и миражи многоликого мира... О клавишах ли и рукописях — музыка-мысль, мастерство-мужество, мечтатель-меченосец, мука и мука, мудрость меры и магическая молния, Моцарт, наконец... О тех ли родных душах, единение с которыми, может быть, — главное свидетельство очеловеченности Духа: Марфа-Мария, Мирослав, сегодняшнее драгоценное мое дитя...

И я, все еще продолжая надеяться на лучшее, готов принять от имени своей фамилии, невольно растерявшей страницы церковных записей, но не утратившей живых корней, это наконец долетевшее до адресата майское метафизическое послание, эту Господню многозвучную литеру, которая по праву принадлежит всем дорогим мне людям, чьей памяти посвящены эти страницы.

Полагаю, что не осудят меня бесспорные владельцы исходного гербового щита за некоторое уточнение геральдических акцентов. Всего лишь обойдусь без кавалерского креста и трости. Всего только страусовы перья заменю на стройно-жесткие гусиные, белые иль серые, но, главное, остро, для письма заточенные. Всего лишь по щитовому багряному фону рассыплю мельчайшей

золотой зернью, серебряной солью и все иные, помимо центральной М, буквы-литеры, взятые пригоршней из кириллицы и глаголицы, латыни и греческого алфавита — от «а» до «я», от альфы до омеги... Дабы имена и Петра-камня, и Ивана, иночески смиренного, и Константина-кремня, искры высекающего, — заглавными, запевными литерами в общеродовом клавире светились и отзывались. Чтоб и в каждой другой букве свой памятный человек, со своей исчезающей душой, будто многолиственный тополиный храм в невесомом летучем семечке, угадывался и откликался.

А центральная гербовая литера, что ж, пусть по праву родовой выслуги трех веков и впредь длит, золотясь, свою силу и благозвучие: Марфа-Мария, мальчик Мирослав, мята и мальва, милость и молитва...

2003 г.

## 2. ОКРАИНА, ОКОЛИЦА, СЕСТРИЦА

### ДИСПОЗИЦИЯ

В середине минувшего века, пятьдесят лет назад, в моей, совсем ещё призрачной тогда, биографии усилились восточные мотивы. Отроческий мой Восток был не самым дальним — не Уссурия, не Находка, не Курилы и не Хоккайдо. Но не был он и самым близким, принадлежа той территории, что не так ещё давно, при первых русских царях, звалась Диким полем, а чуть позже была поименована Слобожанщиной. То есть, во-первых и во-вторых, это был восточный край Украины, одной из наивосточнейших стран в европейских пределах. И, в-третьих, эти места моего первичного обитания вполне достойны кодового обозначения «Восток в кубе», ибо представляли они собою обширный и мрачноватый заводской район, расположенный на восточной же окраине Харькова, в самом конце Московского ныне проспекта (тогда и долгие годы ранее — проспекта Сталина), как раз на пустынном и унылом выезде из города.

Далее путь от двух стоящих в голом поле монументальных четырёхгранных колонн, символизирующих с момента их возведения в юбилейном для Харькова 1954-ом году городские ворота, вёл на Восток уже подлинный и несомненный, сказать бы, глобальный. Минуя Чугуев, Изюм, Донбасс, Ростов-Дон, Ставрополье, можно было менее чем за сутки бодрой езды достичь хребтов и ущелий Кавказа, добраться до его селений, уже исключительно гортанных и преимущественно исламских. И было до гордых кавказских аулов всего-то около тысячи километров пути от нашего пропахшего заводским дымом и макухой харьковского

локального востока, посёлка ХТЗ. Ровно столько, сколько отделяет нас сегодня от «узаконенной» Европы с её золотыми звёздами на синем прапоре, от западной границы с Польской Республикой — Речью Посполитой.

Таково в двух словах место событий, освещаемых в этих заметках. Время же действия ограничивается в основном семью годами — с 1949-го по 1956-й год, не исключая, однако, периодических и кратких, диктуемых логикой вылазок в соседние временные слои. Именно эти семь лет, прилегающие с двух сторон временной оси к середине миновавшего уже столетия, прожил я на харьковской восточной окраине — в районе скопления нескольких крупных заводов, клепающих круглые сутки в своём железобетонном и кирпичном нутре железные, стальные, чугунные и ещё раз железные изделия.

Этот добрый-недобрый десяток вечно дымящих промышленных монстров был отгрохан вдоль многокилометровой, левой-нечётной, стороны проспекта Сталина ещё в тридцатые годы — в пору известного бума советской индустриализации. По правую сторону проспекта вождя метрах в пятистах от стен завода, на ровно расчерченной строительными линейками плоской местности, возвышались, не слишком устремляясь ввысь, двух-, трёх-, и четырёхэтажные жилые дома, в основном тёмно-красного кирпичного, заметно затемнённого колотью, колера, изредка — из белого силикатного кирпича, тоже быстро темнеющего в местном индустриальном климате.

Ближайшими к нашему жилому массиву, распланированному и построенному вдоль линий незатейливой казённой клетки, что легко просматривалась при взгляде сверху, — хоть с воробьиного, хоть с вороньего полёта, — были тракторный завод, ХТЗ, и станкостроительный, где начал с 1949-го года работать мой отец. Тракторный носил имя Серго Орджоникидзе от момента его постройки и носит это шелестящее пузырьками боржоми имя до сих пор, благодаря своевременному мужественному уходу из жизни индустриального грузина — земляка и соратника грузина главного, отца народов, заводов, газет и пароходов. Станкозавод в описываемые семь лет моей околопролетарской биографии был заводом имени Молотова.

Этот индустриальный псевдоним товарища Вячеслава Михайловича Скрябина, так же, собственно, как и стальное партайнаме, то есть партийное имя Сосо Джугашвили, несомненно подходил к заводской вывеске или, как произнесла бы теперь новая поросль, к железоделательному лейблу и брэнду. Но в конце пятидесятых годов Молотов сильно не поладил с тогдашним советским царём Никитой Хрущёвым, был зачислен в антипартийную группировку и лишился всех своих привилегий. В числе прочих преимуществ потерял Скрябин-Молотов и право украшать своим именем вывеску Харьковского завода шлифовальных станков. С конца пятидесятых появился вместо молотовского ХСЗ станкозавод имени Косиора. Тогда же и город Пермь, перестав быть Молотовом, смог вернуться к своему исконному пермяцкому имени. Правда и то, что определения «пакт Молотова-Риббентропа» и «коктейль Молотова» вполне резонно остались навсегда в мировой исторической лексике.

Отец пришёл работать инженером-технологом на станкозавод в августе 1949-го года после окончания механико-машиностроительного института, так в течение нескольких послевоенных лет именовался машиностроительный факультет Харьковского политеха. Толчком именно в этом направлении послужило то, что директор станкозавода Иван Панков, заметил однажды молодого и видного — и главное, на редкость волевого и напористого — выпускника машфака Константина Шелкового на волейбольной площадке. Привлечённый мощными колами, то есть нападающими, почти вертикальными, ударами через сетку и не менее крепким, во весь голос, капитанскими командами отца, Панков зазвал его к себе на завод, обещая незаурядные перспективы роста. И действительно, впрягаясь в заводскую лямку с восьми утра и влача её до девяти-десяти вечера, отец сумел вырасти на службе, пройдя за семь лет путь до немалого поста начальника производства станкозавода.

Со спортивной же, волейбольной, эпопеей его с момента прихода на производство было практически покончено. Об этом он периодически сожалел вслух, ибо играл в студенческие годы действительно хорошо, на профессиональном, по тем временам, уровне. Начинал ещё в московской команде Бауманского высше-

го технического училища, в котором отучился три курса с 43-го по 46-й год на артиллерийском факультете. Возвратясь в Харьков в 46-ом году, выступал за команду «Наука», игравшую в чемпионате Украины, и котирировался среди спортсменов довольно высоко. Подобного рода отзывы об отце мне довелось слышать уже намного позже наших станкозаводских времён от такого великого волейболиста, как Юрий Поярков.

Приход отца на станкозавод и послужил причиной того, что он вместе с моей двадцатичетырёхлетней матерью и со мной, двухлетним их чадом, поселился в 49-ом году в упомянутом, трижды восточном, посёлке ХТЗ — так эта, весьма изрядная тогда, Тмутаракань именовалась центровыми харьковскими жителями. Местное же население говорило: «живём на тракторном» или «живём на станкозаводе» в зависимости от места работы кормильца семьи и соответственно от расположения жилья левее или правее некой виртуальной оси, делящей совершенно однообразную квадратно-гнездовую местность на сферы обитания «тех» и «этих». В новые, не столь отдалённые, края пришлось нам перебираться, держась восточного направления и отдалясь километров на пятнадцать от дедовой квартиры в самом центре Харькова, на улице Чернышевской, от дома с номером-перевертышем — 96.

И вправду в конфигурации этого числа присутствует несколько хитрых центров симметрии. Повернуть ли всё число на полоборота вокруг его общего центра, — хоть по часовой, хоть против часовой стрелки, — нисколько оно не изменится, самим собою и останется. Кто хоть немного знаком с математикой, тут же добавит, что вращать можно и на полный оборот, и на полтора, и на девяносто шесть оборотов — ничего от перевертыша не убудет, вернётся на круги своя, не изменяя ни на йоту своей упорной графики, обличённой, впрочем, в две плавно выписываемые росчерками-закруглениями цифры: шесть и девять. Сии эмбрионы «шесть» и «девять» тоже имеют свойство легко перетекать друг в друга своими начертаниями. Крутни шестёрку на пол-оборота, а после на любое целое число оборотов — вот тебе и девятка. Вращай таким же макаром девятку, шестёркой она всякий раз и обернётся.



Ну, а шестьдесят девять и вовсе один к одному — древний китайский символ объединения инь и ян, женского и мужского начал. Вселенский круг, образованный и любовным, и философским слиянием двух разноколерных, плотно друг к другу прильнувших, головастиков.

Не могу не добавить, что этот же рисунок числа «сиксти найн» — не что иное, как отзеркаленный символ созвездия Рака, под которым мне довелось появиться на свет... Все эти подробности лишний раз напоминают мне о том, что, выехав в 49-ом году из дома номер 96 в двухлетнем возрасте, я снова, совершив уже немало оборотов вокруг явных и неявных центров симметрии и антисимметрии, вернулся в наследное жилище двадцати трёх лет отроду. Позже подобный же маневр ухода и возвращения на Чернышевскую был повторен мною ещё дважды на тридцати- и тридцатипятилетней отметках.

Трудно сказать, сколько именно времени из первых двух лет жизни я провёл в дедовой — Ивана Ивановича, отцова отца — коммуналке на Чернышевской улице. Первые пару месяцев после появления на свет в июле 47-го я определённо обретался во Львове, городе рождения, у Ольги Ильиничны, моей бабки с материнской стороны, и затем на станции Долинская Кировоградской области, на родине матери, у козы-кормилицы и у неких дальних, увы, совершенно неизвестных мне ни ранее, ни теперь, родственников.

Совсем недавно на обороте своей первой детской фотографии я обнаружил надпись, сделанную рукой отца — тем самым его изысканно-чётким чертёжным почерком, которым он, помнится, изрядно гордился. Из надписи следует, что младенец запечатлён пяти месяцев отроду, 21 декабря, в день отъезда на свою родину, в город Львов. Стало быть, уже в первый год жизни мне довелось побывать в галицийской столице дважды, и следующий мой, нескорый, приезд во Львов, в сорокадевятилетнем возрасте, оказался уже, как минимум, третьим, а не вторым, как мне представлялось до сих пор. Выходит также, что гостеприимство фамильного гнезда на Чернышевской улице, — а точнее, его тогдашней хозяйки, отцовой матери, моей бабки Анны Алексеевны, — было не слишком велико. Посему младенцу и его матушке

представилось тогда более удобным иное пристанище — как раз на противоположном краю Украины-Руси, за тысячу километров от берегов славных рек Лопани и Нетечи. Однако мне очень посчастливилось в другом — в том, что с самого начала в моей биографии появилось близкородственное гнездо иного рода — совсем не великий, но неизменно начинающийся для меня с большой буквы, Дом в Луганске. Его редкостная человеческая, душевная аура и осветила, и согрела всё моё раннее становление раз и навсегда.

Лето 48-го года вспоминается мне самым первым моим откровением, огромным и ликующим пятном утреннего солнца в столовой луганского дома тамошних деда и бабушки. Помнится настолько ясно, что и сейчас во всех живых подробностях стоит перед глазами эта, полная светлыми комната, где я, годовалый, отваживаюсь на первое самостоятельное перемещение — от дивана, обитого гобеленовой тканью, до квадратного стола с льняной скатертью. Памятен восторг, определяемый одним словом «Могу!», и памятен оставшийся навсегда самым добрым и любимым из всех голосов голос бабушки, Марфы Романовны, восклицаящий с соседней веранды: «Сережа пошёл!»

Хотя и вспоминал я уже ранее об этом своём первичном походе, но не могу удержаться от ещё одного взгляда на тот неповторимо-притягательный для меня лоскуток пространства-времени, полный воздуха и солнечного света. Следующее лето в 49-м году я скорее всего провёл там же, в Луганске, у тех же незабываемых родных людей, у моих Петра и Марфы. Говорю «скорее всего», ибо уточнить, во-первых, уже давно не у кого, а во-вторых, в дошкольные свои годы я каждое очередное и долгожданное лето, — думаю, что без пропусков, — проводил в Луганске.

## МЛЕКО НАСУЩНОЕ

Стало быть, от дебютных моих двух лет жизни на долю дома по улице Чернышевской остаются лишь неполных два периода межсезонья: фрагменты осени, обрывки зимы, клочки весны. Из

того, более чем полувековой давности, харьковского полуторалетия ничего не всплывает в памяти ни обрывком светотени, ни вмятиной или выпуклостью объёма, ни даже лёгкой подгорелостью молочного запаха. Осталась пара мутных, очень не в фокусе, фотоснимков почти лысого и умеренно-щекастого младенца с продолговатым, хотя и вряд ли азиатским, разрезом сонных глаз и с бутылкою млека насущного в руках. По поводу этой бутылки с соской отец изредка ударялся в весёлые воспоминания, изображая сценически, каким образом младенец уже заранее держал щупальца наготове, заметив приближение кормильца с молочной дозой. А держал он руки перед лицом полусогнутыми, как бы двумя маленькими буквами «С», и кисти рук, десять нетерпеливых пальцев, тоже изгибались двумя ещё меньшими «С», словно бы уже обтекая стекло млекопитающего сосуда. Отцу оставалось лишь вставить принесенную бутылку в полностью готовую к захвату анатомическую конструкцию — пальцы в тот же миг сжимались чуть крепче, до полной фиксации, и кормёжка шла без малейшей проволоочки времени.

Мать рожала этого младенца очень тяжело — и физически, и психологически. В сложности семейных взаимоотношений того 47-го года, когда судилось мне всё же объявиться на свет, я, поначалу лишь догадываясь, убедился по мере взросления. Свободолюбие красавца, спортсмена, комсомольца, хотя и не отличника, Константина Ивановича, двадцатиднолетнего, но уже успевшего повидать виды, конечно же, никак не могло на тот момент ни улечься, ни, тем более, истощиться. Его брак с моей матерью, заключённый 21 марта, ровно за четыре месяца до моего рождения, дался ему крайне нелегко. Тем более не просто, что его мать, Анна Алексеевна, особа авторитарного характера, никак не хотела изменить, ни тогда, ни долгие годы впредь, своего упорно-агрессивного настроения против мамы Валентины, имея в виду совсем другую кандидатуру в невестки — дочь почтенного директора аптекоуправления и своего начальника, Ирину Пирогову, долговязую и костистую девицу с чрезмерно громоздким, фамильно-пироговским лицом.

Да, трудновато было им всем в тех, ещё невидимых для меня, коллизиях. Но нерадостно и тревожно пришлось и нам вдвоём

с мамой Вале́й, с которой мы, как ни крути, но все непредсказуемые девять месяцев до моего рождения держались воедино и заодно... В итоге, после нервных и болезненных родов во Львове в июле 47-го, младенец всё же прорвался туда, где его не слишком хотели. Но когда он пробился в мир со своей устрашающих размеров родовой гематомой на темени, со своей второй, химерно-метафорической головой, молока в этом миру у матери для него не оказалось. Поэтому я, нынешний, не слишком склонен иронизировать над тем младенцем с конечностями наизготовку в виде четырёх букв «С», повторяющих первую букву его имени, над тем маленьким млекопитающим, спешащим выжить в условиях, когда ни млеко, ни питание, ни материнский инстинкт не спешили ему навстречу.

Напротив, этот мучнисто-белый северо-восточный ребенок представляется мне почему-то неким полным жизни, смугло-лоснящимся от белейшего молока чёрной матери младенцем Луи Армстронгом — не с тревожностью, но с неизменно-врождённой радостью в круглых глазах. И эти его крючки-ручонки в виде четырёх «С» ждут совсем не стеклянного сосуда с выпукло-стеклянными же мерными рисками снаружи (что там мерить-то?) и с жидкой манной кашей внутри, но ждут они уверенно и радостно своей законной, неотъемлемой, свыше назначенной золотой трубы — её сияния и полнозвучия. Фиксируют эту предвкушённо-ожидаемую принадлежность выверенным и чётким, хозяйским жестом. Отчего-то именно такая ассоциация возникала у меня каждый раз, когда отец возвращался к воспоминанию об этой сцене, показывая своими огромными ручищами, как именно сосунок реагировал на приближение кормильца (здесь в голосе родителя звучали приглушённые ноты гордости) с очередной дозой подкормки.

Несомненно, однако, что и тот скудномолочный режим кормёжки должен быть определён как немалая для меня удача, если вспомнить, о каких временах идёт речь. Послевоенные 1946-й и 1947-й, годы моего зачатия и рождения, были отмечены в Союзе новым жестоким голодом. Этот очередной советский мор замалчивался долгие десятилетия и не был удостоен ни единого державного слова сожаления. Сегодняшними же историками количество погибших тогда от голода оценивается в миллион человек.

О том, как буднично-страшно и бесследно-безымянно гибли люди, и в особенности дети войны, именно в эти два года, свидетельствуют, в частности, недавно опубликованные воспоминания замечательного харьковского художника-пейзажиста Александра Судакова:

«В конце 1946 года мы, четверо старших детей, оказались в детском доме... Был декабрь, снежный, холодный и очень голодный. Впрочем, голодными оказались все 5–6 месяцев, проведенных нами здесь, среди таких же обездоленных детей, многим из которых судьба уготовила печальную участь... Двор детдома был огромный и пустой. Нас выводили на прогулку строем. Мы не могли и шага ступить в сторону... Однажды мой брат Володя совершенно неожиданно вышел из строя и, насколько хватало сил, побежал по протоптанной в снегу дорожке. Он стал приближаться к небольшой постройке в глубине двора. Женщины громко бранились и бежали за ним. Они догнали его, он упал, споткнувшись о сугроб. Когда его привели к нам, он долго не мог ничего говорить, а только всхлипывал и вытирал слёзы. Его увели в дом, и, естественно, он был наказан. Позже, когда страсти утихли, Володя рассказал нам о том, что, добежав до сугроба, он понял, что это засыпанная снегом земля, а за нею открылась яма, в которой лежали окоченевшие трупы детей...»

Воспоминания А. Судакова, почти моего сверстника, касаясь наших общих времён, относятся и к краям, совсем недалеко отстоящим от Слобожанской восточной окраины. Тот недоброй памяти детдом размещался на хуторе неподалёку от родного художнику Старобельска, на кровно родной мне Луганщине. О скольких же ещё подобных гиблых хуторах на многострадальной отчей земле уже некому произнести скорбного слова?

## ВЕТЕР, ВЕТЕР

Отправляясь в мою вторую, «чернышевскую», зиму, на занятия в Харьковский Политех, отец отвозил меня на санках в детсад, находившийся на территории института. Это краснокир-

пичное двухэтажное здание и теперь, пятьдесят пять лет спустя, благополучно стоит на том же месте, рядом с Вечерним корпусом вуза, почти на самом краю Журавлёвских склонов, довольно круто опадающих к пойме и руслу давно обмелевшей реки Харьков. Если стать лицом к обрыву, то, глядя налево и минуя взглядом зонообразный физико-технический институт, где в тридцатые годы умудрились впервые в мире расщепить атомное ядро лития, можно попытаться увидеть, примерно в километре от политеха, ещё одно примечательное здание.

Это кирпичный дом на излёте улицы Чайковского, стоящий одним из своих торцов, так же, как и детсад, над самым обрывом Журавлёвского склона. Из находившегося здесь совсем не детского воспитательного заведения в двадцатые годы труженики Харьковской ЧК сбрасывали замученных и расстрелянных прямо с обрыва в широкий ров на Журавлёвке, где ждущие внизу дежурные китайцы с лопатами тут же присыпали землёю свежий слой человеческого материала в ожидании слоя следующего. В этом же богонеудобном заведении трудился и известный любитель «человеческих глазных яблок», чекистский садист Саенко, о котором упоминает, в частности, Велимир Хлебников в своей мрачной поэме о ЧК. Будетлянин и Предземшара прожил в приглянувшемся ему Харькове более года как раз тогда, на сломе десятых-двадцатых лет рокового века.

И происходили эти чекистские экзекуции всего-то за пару десятков лет до описываемых здесь сороковых годов. Впрочем, увидеть палаческий дом, стоя на краю двора, принадлежащего краснокирпичному детсаду, сейчас не удастся — помешают бетонные стены с колючей проволокой секретного капища физтеха и буйные заросли сорных деревьев и кустарников, плотно облепившие эту ещё не порушенную и не модернизированную в последние бойкие годы часть Журавлёвской горы.

Здесь, почти на краю заснеженной кручи, прошелестели впервые мои стихи — осмелюсь услышать эти давние звуки именно так. Они же одновременно стали самыми ранними из моих слов, достоверно — снова же усилиями отца — до меня донесенными. Пробиваясь в сумраке на санках сквозь утреннюю пургу к своим политехническим, то есть Журавлёвским, склонам (а птица-то —

от журбы, журливая, ей Богу!), к казённому краснокирпичному гнезду, полуторагодовалое человеческое существо безнадёжно, но упорно и ритмично, повторяло в отцовскую извозчичью спину: «Ветер, ветер. Боюсь, боюсь. Ветер, ветер. Боюсь, боюсь...» Похоже, что это были настоящие стихи, слова, которые из песни не выбросишь, напетые, правда, не самым укутанным и брошенным в сани встревоженным птенцом, а, скорее, метелью и временем, гуляющими на пару над самой высокой харьковской горой с журливым всё-таки, что ни говори, названием.

Боялся младенец совсем не напрасно. В одну из таких зимних санных поездок отец внезапно обнаружил, обернувшись, что ставшие заметно легче сани опустели и наследник его отсутствует. Пришлось возвращаться на добрые двадцать метров до того места, где в снегу лежал человек-свёрток, молчаливый и мрачный, даже не пытавшийся подняться на ноги по причине тесноты зимних одежд. Что мне сказать в адрес моего двадцатидвухлетнего тогда Константина Ивановича с сегодняшнего своего холма-пятидесятилетия, если и не заснеженного вконец, то уж наверняка задумчиво-журливого? Молодой — скажу — был, необученный. Да ещё добавлю, пожалуй, «спасибо, отче» за то, что вовремя от дум очнулся да по ровной дороге в тот день маршрут выбрал.

И что же мне произнести вдогонку той первой, ставшей для меня уже классикой, песне: «Ветер, ветер. Боюсь, боюсь»? Скажу о неслучайности этого напева и для нынешнего моего дня.

То, что для чада малого было логикой знака тире между ветром и испугом, причинно-следственным переходом, давно стало для него, повзрослевшего, логикой запятой, перечисления, знаком последовательно-параллельного обитания и взаимозацепления добра и зла на родной, навсегда перекошенной почве. Ибо ветер, во всех его ипостасях, я давно и несомненно возлюбил, и с дружеской твёрдостью принимаю этот встречный напор воздуха — в лоб-чело ли, в надбровья, в полуприкрытые веки, в сощуренные глаза... Одно из любимейших и властно-символичных ощущений — именно встречный ветер, бодрящий и испытующий.

Что касается страха, то, вглядываясь в пространства-времени, не нахожу, по крайней мере в двадцатом веке и в европейских

пределах, иной земли, помимо отчей, где бы страх укоренился так прочно, матёро, многообразно и — не будет ли кошунством сказать? — так естественно. Это, черно-серых оттенков, ощущение и впрямь обосновалось неизбежно-привычно и на микробытовом, и метафизическом уровне, в ежечасном и ежепоколенном обитании человека на Руси. Почти полное обнуление цены человеческой жизни — с её непостижимым зарядом внутреннего духовного космизма, — душегубские стратегии, не изобретённые, но жестоко узаконенные практикой последнего русского века, не могли не повлечь за собой многочисленных мутаций и социума, и индивидуальности. При этом высокая концентрация страха, тревоги, неуверенности позорно сочетается в сегодняшней жизни с почти полным отсутствием в обществе богобоязненности — качества, способного противостоять почти в полном одиночестве наглости-алчи, бестыжести, гордыне, облыжной лжи. Собственно, богобоязненность и определяется более кратко и кротко как совесть. Человек совестливый и обсуждает свою со-весть, сомысл как общую с Творцом.

Упорный уход от покаяния — и де юре, и де факто — в постсоветские годы, отсутствие покаяния в грехе невиданного по взбешённой жестокости социального эксперимента, нежелание признать и осудить национальную катастрофу безбожия-бесчеловечности — вот что является для меня самым большим страхом сегодняшней ситуации. Ибо прошлое, неосужденное практикой и действием закона, то есть именно истинно-глубинным, а не лживо-поверхностным, раскаянием, — продолжает своё разрушительство, свою губительную работу. Имитация покаяния — охранный грамота для прямых наследников вчерашнего дня, для существ якобы новых, но узнаваемых по вырожденности в них человеческих черт — для этих подмалёванных упырей, лишь нагнетающих концентрацию зла на своих нынешних чумных пирах.

От этого главного страха, от восходящего к Экклизиасту ужаса перед невозможностью изменить мир, приблизив его хоть чуть-чуть к божественному замыслу, ответвляются сотни других, более малых и частных страхов, хронических или остро протекающих фобий. При этом почти все соотечественники как



будто живы и каждый в своей страшноватой жизни как-то устраивается. Особенности национального характера, а значит, и навыки страхоборства русского человека (а русский для меня — не от России, но от Руси, от Перворуси, от Руси Триединой, да простят меня за это все те, кто не прощает!), отмечались уже не раз, в том числе и близким к нам по своей почвенной укоренённости и не столь близким по высокой константе железной воли собирателем германских земель канцлером Отто фон Бисмарком: «Русские долго запрягают, но быстро ездят...»

Да, это пресловутое долгое запрягание в немалой мере может быть объяснено именно неким застарелым, поселившимся в геноме, ползучим страхом — то ли перед новым усилием, то ли перед изменением как таковым. Некой болезненной неуверенностью в необходимости пробуждения — обликом то худосочной, то рыхло-мучнистой фактуры.

Но в быстрой езде, помимо новой боязни не успеть, опоздать вслед муторно-долгому запряганию, живут ещё и иные качества того же нрава: бесстрашие, порой до бесшабашности, раскрепощаемые на скорости страсть и ловкость, редкое умение спасти игру, порой почти безнадёжную. Должно быть, игровая природа воли, волевого свершения больше присуща русской натуре, чем, к примеру, той же натуре бисмарковой, немецкой. Наше волевое движение редко объявляется железным и стальным, но чаще помечено замысловатой динамикой становления. Наша, едва ли не сонная, привычка к страхам и тягостным пробуждениям как бы выискует дополнительных рисков и вариаций.

Возвращаясь к полуторагодовалому мальцу, напевавшему более полувек назад на Журавлёвском откосе песню о метельном ветре, признаюсь, что, подрастая, он не раз подмечал и в самом себе, в своих собственных психодвижениях, немалую справедливость бисмарковой поговорки. И если положить руку на сердце, то надо признать, что именно в случае этого конкретного характера железный канцлер Отто попал в самую точку своим обобщением.

Так, всякий раз пыхтя, терзаясь и маясь несколько дней перед каждым из более, чем сотни, выпавших на его долю экзаменов, испытывая молчаливое унижение перед властью и уродством

многоступенчато-многосуставчатого монстра Учителя-Уличителя и подцепив наконец двумя пальцами белый прямоугольник экзаменационного билета, уже подросший к тому времени отрок становился спокойным, ясным, сосредоточенным и даже, на удивление самому себе, каким-то прохладно-бесчувственным перед подступившим к нему вплотную стартом быстрой езды. «Последний парад наступает» — так называлось это на славном крейсере «Варяг». Так всякий раз приходило неправдоподобное спокойствие, включались очищенные от всех помех быстрота и реактивность мысли и на моих юношеских — да и не только — экзаменационных парадах. За исключением, может быть, пары эпизодов из трудно определимого множества. Но и они, надо полагать, пошли на пользу в науке запрягания и ускоренной езды.

На Чернышевской улице до сей поры твёрдо стоит на четырёх ногах — не на дубовых, нет: совсем не та камнеподобность плотности и веса — массивное кресло простой, но прочной и надёжной конструкции. Пятьдесят пять с лишком лет назад оно служило спальным местом тому самому чаду, что приходилось внуком его владельцам — деду Ивану Ивановичу и бабке Анне Алексеевне, родителям моего отца. Совершенно невероятно звучат для меня, нынешнего, числа, извлекаемые мной из простейших подсчётов: деду моему тогда, в 1948-ом году, было пятьдесят четыре всего-то, а бабе Анне, как без сантиментов именовалась она всегда в семейном кругу, и вовсе ничего — сорок четыре года. Кресло их, своим простым, но выразительным очертанием повторяющие подковообразную дугу при взгляде на него сверху, или же выписывающее — не первый уже раз в этих заметках — контуры знакомой буквы «С», пригодились мне и при втором, и при третьем возвращении на Чернышевскую: именно в этом, несколько тренообразном, сооружении, придвинутом к громоздко-двухтумбовому, тяжко-дубовому письменному столу, мне и пришлось написать большую часть своих беспартийных книжек, начиная с 81-го года. В том уже веке, не в этом уже тысячелетии.

Пару лет назад, подкупленный негнибавшей служивой спиной моего кресла-ветерана, многолетней вертикальной стойкостью его десятка — по пять с каждой стороны — планок, скрепляющих две подковообразные ореховые дуги и пластину сидения

в единое целое, я отдал старого деревянного Друга в руки знакомым мебельщикам для обновления. К этому времени и шаткость его винтовых суставов стала заметной, и лак с ореха облез и облущился, и, в особенности, обивка из трёх незамысловатых прямоугольников ткани, с двух сторон спинки и на сиденье, изнашивалась до неприличия. К тому же этот тёмно-зелёный, несколько ядовитого оттенка, материал, что заменил уже на моей памяти, усилиями бабы Анны, более раннюю обивку, никогда не казался мне удачным выбором.

Новая гобеленовая ткань, отысканная мной полнозрелым июльским днём в магазине на первом этаже здания гостиницы «Харьков», глянулась мне при первом же взгляде. Наверняка ещё и потому, что обнаруживалось явное её сходство с другой, более ранней и памятной, тканью — и по шероховато-плотной фактуре и по тону окраски. Основное цветовое поле, — светлого, очень светлого кофе с молоком, — оживлялось более тёмными разно-колерными мазками неопознанных художественных объектов. Среди множества этих разномастных тканевых пятен, объединённых в не лишённый гармонии абстрактный декорум, глаз всё же различал пару элементов атавистического реализма. То ли чету заострённых листков в форме наконечника стрелы, то ли двойку рядом растущих пирамидальных кипарисов — обрисовывал бледно-зелёный колер, словно бы тоже с добавкой капли молока или глотка лунного света.

И всё это счастливо напоминало — и на взгляд, и на ощупь — обивку того самого крейсеровоподобного добротного дивана в солнечно-летней луганской комнате, от которого годовалый мальчик отважно оттолкнулся в своём первом вольном походе — и рисковом, и благополучно свершившемся. Сколько же шагов человеческого детёныша вместилось в эти полтора-два метра, что отделяли гобеленовую обивку дивана от столь же плотных, но более гладких и скользящих, льняных складок скатерти — пять, шесть, семь? Думаю, что с течением лет это число всё более приближается к числу ангелов, способных поместиться на кончике иглы в такой же солнечный и ничем не омрачённый день. Тем более, что день этот был и остался совершенно особенным, одним-единственным в своём роде. Вот так память, не без подпитки инстинк-

том жизнелюбия и привычкой смыслолюбия, не устаёт находить снова и снова некие воздушно-кислородные пузырчатые полости в застывающем янтаре пространства-времени. Не устаёт окликать пленённых, но всё ещё живых и оживляющих давнее лето пчёл, стрекоз, мотыльков — свидетельства и метки минут, не бесследно минувших. И вряд ли возможно обретение сколько-нибудь устойчивого смысла, пусть всего лишь твоего собственного, тебе одному внушающего доверие, вряд ли возможно обретение ориентации во всё более твердеющей и набирающей густоту смолоподобной субстанции бытия без этих опорных точек. Без этих разбросанных по многомерно-неприветливому континууму живучих воздушных пузырьков — метафор, вещей, примет, воспоминаний...

### ДОМ ИЗ БУРОГО КИРПИЧА

Настало наконец время оставить дом на Чернышевской улице в почтенно-центральной Нагорном районе до второго в это гнездо пришествия, спустя двадцать один год, и сдвинуться на полтора-два десятка километров к восточной городской окраине, туда, где расчерченные квадратно-гнездовым манером улицы носят имена Станкостроительной, Шарикоподшипниковой, 2-й Пятилетки...

Первым жилищем в этих краях стала для нас с отцом и матерью комната в коммунальной квартире на втором этаже бурокирпичного, минимально-элементарного по всем своим качествам, дома на улице Мира, 44. Дверь в нашу комнату нащупывалась в левом, дальнем от входа, углу никогда не освещаемого, ибо все-народного, коридора. Справа не то, чтобы враждебно, но уж никак не дружелюбно молчали в полумраке прихожей две соседские двери — мерцали полуоблупившейся, некогда белой краской. Кем были укрывшиеся за теми дверями существа-соседи, ни малейшего представления в течение всех трёх лет, проведённых в благословенном «красном» доме, я не имел. Родители меня в подробности коммунального сосуществования не посвящали. Помнятся лишь иногда повторяемые в разговоре с кем-либо из

взрослых сожаления отца о двух пропавших из комнаты наградных кубках — свидетельствах его успешной карьеры спортсмена-волейболиста в студенческие годы.

При этом отец выразительно и энергично делал движение головой в сторону самой правой двери коммуналки, где обитал некто, определяемый не совсем понятными мне тогда словами «пьяница» и «пропойца». Смутно пробиваются на поверхность памяти слова из этого отцова разговора с кем-то третьим, — более ясно сохранилась интонация голоса, полного досады, — слова о решительном объяснении, чуть ли не о стычке с коммунальным собратом по разуму. И до сих пор слышится, как наплывает на тон первичного огорчения форсаж досады вторичной, поскольку ни к признанию в краже, ни к возвращению реликвий беседа молодого инженера-технолога с «пропойцей», увы, не привела.

Единственное, в чём я, в связи с этим привычно-околокриминальным-бытовым эпизодом, уверен, так это в том, что, кроме двух «серебряных» (так, скорее всего метафорически, определял их отец) кубков, из-за нашей, опрометчиво не закрытой на ключ двери, более унести было решительно нечего. Крайне скудная меблировка этого жилища вяло и неохотно поднимается ныне со дна моего сознания, с вязко-аморфной, да и неблизкой уже, почвы убогого быта. Здесь я в который раз замечаю коренное отличие харьковского красно-бурого жилища от луганского летнего дома тех же времен, почти каждый предмет четырёх комнат и веранды которого, каждая принадлежность продолжают пребывать, без всяких признаков повреждения и старения, в некой хранительном эфире — подлинно-весомо, красочно-выпукло...

Невесёлая ирония бытия заключается в том, что дом над речкой Луганью, уже несколько десятилетий исчезнувший физически с земной поверхности, продолжает существовать в моей внутренней реальности — живым, солнечным, ниспосланным свыше. А грязно-кирпичная коробка 44-го дома, к которой лишь в связи с нынешними заметками, я пытаюсь вернуться едва ли не впервые за истекшие полвека, между тем упорно-неподвижно стоит в своём углу первично-шашечной квартальной конфигурации, образованной такими же ничем не примечательными сооружениями. Стоит темно и непоколебимо, свидетельствуя, что основ-

ные обводы воза здешней жизни, нище-коммунальной, окраинно-пролетарской, не утратившей вполне горьковского оттенка свинцовой мерзости, мало изменились за минувшие полвека.

И всё же топографическая ориентация в тусклом подпространстве казённого обиталища не утрачена. Как я теперь с удивлением обнаруживаю, основные вехи всё ещё различимы в каком-то дальнем отсеке-чулане цепкой с младенчества зрительной, и, особенно, ситуативной памяти. Слева от ведущей в комнату двери, вдоль той же дверной стены, стоит моя детская, решётчатая, светлого дерева, кровать. Положение её определённо восстанавливается по тому, целиком сохранившемуся в сознании эпизоду, когда, проснувшись однажды среди ночи, с недоумением слышу в темноте пыхтение и возню родителей в дальнем углу, у перпендикулярной ко мне стены. Так и поднимается до сих пор в своём решётчатом койкоместе тот, всё ещё живой в известной мере, малец менее трёх лет от роду, приподнимается, пытаюсь различить что-то сквозь полную темноту, маленький фантом — некая комплексная видео-стерео-аудио-запись хитрющей биохимической системы, произведение его же собственного мозга. И у отрока всё ещё хватает то ли такта, то ли сообразительности не подавать голоса и не выдать своего несвоевременного пробуждения.

При этом вместе с мизансценой самого эпизода прекрасно сохранилось и то сопутствующее ощущение, что ты здесь — совершенно некстати, не к месту и не ко времени. Мне действительно нет ещё трёх лет, поскольку присутствие в комнате моего, ровно на три года младшего, брата никак ещё не угадывается. А полноте и достоверности всех ощущений этой цельной, хотя и очень локальной, записи события я почему-то решительно верю.

Середина третьей стены, расположенной напротив входной двери, примечательна едва ли не самой интересной деталью комнаты — дверью, ведущей на балкон. В этой двери и в самом балконе уже тогда чудилось мне нечто от роскоши большого воздуха и от глотка свободы для узника. С этой же балконной кафедры состоялось чуть ли не первое моё публичное выступление перед стоящей внизу, во дворе, аудиторией. Оно же, видимо, и явилось уже одним из последних полных вдохов-выдохов моего катящегося к крамоле изрядно запущенного вольнолюбия.

Было мне, полагаю, года четыре. Приехала из Львова Ольга Ильинична, баба Оля, привезя внуку подарки, из которых, именно в связи с предстоящей моей балконной речью, запомнился набор выпиленных из фанеры и украшенных цветными бумажными наклейками традиционно-добрых детских зверей: зайцев-зайчиков, белок-белочек и, должно быть, каких-то ещё других — им под стать. Взрослые были отвлечены ещё не вялой беседой, той самой, что всегда свежа в самом начале гостеваний, а я с набором фанерной фауны в руках оказался у решётки балкона. Первое, что подтолкнуло меня к действию, была интуитивная догадка о полётных качествах моих новых, уплощённых, подобно крылу, деревянных игрушек. Запуская в полёт первого фанерного зверя, — не как попало, а правильно, броском параллельно земле, — я в тот момент лишь краем глаза улавливал группу мелюзги, копошившейся внизу, на траверзе моего пускового балкона. Скорее всего это были люди, как и я сам, «от двух до пяти», не более.

Когда же первая пущенная мной вещь полетела и впрямь красиво, по долгой и планирующей траектории, когда группа малолеток радостно и в едином порыве бросилась рассматривать и поднимать приземлившееся метательное нечто, тогда мощный прилив торжества заставил меня воскликнуть, направляя фразу сверху вниз и физически, и в смысле вдохновенного ощущения, прилива превосходства: «Эй вы, ссыкуны, держите!»

Вниз полетели, планируя, последние фанерные звери, бывшие у меня в руках, — снова аэродинамично, не обманывая ожиданий, заранее, за десятки лет до моей встречи с народной мудростью «пролетаем, как фанера над Парижем», подтверждая её полную точность и справедливость. Помнится, меня не одолевало в тот момент чувство вины, и не тревожила мысль о дерзости моих действий или, если угодно, бесчинств, как мог бы определить сей эпизод кто-либо значительно старше моих четырёх лет.

Видимо, первородный энтузиазм, внезапный эстетический порыв (а это был именно он — восторг от пластического совершенства полётной траектории!) не остался незамеченным и непонятым для внешнего мира, поскольку мать лишь с негромкой и маловнятной укоризной бросилась ко мне, успевая притормозить запуск последнего деревянного животного. Кто-то ещё из

взрослых поспешил вниз, сумев спасти лишь часть из того, что улетело. Остальное было оперативно растащено по таким же клоповникам, как и наш собственный, благодарным местным населением. День стоял тёплый и солнечный, скорее всего майский. Предполагаю так, поскольку летом в дошкольные годы я почти не оставался в Харькове, спеша с приходом тепла в луганские Палестины, навсегда запавшие мне в душу.

Еще один эпизод, связанный с «красным» домом, положил начало, — и к тому же на долгие годы вперёд, — властному противодействию отца моему, до сей поры бесконтрольно нарождавшемуся, вольнолюбию. Накануне я, пятилетний, впервые попал с двумя приятелями, на год-другой меня постарше, в кинозал клуба подшипникового завода, где крутили в этот раз героический фильм «Крейсер «Варяг». Забравшись — подальше от контролёра — в первый ряд шатких деревянных кресел, я ощущал неприятное напряжение в глазах от попыток удержать в поле зрения слишком близкую ко мне и слишком большую (огромную тогда!) простыню экрана. Пытался, как мог, по ходу дела приноровиться к непривычно быстрой смене эпизодов на полотнище. Несколько вяло-волнистых, как бы ленивых, складок на простыне своей бессмысленностью тоже мешали, отвлекая взгляд от разворота событий. Но основная мысль кинодействия, подвиг моряков, высота ноты трагизма и патетики были мною вполне уловлены и приняты с серьёзностью и сочувствием. Не возникло при этом и доли сомнения в подлинности деталей чёрно-белых морских киносражений, несмотря даже на постоянно дёргающийся и временами падающий в провалы звук.

Что же подкупило меня окончательно и наполнило незнакомым до сих пор и распирающим изнутри вдохновением, так это финальная сцена «героической гибели «Варяга», впечатление от которой многократно усиливалось знаменитым хоровым пением, истинной аллегорией мужества:

*Наверх вы, товарищи, все по местам!  
Последний парад наступает.  
Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»,  
Пошады никто не желает.*



Первые слова песни «наверх вы» мне никак не удавалось слышать и уразуметь ни тогда, ни даже много раз позже, когда я, напрягая слух, пытался это вступление для себя уяснить. Но этот, и впрямь неудачный, начальный речевой оборот всё же никак не мог навредить песне, где далее интонация героизма поднималась до звучания подлинного и убедительного:

*Не думали, братцы, мы с вами вчера,  
Что нынче умрём под волнами...*

При этих словах, выпеваемых хором твёрдых и бесстрашных мужских голосов, дыхание пятилетнего кинозрителя и соотечественника морских героев перехватывало. Понятие «соотечественники» для меня тогда, естественно, не существовало. Но было более краткое и вполне понятное определение «наши», в отличие от «не наших» участников двуцветных баталий на экране — плосколицых, узкоглазых и говорящих отрывисто-злыми птичьими голосами.

На фоне общего моего воодушевления логичным выглядело и то, что небольшой и, казалось бы, частный фонетически-смысловой эффект — твёрдый рокот словесной сцепки «наш гордый «Варяг» — не прошёл мимо моего внимания. И до сей поры этот напор «р» в «гордом «Варяге», ухитрившемся за несколько столетий превратиться из варяга-ворога в варяга-брата, русича-храбреца, кажется мне по силе и точности звукового удара достойным разве что самого испанского из всех испанских слов — «тореро». А это варварски-изысканное закливание, черно-золотым камзолом тесно обтянутое, я бы и вовсе, будь моя воля, писал с четырьмя раскатистыми «р» — «торреppo»... Впрочем, наверняка истинный уроженец иберийских краёв, от Севильи и до Гранады, иначе его произносить не станет.

В дополнение темы неразборчивости иных строчек песенных текстов («наверх вы...» — какие-такие наверхвы? Волхвы или Миневры?) припомню ещё одну невнятицу тех времён — уже из родительского патефонного репертуара. Почитай, каждое воскресенье отец включает спозаранку свой музыкальный ящик. Сквозь ранний, тогда ещё совсем не тягостный, недосып слышны мне то бодрые топоты «Рио-Риты» и томное воркованье Клавьи Шульженко, то обаятельно-сиплые придыхания Утёсова и Бер-

неса. Конец припева из «Песенки фронтового шофёра»: «А помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела!» всякий раз добирается до моего сознания в варианте «а помирайно-рай-новойно». Туговато ли трёх-четырёхлетнее молодецкое ухо? Затаённая ли страсть к слоистой рифмовке путает звуковые карты? Иногда и теперь ещё могу повторить — увы, чем дальше, тем с большей натяжкой — «а помирайно-райновойно»...

Постучался я в дверь нашей коммуналки после «Крейсера «Варяга» поздно, уже затемно — путь назад был не таким уж и близким. Возвратился явно перевозбуждённым и долго не укладывался спать. Родители с мрачноватым неодобрением выслушали новость о моём дебютном приобщении к великому искусству кино. Несмотря на мой полный энтузиазма пересказ событий, реакция их была осуждающей. Помимо того, что не понравилось им моё подключение к компании двух неизвестных и, стало быть, подозрительных шалопаев, не одобрили они и способ моего проникновения в шарикоподшипниковый клуб. В обиходе такой метод назывался «прорваться». И был он наверняка намного старше не только меня самого, но и двоих моих подельников-зачинщиков вместе взятых. Речь шла о том, чтобы, не помышляя ни о каких входных билетах, успеть прошмыгнуть в незакрытую ещё в начале сеанса дверь, сделать рывок в тот самый момент, когда в зале потухал свет. Прорывался я, конечно, не сам по себе, — не позволяло малолетство и отсутствие опыта, — но вслед за чуть более тёртыми приятелями-оболтусами. Тем не менее вердикт отца с матерью был «виновен!», с чем я и ворочался битый час в постели, не успев ещё освободиться от наплыва предшествующих эмоций — от броуновского роения кадров с недавней «геройской гибелью «Варяга»...

Утром следующего, воскресного, дня, молча одевшись на выход и подойдя к двери на лестничную клетку, я объявил, что снова отправляюсь туда же, в подшипниковый клуб, на новую встречу с «Варягом». «Не пойдёшь!» — резко произнёс отец. Ещё пара перепасовок теми же фразами не привела к изменению положения. И тут произошли события, которые вполне могут быть названы этапными, события, определившие мои отношения с отцом на десяток-полтора лет вперёд. Ещё точнее — определившие

эти отношения в немалой мере раз и навсегда. «А я всё равно пойду!» — произнёс с вызовом пятилетний наследник и, отворив ободранную дверь, шагнул на никогда и никем не мытую лестничную площадку. В этот, хорошо запомнившийся и мне, и отцу, момент выяснилось, что, во-первых, подрастающий индивидуум обладает собственным, пусть и с явно фамильными признаками, норовом. Хуже было то, что, во-вторых, норов сей на пятилетней возрастной черте дал всплеск прямого и вызывающего противодействия отцовской воле. И выяснялось в итоге, что опасно нарождавшееся своенравие необходимо срочно, пока не поздно, укорачивать, то есть браться за малого по-настоящему.

Бунтовщик был схвачен левой рукой родителя за одежду и втащен назад, в полутёмную, как всегда, общенародную прихожую. Раствор этого полумрака со стоящей на заднем плане молчаливой матерью не испарился ещё и до сегодня. Несколько шлепков волейбольной пятерни-правицы по филейной части малолетнего бунтаря сами по себе, учитывая плотность осенней одежды, не могли быть сколько-нибудь болезненными. Но внезапность взрыва насилия, искажённое гневом лицо отца, никогда ещё в таком виде мне не явленное, — всё это слишком впечатляло. Впечатывалось в сознание крепче, чем вчерашние и уже начавшие бледнеть экранные страсти по «Варягу».

Так начинал я пяти лет от роду по-настоящему, без дураков, чтить отца своего. Продолжаю подозревать до сих пор, что не будь того давнего и неожиданного происшествия, не будь последующего бессрочного решения «взяться за меня», сделав ставку лишь на силовое давление, мои чувства почтения и сыновней любви вполне могли бы сложиться естественней и полней, живей и радостней. Но могу лишь предполагать, что это стало бы возможным. И не осмелюсь утверждать, что подобные упования на лучшее непременно бы реализовались в более мягком семейном климате...

Философски меня вполне убеждает библейское определение любящего отца как «не жалеющего розги для сына своего». Как человек с течением лет всё более склонный к историческим отсылкам я мог бы заметить, что склонность отца к семейной деспотии, к железной руке и ежовой рукавице полностью соответствовала контексту пространства-времени, в котором мы с ним оба обрета-

лись. То был и Египет фараонов, и Византия императоров, и Советский Союз генсека и сексота, дурака и бездорожья, послевоенной разрухи и вьёвшегося в плоть и кровь жестокого средневековья.

Кем чувствовал себя Константин Иванович Шелковий, не щадя времени и нервов, срывая сердце и голос тридцать восемь лет кряду на всех своих ответственных постах — вплоть до директорства на том же станкозаводе в последнее дюжину лет? Кем ощущал он себя, хотя бы и глубоко подсознательно, и спонтанно-ненамечено, — громыхая изо дня в день тяжким кулаком, требуя жесточайшим тоном плановых трудовых свершений от десятков и сотен подчинённых, сверкая юпитеровыми очами — грозно, испепеляюще? Может быть, Вячеславом Молотовым или Серго Орджоникидзе? Мне остаётся лишь предполагать, кем он мог себя представлять, становясь ежедневно с восьми утра железно-советским руководителем там, где меня с ним не было. Но то, что, переступая порог своего дома, он являлся для чад и домочадцев не кем иным, как Иосифом Сталиным, всевластным и всеильным, не признающим ни малейшего противодействия и противомыслия царём и тираном, отцом и повелителем, было мне доподлинно известно. И других толкований не допускалось здесь, в этой ситуации, в течение долгих лет.

Отец был хорошим, энергичным и надёжным, работником, но обладал вдобавок явным и незаурядным актёрским дарованием. Свою роль сильного и ответственного руководителя, жёсткого организатора, отвечающего за слово и дело, всегда «дающего план» и достигающего нужного результата, он играл предельно истово и серьёзно. Настолько серьёзно, что чаще всего отождествлял эту игру с жизнью как таковой.

Так и в большей части эпизодов нашего общения он очень неохотно и на лишь короткое время выходил за рамки своей основной величественной роли. И всё-таки я очень хорошо знал его другим — не грозным директором, не человеком с каменным повелевающим лицом. Знал эти его перемены и при всяком очередном просвете-узнавании встречал отцовы метаморфозы с неким внутренним весёлым задором. Там, за обязательным реквизитом крупного хозяйственного руководителя, за неудобными металлическими латами, я с радостью, хотя и не рискуя расслабиться, мог видеть его иным — добрым и порой сентиментальным,

любящим без обязательных предварительных условий строгости, сильным и великодушным. Именно таким я и любил его прежде — всем непростым отроческим и подростковым существом. Таким он вспоминается мне чаще всего и теперь, спустя годы после его ухода из жизни. Это и есть он настоящий, улыбающийся, словно бы спрыгнувший в белых парусиновых туфлях на зелёную мураву со своей общественно-полезной угловатой сцены.

Вот он окликает «Валюня-рыбочка» или «ласточка» в минуту благодушного настроения мать, которую при настроении иного рода зовёт жёстко и строго — Валентина. Вот он заряжает ящик патефона нежелательной пластинкой Вертинского, а то и вовсе идейно чуждой — Петра Лещенко. А вот он, метатель, запускает в потеплевшую высь по диагонали тускло-серебристый дюралевый диск после восхитительно ловкого, быстрого и резкого, кругового поворота-разгона.

Диск летит и впиается при падении в короткую и жёсткую траву пустыря за нашими домами, куда отец благосклонно взял меня с собой на тренировку. Тренирует он правую ударную, ставящую волейбольные колы руку, поскольку на следующую субботу и воскресенье в «городе», на стадионе «Динамо», намечен розыгрыш волейбольного кубка и его, по старой памяти, пригласили в команду. Этому приглашению он, судя по доброму настроению, рад. При каждом новом метании я срываюсь с места и резво мчусь к месту падения серебристого диска, дюралевой чечевицы, летающей тарелки. Отец замеряет шагами длину броска. Я же, опережая его, успеваю разглядеть на месте приземления и буроватые стебли прошлогодней жёстко-короткой травы, и вновь пробившуюся майскую поросль, подрывные при падении краем нашего метательного снаряда. Влажный чернозём остаётся на поверхности тускло светящегося металла.

## МЯГКИЕ СКЛАДКИ МЕСТНОСТИ

Пустырь этот мне, трёх-четырёхлетнему, уже знаком и по самостоятельным, в будние дни, посещениям. Кое-где в жёсткой щетине травы можно обнаружить круглые отверстия в почве

и уходящие вертикально вглубь тарантуловы норы. Пацаны постарше опускают в нору нитку с шариком мягкой смолы на конце и вытаскивают в случае удачной ловли на поверхность мохнатого чёрного паука, вцепившегося лапами в смолистую наживку.

Осенью за пустырём бугрятся глыбами чернозёма убранные и уже перепаханные на зиму подсолнуховые поля. Кое-где, особенно на краю поля, сохранились сухие, вертикальные или раненно-наклонившиеся стебли подсолнуха. Их вытянуто-полётная форма влечёт уже сама по себе. Но особенно хороша их ткань, их фактура, которую, взяв стебель в руки, можно оценить наощупь. Или же, потрясая ухваченным за середину, за центр тяжести, копьём, поразиться его лёгкости и воздушности, его ненапряжно-даровитой, явно врождённой прочности. Нечто более чем знакомое, скорее близкородственное, перетекает в момент соприкосновения в мальчишескую ладонь от шероховатого покрытия сухого осеннего стебля. О эти лаконично-изысканные узоры, эти клетчатые сетки поверхности копья-ствола! О мельчайшие искры, вкрапленные во всё ещё живую древесную материю, в шершаво-пепельную растительную шагрень!

Иногда можно услышать, как гудят под осенним ветром эти пережившие удары непогод, полуусохшие подсолнуховые стебли. И в этом пении, в этой музыке-вибрации вертикалей волокнистой ткани, уже обретшей предсмертную лёгкость, и было, и остаётся что-то неискоренимо влекущее и родное.

*Когда бы голос мне, чтоб тоном выше  
спеть арию невольного паденья  
когорты, лишь себя и победившей,  
скользящей на ветру дырявой тенью;*

*чтоб спеть псалом осеннего суглинка,  
обломанных подсолнуховых палок...  
Над письменным столом висит картинка:  
пейзаж родимый — и любим, и жалок...*

Из семечек поздне-сентябрьских одеревеневших цветков подсолнуха дают где-то неподалёку постное масло. Макуху, спрессо-

ванный в большие пахучие круги жмых из-под масляного пресса, свозят в подвал 42-го дома. Это дом-близнец нашего 44-го, отделённый от нас только земляным квадратом и чахлыми порослями двора, — постройка того же грязно-бурого колера и той же приземлённой четырёхэтажности. К подвальной двери на торце здания ведёт крутая лестница из раздолбанных цементных ступеней. На двери, обитой железом и украшенной пудовым навесным замком, прикреплена табличка без малейшего намёка на изыск: «Продуктовый склад». Заглянув однажды, через пятьдесят лет, в узкую глубь цементной ямы-входа, обнаруживаю на двери тот же прямоугольник жести с прежней, лишь слегка полинявшей, надписью. Поневоле задумаешься, отчего иные стопроцентно удобные вещи бывают наделены столь упорной жизнестойкостью.

Возле подвала часто валяются, раздуваясь до устрашающих размеров, трупы убиенных амбарных крыс. Подвальные мужики выбрасывают их наружу то по одной, то по две сразу. В мёртвой и жёсткой серо-рыжей щетине, в полуметровых тошнотворно-голых хвостах остромордых тварей есть нечто от оборотной, нечестивой стороны предстоящего мира. Мира, расширяющегося как бы одновременно и снаружи, и где-то совсем рядом, смутно-большого, существенно большего, чем здешнее тесное поселковое пространство. Крысиная падаль выглядит резко отталкивающе. И всё же болезненное любопытство, холодя стенку живота, подталкивает — подойти поближе ко вздутой щетинистой тушке и греховно взглянуться в её вурдалацкие подробности.

К подвалу ежедневно подъезжают подводы с кругами макух и здоровенными молочными бидонами из дюрала, наполненными постным маслом. Однажды серый дядька, слезший с подводы, уступает моим нацеленным на макуху взглядам и угощает изрядным ломтем субпродукта. Жевать макуху хорошо, вкусно, но проглотить жвачку я не решаюсь — слишком много в ней царапающей горло шелухи от семечек. На местном наречии шелуха называется «лушпайки». Приходится незаметно для дарителя всё же выбросить изо рта быстро утратившую свой маслянистый сок жвачку.

Ну что ж, на то она и макуха, отжимки, жмых. Недаром её прозвище мечено и простецким, и хлётко-залихватским окон-

чанием — придыханием-уханьем. Не первый уже век, крикая на каждой дорожной колдобине, «едет на ярмарку ухарь-купец...» Не зря в родимой речи — пруд пруди этих словечек с разухабистым акцентом, отдающих то интонацией безнадеги, то бодрящим авосем и небосем... И не явен ли в этих лихих концовках, помимо грубой почвенной силы, почти неискажённый отголосок-обрывок «духа», «воздуха» — чуть охрипший, но не утративший дыхательного навыка?

Ну, вот же они, сизые голуби, наиглавнейшие слова из долгой песни о главном: житуха, повитуха, братуха, краюха. Сивуха-бормотуха... И вот они, имена деревенских мычащих кормилиц: Рыжуха, Пеструха, Горюха. Или цветастые приметы поганых хворей: краснуха, желтуха. Или же незатейливо-сорных грибов-свойские кликухи-погремухи: слева синюха, справа свинуха. И множество других золотых и серебряных словесных россыпей: старуха-проруха, разруха-голодуха, непруха-невезуха... Чернуха да мокруха. А что за песню и широченней, и крылатей всех прочих выдыхает с почти сакральной силою народно-шалапинский баритональный бас? «Эй, дубинушка, ухнем. Эй, зелёная, сама пойдёт. Подёрнем, да дёрнем, да ухнем!»

Известно, что девятимесячное развитие человеческого эмбриона повторяет в уплотнённо-временном варианте едва ли не все — и хордовые, и жаберные — длившиеся некогда миллионы лет стадии формирования биологического вида *Homo sapiens*. Так и в беспризорных улично-дворовых телодвижениях малолетней, совсем ещё дошкольной шпаны на восточной заводской окраине легко узнаются гримасы лица взрослого — общечеловеческого. Просматриваются черты эволюции социальной физиономии, черты, словно бы извлечённые из учебника истории. И, что ни день, мелькает там, переносимый мусорным ветром, малоразмерный, но ядовито-яркий обрывок лакмусовой бумажки. Выплёскиваются наружу микродозами иприта ежеминутная агрессивность и ежечасные — без лишних раздумий — воинственные стычки в споре за локальные, лилипутские преобладания.

Там едва ли считаются чем-то необычным заклания живых существ — ритуальные, протекающие будто бы в замедленной съёмке действия. Спектакли жертвоприношений, меченные



и стойким атавизмом жестокости актёров-активистов, и неким почти торжественным любопытством соучастников-созерцателей. Вижу себя, ещё допятилетнего, всё ещё вброшенного в свой первый окраинный — в «краснокирпичный» период; Спешу, стараясь не отстать от хвостовой части двух гомонящих пацанячьих процессий.

Во главе шествия первого некто постарше, лет, может быть, девяти, дерзкий и торжествующий, выписывает круги по пыльной почве пустого в тот день базара, ловко лавируя на бегу между каменными столами-прилавками. Широкий и неровный след вычерчивает в слое пыли, перемешанной с половой, обмякшее тело громоздкой чёрной птицы, которую охальник тащит за собой, ухватив за мёртвое крыло. Чумазный шпанёнок, семенящий рядом со мной, возбуждённо делится на ходу горячими новостями: это коршун, вреднейшая и злая птица, и убили его правильно — за посягательства на хозяйских кур. Я тоже резво перебираю ногами, не отставая от маленького циничного стада, но мне определённо жаль казнённого коршуна. И по соседству с жалостью ворочается внутри ощущение того, что убитая и брошенная в прах на осмеяние птица остаётся, вопреки глуму, исполненной значительности и какого-то собственного самодостаточного и загадочного совершенства.

«Милость ли к падшим», «униженный ли возвышен будет»? Что-то интуитивное, почти врождённо-априорное, некие обрывки озарений несомненно настигают меня на бегу в той фантазматической, одной из восьмидесяти пяти по брейгелевому счёту, отроческих процессий. Настигают некие ощущения, ещё очень далёкие от лаконизма и ёмкости библейского и пушкинского заветов. Далёкие от них по форме, но очень близкие к ним по сути. Неподдельные, ибо первородные.

Лапы коршуна, полусогнутые и окаменевшие, почти прижаты к чёрному брюху. Устрашающие скрюченные когти напоминают мутной желтизной роговой ткани нечто, уже попадавшееся мне на глаза: задубевшие, неуклюжие вне своего дела, пальцы и корявые ногти работаг станкозавода и тракторного. Но просторное крыло, развернувшись между безволием распластанного тела и ухватисто-целпкой пятернёй босяка-предводителя, свер-

кает почти непристойно роскошью рассыпного перьевого веера. И на солнечном просвете этот хитиновый многопёрый разворот уже не чёрен, но шоколадно-прозрачен, но искрит, попадая под осенний луч, то сепией, то умброй, то ещё Бог весть какими оттенками коричневого.

В этой первой сцене младенческого жертволюбия ещё угадывается некий намёк на противозэнтропию, некий отсвет мрачного величия Танатоса, некая изломанно-суровая, но, может быть, и не лишённая самоценности гармония. Но, словно бы в противовес неуверенному просвету первого акта, второй эпизод заклания из тех же времён — сплошь тёмн и окрашен жгучим, никак не идущим на убыль, стыдом.

Пятеро малолеток, опять же на пару-тройку лет постарше меня, несутся хищной стаей, загоня бездомного серого котёнка в развалины разбитого недавней войной дома. Забрасывают его в зияющую мне до сих пор провальной глубиной кирпичную яму, посреди огрызков закопчённых стен, знакомого грязно-бурого колера. Гонят волчата бедного зверёныша по посёлку уже долго, и только что один из пацанов, распластавшись в пыли на пузе, вытащил котёнка из-под круга детской рассроченной карусели и зашвырнул на дно воронки, на уродливый хаотичный навал остроугольных кирпичей-обломков. Подхватывая из-под ног эти же кирпичные «балыки» — бытовало такое окраинное наименование боевых камней-булыжников, — они соревнуются, кто половче и поточнее нанесёт удар по теперь уже обречённому зверьку. Бежать котёнку совершенно некуда, и он, содрогаясь, забивается в свой смертный, самый дальний от казнителей, угол ямы.

«Кровь, кровь! Попал!» — в упоении кричит один из удачливых участников детской игры. Игры, надо думать, восемьдесят шестой по большому счёту, не вошедшей в восьмидесятипяти-эпизодный перечень полотна Питера Брейгеля. Впрочем, у многих других живописцев, взять хотя бы Брейгелевого соседа, и, похоже, единомышленника, Иеронимуса Босха, нетрудно найти в их невыдуманных «Страшных судах» множество сюжетов чрезвычайно близких по настроению к той самой поселковой ребячьей забаве на свежем воздухе. Через несколько минут только что живое и резвое существо становится неподвижно расплас-

танным, забросанным камнями комком грязной шерсти, отталивающей падали. Шайка стоит у края воронки и гудит удовлетворённо и торжествующе. Дело сделано. Какое дело, зачем, по чьему наущению?.. Под сенью чьей одобрительной ухмылки, отдающей едким сернокислым перегаром?

Охотничий азарт, вцепившийся было на пару минут в малолетнего попутчика-наблюдателя, улетучивается. Смотреть на дно воронки нестерпимо гадко. Полвека спустя тот импульс отвращения с примесью растерянности, тот короткий укол изнутри, что достался мне на краю закопчённой кирпичной ямы, не утратил своей определённости. Потеряв кое-что в остроте эмоциональной окраски, он навсегда внедрил неоторгнутой, хотя и будоражаще-кремнистой частицей, в самую формулу характера. Неприятие стаи — это рефлекс уже почти безусловный. Реакция неизбывная, ибо — и врождённая, и совсем рано утвердившаяся.

#### ВАНЧИК

Прежде, чем покинуть буро-кирпичный 44-ый дом, — а осенью 52-го года мы с родителями и братом перебрались наконец из коммуналки в отдельную двухкомнатную квартиру в выстроенной неподалёку белокаменной четырёхэтажке, — мне бы очень хотелось снова увидеть там, в нашем первом поселковом жилище, высокую, худую фигуру своего деда Ивана, Ивана Ивановича. Так давно не приходилось нам с ним встречаться близкородственными взглядами! Тем более давно не всплывала на поверхность времён та самая полутёмная комната, где он впервые вошёл отчётливо в моё сознание — сидящий у стола, с выражением некоторой растерянности на лице.

От центра Харькова, от Чернышевской, до восточной окраины было более часа езды в нудно ползущем дребезжащем трамвае. Езду приходилось терпеливо отсчитывать десятки трамвайных остановок — по Дзержинской-Мироносицкой, по Бассейной-Петровского, по Немецкой-Пушкинской, наконец по многодымному десятикилометровому проспекту Сталина, до того

и вскоре после того — Московскому. Дед, тем не менее, приезжал многократно, не гнушаясь всякий раз дважды, в два конца, преодолевать этот долгий и утомительный путь. Баба Анна, к примеру, за все семь лет нашего пролетарского житья не удостоила нас посещением ни разу.

Иван Иванович обладал кротким характером, в отличие от всех моих харьковских родичей — отца, матери и иных, более отдалённых. Это притяжение его кротости я ощутил ещё тогда, при первых наших встречах в поселковой коммунальной полутьме. Но одно дело — моя внутренне одобрительная реакция на его высоченную и будто бы одинокую в своей астенической вытянутости фигуру и другое дело — внешняя зажатость и напряженность диковатого мальчишки при тех его приездах.

«Подойди к дедушке Ване», — несколько неестественным голосом увещевает меня мать. Дед сидит перед круглым столом рядом с балконной дверью. На его уже знакомом мне удлинённом лице — выражение терпеливого ожидания. Но что-то изнутри тормозит меня и я не делаю шага к нему навстречу, невзирая даже на лёгкие материнские подталкивания в нужном направлении. Может быть, моему Ивану Ивановичу немного обидно. Но скорее всего, навидавшись всяких видов за свои почти шесть десятков лет житейских мытарств, он понимает, что ничего особенного предпринимать сейчас не следует. Надо только ждать, и возможно, когда-то будет иначе. И если подобная мысль смягчала тогда его досаду от моего фамильного упрямства, то это было к тому же верное и подтверждённое ходом времён соображение.

С течением лет и десятилетий мне сполна удалось оценить дедовы негромкие, но и несомненные для меня, достоинства. Более того, посчастливилось ощутить ту внутреннюю с ним сроднённость, которая и для него, надеюсь, не осталась незамеченной. При том, что никаких особых объяснений и реверансов между нами так никогда и не происходило.

Из множества обаятельных евангельских тезисов, к которым при каждом новом их прочтении, то в Книге, то в жизни, подталкивают меня мои эмоции или рацию, более всего мне хотелось бы поверить в то, что «кроткие наследуют Царствие небесное». Такое моё желание представляется мне очень естественным.

Точнее говоря, мне бы хотелось, чтобы подобная высшая оценка кротости была бы возможной. Хотя бы изредка. Пускай бы, для начала, это редкое и благородное человеческое качество просто не топтали и не вытирали о него ноги. «Не полная ли утопия и это, минимальное, упование?» — спрашиваю сам себя... Ответ, пожалуй, способно определить направление взгляда. А кто ещё помешает мне смотреть в сторону Царствия кротких?... Кто, кроме всё тех же не кротких, давно мешающих, имя которым тьма и легион?

И вот, вглядываясь в высокую и худую фигуру, словно бы повторяющую силуэт одинокого дерева, в образ родного человека, которого уже тридцать четыре года нет среди живых, продолжаю вопрошать о нём, Иоанне Иоанныче: а в силах ли оторваться от земли моё нынешнее любящее прикосновение к нему — хотя бы слабым отсветом Царствия, несомненно им заслуженного? Если бы, если бы так... Не устаю надеяться вопреки жестокости и мраку реаний.

«Подойди к дедушке Ване», — безуспешно наставляла когда-то мать норовистого отрока. Взрослея, я, конечно же, к нему подошёл. Может быть, и теперь продолжаю подходить всё ближе. Дедушкой Ваней, впрочем, я никогда его не называл. Существовало несколько лет подростково-суровое обращение «дед Иван», переросшее в сокращённое «дед Ван». Логическим завершением процесса, уже во времена моего начального словотворчества, стал вариант и доверительный, и даже явно ласковый: «Ванчик». Иван Иванович реагировал на «Ванчика» вполне благосклонно. С течением времени и отец с матерью вслед за мной стали называть деда заочно — а брат Митя и очно также — не иначе, как Ванчиком. Это немного китайское и нежно-лёгкое имя ему определённо подходило. Согласовывалось простотой и ясностью звучания с его нравом — тихим, терпеливым, заботливым. С его врождённым благородством, заметным едва ли не каждому, кто с ним общался. В проектном институте «Южгипрошахт», где он отслужил весь харьковский период своей трудовой биографии, за ним закрепилось едва ли не официальное звание интеллигента номер один. В «Южгипрошахте» дед дорос до отнюдь не заоблачной, но почтенной служебной высоты, став руководителем смет-

ного отдела. Разок-другой я заглядывал, уже будучи подростком, в его огромную и унылую служивую комнату, тесно уставленную деревянными клонами канцелярских столов.

Первые полвека биографии деда Ивана отнюдь не были столь канцелярски размеренными, как его предпенсионные сметные будни. Ещё до 17-го года он прошёл службу в Российской армии. Сохранилась фотография-открытка 1914-го года, посланная им на Пасху из Одессы в Луганск старшему брату Петру: «Христос воскрес, дорогой Петя! Поскольку я не могу сейчас быть вместе со всей семьёй, пусть хоть карточка эта напомнит о моём существовании...» На снимке коричневатого тона двадцатилетний дед Иван, одетый в ладно подогнанную по фигуре военную форму, выглядит стройным и обаятельным шармёром-денди. Фактура его на портрете по всем признакам — более чем солдатская. На лице, обращённом к объективу, совсем не заметно обычного при съёмке напряжения. Молодой Иванов облик спокоен и осенён знакомою улыбкой — мягкой и немного застенчивой.

В 18-ом году, когда до семьи в Краматорск дошли вести о том, что младший из братьев Шелковых, Константин, захвачен в плен немецкой армией в Таганроге, Иван ездил на Тамань — разыскивать Костю, с которым был особенно дружен. Узнать, к несчастью, удалось лишь худшее: Константин вместе с другими пленными большевиками был увезен в Новороссийск и там расстрелян. Нашлись очевидцы казни. Когда через восемь лет, в 26-ом году, у Ивана родился сын, мой будущий отец, он стал вторым Константином Ивановичем Шелковым в роду — в память о погибшем.

В Гражданской войне Иван Иванович, успевший попасть под мобилизацию и белыми, и красными, счастливо уцелел. Повезло ему не сгинуть и в завихрениях последующих десятилетий. Может быть, благодаря тому, что приходилось нередко отлёживаться в больницах — лечить слабые смолоду лёгкие. В отечественную войну, отправленный вместе со своим стратегическим шахтно-проектным институтом на Дальний Восток — поднимать тамошние углеработки, дед всё же не уберёгся. Открылся туберкулёз, и несколько лет воспалительный процесс в лёгких держал моего Ивана Ивановича под угрожающим прицелом.

В более поздние времена, встречая в кинолентах Андрея Тарковского его излюбленный человеческий типаж, киевского актёра Николая Гринько, я всякий раз поражался не буквальному, но сущностному сходству Гринько с моим дедом Иваном. Та же сухощавая высоченная фигура, должно быть, лишь немного более приближенная в случае Гринько к вертикали облетевшего осеннего осокоря. То же умное удлинённое лицо с просторно-высоким рано оголившимся лбом. То же знакомое и трогательное душу выражение ненапускной мягкости в глазах и в улыбке, та же плавная мелодика интонированной югом речи. Третий, кто чрезвычайно напоминает их обоих внешностью, фактурой, — небезызвестный француз, месье президент Жискара д'Эстен. Но президент, конечно, спешит тотчас же выделиться из неведомой ему троицы и навсегда отделиться от инженера и актёра, включая свой специфический, жёсткий и цепкий, взгляд. Предъявляя миру чуть утомлённую конструктивом пару глаз профессионала-политика, пару зениц с лёгкой изморозью калькулятора-кидалы.

Немного о семейном инженерстве. Иван Иванович первым из нашей фамилии получил образование в двадцатые годы в Харьковском политехническом институте, носившем ещё не так давно, до семнадцатого года, имя Его Императорского Величества Александра Третьего. В начале двадцатых годов Ванчик, возглавив — и по возрасту, и по статусу инициатора идеи — группу земляков из донбасского Краматорска, перебрался в большой и столичный на ту пору Харьков. В числе краматорчан, прибывших тогда вместе с ним в новоиспечённую украинскую столицу, были и его младшая сестра Шура, Александра Ивановна, и Анна Чемерис, двадцатилетняя, яркоглазая и ладно сложенная девушка, с активным и независимым характером, ставшая вскоре его женой. Александра начала учиться в Харьковском университете, Анна — в фармацевтическом институте. Обе они, с разницей в год, были выпускницами женской гимназии соседнего с Краматорском города Славянска.

Дед Иван стал нашим первым политехником. В конце сороковых годов мать и отец (именно в таком порядке, с годичной разницей) защитили в том же Харьковском политехническом свои инженерные дипломы. В 71-ом и 73-ем этот же почтенный ВУЗ

окончили и мы с братом Дмитрием. Я — инженерно-физический факультет, он — автоматики и приборостроения. На переломе миллениумов, в 2000-ом году, шестым выпускником политеха в нашем семействе, стала однородная дочь моя Елена Сергеевна, заработав, однако же, в духе времени, не инженерный, но экономический диплом.

Ещё один небольшой нюанс инженерно-династической композиции заключается в том, что, придя летом 1965-го года на первый вступительный экзамен в краснокаменный и широколиственный кампус политеха, я и до сих пор ежедневно прихожу туда же, сея разумное, доброе и вечное, и пожиная более чем скудный хлеб насущный. Сороковой год «на вахте» — не слишком ли большой срок верности, чтобы пытаться объяснить его привычкой или инерцией, неповоротливостью или слабоволием? Только ли Ивановой кротостью, Константиновым упорством объяснимо это сизифство? Полагаю, что реальны и другие истоки долготерпения, о которых не один только я вправе догадываться... Но и вряд ли именно мне пристало возвещать об этих догадках словами.

С дедом Иваном связаны и воспоминания о первых детских книгах детства. Сразу же надо признаться, что как раз эти толстые тома в твёрдых переплётах меня изначально и привлекали. Весомость физическая обещала весомость ценностную. Угол между моей и родительской (по признаку ночлега) стенами занимал книжный шкаф с застеклёнными горизонтально вытянутыми дверцами-затворками для каждой полки. Он — вторая и последняя, на мой взгляд, после балкона достопримечательность всё той же полутёмной комнаты коммунального разлива, ни тогда, ни сейчас мне не милой, но всё ещё не покинутой мной — и увы, и странно — до этой страницы. Из менее, чем десятка, знаковых эпизодов трёхлетнего периода бурокирпичного бытия, оставшихся в памяти, одна отчётливая сцена — именно библиофильская.

Я один в комнате и, стоя у книжного шкафа, переворачиваю тяжёлую твёрдую обложку огромной тёмно-синей книги. Это один из первых томов «Большой Советской энциклопедии», на которую моему деду Ивану посчастливилось не так давно подпи-



саться. Том лежит, оставленный отцом на стуле, а привёз книгу на просмотр сыну Косте в недавнее воскресенье Иван Иванович. Нынешней возможности добраться до фолианта я дожидаясь со дня дедова приезда.

## КНИГИ, ДЕРЕВЬЯ

И вот не вспоминается ни сном, ни духом ничего из атрибутов повседневности. Не берусь припомнить ни на вкус, ни на запах ни крохи, ни глотка чего-либо съестного или питейного из более чем трёхлетнего скудного прокорма в коммуналке 44-го дома. Не чувствую на ощупь ни клочка одежды, худо-бедно заслонявшей тогдашнее полубродячее прыткое чадо от холода и ветра окраинных пустырей.

Но вклейка из плотной добротной бумаги под твёрдую, словно дощечка, черно-синей обложкой дедова энциклопедического тома, но захватывающая картина конного сражения в верхней части той страницы видятся и днесь совершенно ясно. Фокус её не сбивается ни более чем полувековой ухмылкой-гримасой Хроноса, ни бесцётным множеством более поздних впечатлений.

Бугрятся мощными полусферами крупы боевых лошадей на переднем плане чёрно-белого отпечатка. Кони вздыблены, и круто-изогнутая яблочная и виноградная плоть их могучих бёдер напряжена и сверкает на выпуклости. Трое всадников с искажёнными свирепостью лицами столкнулись вплотную в отчаянной рубке. Над шлемами и тюрбанами голов занесены смертоносные и молниеподобные — пусть и замершие навеки — мечи, клинки широких причудливо-сарацинских очертаний.

«Кто, Уччелло, Рубенс?» — не раз пытался я строить позднее догадки об авторе осевшего на отроческой сетчатке полотна, ибо и звоны боевого булата, и храпы оскаленных конских морд оставались всё ещё на удивление живыми. Приступив, однако, к этим заметкам, я счастливо, паче чаянья, решил давнюю загадку идентификации ровно за две минуты. Нужно было лишь сообразить, что в первых томах БСЭ, выходивших в начале 50-х

годов, с данным воинственным контекстом могла соприкасаться разве что статья «Батальный жанр». Требовалось только вспомнить, что тяжеленный томище, очаровавший меня экспрессией и подлинностью изображения старинной битвы, возвратился из квадратно-гнездовой индустриальной местности, параллельно моим собственным возвращениям, в первичное семейное обиталище, — в дедову квартиру на Чернышевской улице, — и что стоит этот том совсем рядом со мною сегодняшним — по левую руку от письменного стола, на второй снизу полке книжных стеллажей.

Догадка о «батальном жанре» оказалась счастливым стопроцентным попаданием. И вот поднимается на поверхность имя блистательной баталии, остававшейся для меня памятной, но безымянной более полувека. «Битва при Ангьяри», гравюра Эделинка по рисунку Рубенса с картона фрески Леонардо да Винчи» — чёрным по белому обозначено на всё той же плотной вклейке в середине четвёртого тома.

И малознакомое имя Эделинка, теплокровное и благородное звукосочетание, легко и полнозрело вылущивается, освобождается из бумажного энциклопедического кокона. Словно бы вылетает из небытия в долгожданное летневоздушное пространство мотылёк-шметтерлинг, синепёрая певчая птица Метерлинка. «Я сказал: виноград, как старинная битва, живёт, где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке...»

Притягательность книги, и предметная, и символическая, присутствие сакрального заряда где-то там, в потайном свёртке-коне листов и слов, уверенно настигли меня ранним и сильным ощущением. Ощущение это, видоизменяясь, не теряет своей подлинности и до сей поры, остаётся со мной, вопреки многим неблагоприятным обстоятельствам — и места, и времени, вопреки усреднению нравов и низов, и верхов социума.

В тот же пацанячий и полубродячий период биографии, помнится, всё сильнее одолевало желание взять наконец в руки свою собственную книгу, приобретённую по самостоятельному выбору. Желание осуществилось в сентябре 54-го года, когда у новоиспечённого первоклассника появились какие-то копейки, перепавшие ему изредка на школьные завтраки. Выбор в книжном

магазине на улице 2-ой Пятилетки, расположенном буквально в сотне шагов от 104-ой школы, был по тем скудным временам не слишком велик.

И всё же в солнечный сентябрьский день первого школьного года состоялась та самая стыковка с моей первой книгой, — «сам добыл!», — которая остаётся непотускневшей во множестве живых подробностей и спустя тысячи последующих дней. «Тони и волшебные двери» Говарда Фаста — так называлась та немалого формата книжка в плотной картонной обложке серо-синего тона, украшенной цветными изображениями индейского головного убора из орлиных перьев, боевого томагавка и пары ветвисто-крылатых лосиных рогов.

Интонация простого рассказа о белом мальчике Тони, ощутившем романтическую влюблённость в золотиственный лесной мир кровников природы, великоозёрных индейцев, удивительным образом совпала тогда с моим собственным вольнобродячим настроем дебютной школярской осени. Привыкнув ещё до школы к статусу того, кто гуляет сам по себе, я сразу же размахисто и бесстрашно предпочёл послушным отсидкам за партой свой собственный праздник, длившийся едва ли не весь сентябрь и октябрь.

В них было столько же от детской игры, сколько от вековечного бессмертного ритуала — в тех вдохновенных шастаньях непослушного отрока вдоль и поперёк осени поселковых уголков — то вкрадчиво-потайным могиканским шагом, а то вдруг и вприпрыжку от полноты чувства и полноты дыхания. Привкус дерзости и крамолы, связанный с побегами из класса, лишь добавлял тонкой остроты корицы, аниса, гвоздики к ясному и свежему вкусу воздуха той спелоосенней вольницы.

Квадратно-гнездовые кварталы с каждым днём всё щедрей окрашивались в самые неожиданно-яркие оттенки вчера ещё бросовой однообразной листвы. Пространство над плоскостью чернозёма, диковато запылённое полусорными канадскими клёнами, неузнаваемо хорошело под широченным покровом осенней светлыни.

Ноги, быстры и неустанны, с дерзкой лёгкостью проносили невесомое тело семилетнего друга индейцев между древесными

стволами. Пронесли впритирку к коре. Нередко с ласкающим касанием на бегу, рукавом или ладонью, к дружественной и шершавой древесной поверхности. Кварталы-гнёзда каштановых или кленовых посадок пересекались траекторией пролёта-пробега именно по избранной диагонали. По той самой линии, на которую обильнее всего нанизывались слаломные виражи меж благородными туловищами братьев наименьших.

До сих пор, до сих пор в немалой мере бегу там же, меж молчаливых моих возлюбленных деревьев. Ибо накрепко — и сами собой, без умысла и насилия — оказались сшитыми тогда в некое единое целое счастливые часы побегов от подёнщины. Воистину, пригодились этому шитью тончайшие нити индейской паутины.

Накопленных тощим школяром медных и никелевых — под серебро — монет набралось в тот день впритык на целый рубль — как раз такой кругло-значительной оказалась цена книги. И она стала моей — невесомо-лесная и увесистая, — в картонной обложке! — книжка с запахом свежей типографской работы от колленкорového синего корешка. Та первая книжная — но и более того — любовь оказалась взаимной и вполне состоялась. Жива она и доныне, как и пристало подлинному, необманному чувству.

*Надо впервые мне рубль наскрести,  
чтобы купить эту книжку в картоне:  
речь о волшебной двери. Пропусти,  
давняя дверца — мечтателя Тони*

*в нынешний, чуть постаревший мой дом!  
Мне было семь, а ему было восемь.  
Через полвека я помню о нём:  
дух тех страниц, ту индейскую осень,*

*шорох листвы, словно шёпот судьбы,  
над камертоном сентябрьские ноты,  
жёлто-багряные всхолмий горбы,  
воздух над синью озёрной губы,  
замерших ос пустотелые соты...*

Золотоносные осенние потоки щедро преображали незатейливую местность. В такие дни я ощущал влюблённость в поселковые пространства. К тому же не стоит, совсем не стоит преувеличивать затрапезность моей окраинной мачехи-родины. Несомненное неудобство создавала лишь изрядная удалённость от центра города. В остальном же у жилмассива были свои собственные «положительные плюсы» и «отрицательные минусы».

Шашечно-гнездовой в плане Соцгородок строился в 30-ые годы одновременно с тракторным заводом по единому человеколюбивому замыслу-чертежу. Этим он, как довелось мне узнать недавно, даже снискал особое благоволение ЮНЕСКО и удостоился включения в некий почётный или охранный список. Я готов даже гордиться данным фактом. Смущает меня только пара дополнительных обстоятельств.

Во-первых, за прошедшие десятилетия ЮНЕСКО наверняка ни разу не полюбовалось на ободранные фасады местных строений, не заглянуло в цементную чашу-мусоросборник центрального, но напрочь безводного, фонтана. Чаша сия, однако, — надо отдать ей должное, — изваяна в благородно-изысканной форме настоящей тракторной шестерни.

Во-вторых, говоря чуть ранее о виртуальности деления посёлка на тракторную и станкостроительную части, я имел в виду невесомость раздела — всего лишь топографическую. Прочерченной по земле границы, конечно, не существовало. Но раскол на своих, станкозаводских, и на чужаков-хатэзэв-цев, злых врагов, был священным законом для малолетнего шпанистого населения окраины. Вражда пылала синим пламенем и звала едва ли не ежедневно к боевым действиям. То были и локальные — по ведомству личного героизма — стычки, и массовые побоища с градом камней, швыряемых через траншею теплотрассы, которую вырыли надолго и всерьёз как раз там, где могла бы пролечь линия раздела на земли местных ланкастеров и йорков.

В одном из таких групповых сражений я, первоклассник, едва примчавшись после уроков на поле боя, получил камнем в нос — чуть ли не в самое первое мгновение, ещё не успев нашить на земле свой собственный комок глины. До сих пор ощущаю удар — внезапный, увесистый, наглый. Скажу: некий апофе-

оз жёсткой лаконики и реализма. Боль и кровь смешаны с удивлением и досадой: ну, что ж так сразу? Ведь спешил, захекался, запыхался. А не пришлось поучаствовать...

Так вот, все социальные прелести ЮНЕСКО, включая шестерёнчатообразный фонтан, располагались на вражеской территории. Наш станкостроительный закут отстраивался не столь ретиво-показательно. Наша епархия, перемежаясь пустырями, сползала на восток, — опять, опять туда же! Подступала, окраиной окраины, вплотную к гудящим на осеннем ветру полям «обломанных подсолнуховых палок».

#### ФРУНЗЕ-СЕМЬ

Как раз осенью 52-го года отец получил новую двухкомнатную квартиру в свежеиспечённом белокирпичном доме станко-завода. Постройку четырёхэтажки завершили только что, совсем рядом с нашим, ставшим давно тесным для семьи, коммунальным жилищем — в какой-то сотне метров от него. К тому моменту нас в комнатухе обитало уже четверо — в июле через день после моего пятилетия исполнилось два года и младшему брату. Так вот мы с ним кучно скомплектовались во времени: я родился 21 июля в 47-ом, он — ровно через три года и один день.

Новый дом отделялся от старого бурукирпичного, под 44-ым номером, квадратом земляного двора с чахлой растительностью, буруколерным близнецом 42-го строения и следующим, неотличимым от первого, земляным квадратом, столь же небогато украшенным жидкой порослью. За истекшие полвека диспозиция, чередующая скудно-голую почву дворов с четырёхэтажными кирпичными строениями, нисколько не изменилась. Добавились к этой диспозиции лишь поверхностные, но и не лишённые мрачно-глубинного подтекста подробности.

В мутные перестроечные и постперестроечные годы многие тысячи жителей полунищих пролетарских районов, ограбленные вчистую партноменклатурой и криминалом, новоявленным мутантным жульём, уже не могли выиграть во всеобщей вакхана-

лии грабежа для себя и своих семей ничего более, чем кубометр-два подземного пространства. Пока ещё кубометр пустоты в непотустороннем-здесьнем, хотя и вполне химерном, бытии. Пока ещё кубометр землянки под почвою дворов-пустошей, примыкающих к их блочным и кирпичным окраинным жилищам. Почти весь Харьков охватила в начале девяностых годов эпидемия строительства самопальных, самозахватных погребов — хранилищ картофеля засушного. Каждый, кто горбатился над посадками картошки на своём пригородном или загородном, близком или дальнем, земельном наделе, — а таковых в полуторамиллионном городе набиралось сотни тысяч душ, — вгрызался в чернозём и в глину своего городского двора. Спешил выкопать погреб-клуню поближе к собственному подъезду, балкону, окну — на Салтовке, на Новых домах, на ХТЗ, да нередко и в центральной части слободской столицы.

Оба земляных квадрата-двора, отделяющие мою первую грязно-бурую общагу от дома второго, обнадёживающе белого, тесно усеяны теперь венчающими погребов холмиками, сходства которых с могильными холмами не заметить невозможно. Трубы вентиляции, торчащие здесь и там над каждой «клунею», да сваренные из труб Т-образные конструкции для бельевых верёвок, вкопанные тут же, усиливают удручающее сходство этих участков с кладбищенскими. Такие вот места, погребные-погребальные. Такие пейзажи, знакомые и более чем знакомые, — неотдираемы уже от кожи. А в общем — обычный и незаметный усталому среднестатистическому глазу реализм века непокаянного... Того самого столетия, — говорю я себе, — что вместило биографии деда Ивана и деда Петра (Иван-то с Петром всегда смогут объясниться). Вместило биографию отца и твою собственную...

Новый дом выходил лицевой стороной на проспект Фрунзе — более чем стометровый в ширину, протянувшийся перпендикуляром к проспекту товарища Сталина. Адрес произносился звучно и кратко: «Фрунзе-семь».

Сквозь стёкла балконной двери нашей с братом комнаты с высоты третьего этажа открывался вид как раз на диковатостепные просторы фрунзенского проспекта. Собственно, его черты обрисовались материально лишь много позже описывае-

мого времени нашего новоселья. А в тот момент наш дом, Фрунзе, 7, будучи всего лишь вторым по счёту от перекрёстка с улицей Мира, вслед за угловой пятиэтажкой, украшенной возвышением в виде башни-ротонды, оставался пока что и последним реальным строением на этой громко заявленной магистрали. Далее, вслед за нашим седьмым номером, простирались горбатые и неухоженные пустыри, молчаливо и неприветливо, как бы исподлобья, косящиеся в сторону будущих строительных перспектив.

Там, где сегодня срединная часть проспекта Фрунзе занята вполне благоустроенным бульваром с уже изрядно разросшимися полнозрелыми клёнами, крутился-ворочался в начале пятидесятых годов серый и незавидный продуктовый рынок местного значения. Всё это четырёхлетие, с 52-го по 56-ой, связывавшее меня с данными координатами обитания, в аккурат под своим балконом я мог наблюдать тёмно-зелёные наглухо запираемые на ночь базарные киоски, обращённые ко мне тылом, и каменные прилавки, наполовину заслонённые строем будок. Тут же чумазые, мокрые и полураздолбанные бочки и ящики прижимались к ларьковым бокам и задам, яко верные и молчаливые псы неопределённой породы.

Привычным звуковым фоном проникали в комнату сквозь балконные двери мирные рабочие гудения и тарахтения рынка, возмущаемые время от времени пронзительными торгашескими голосами. Обычно из захлёба горячих воплей можно было различить лишь нечто вроде «брешешь!» или «та пишов ты...», что, однако, вполне отражало основную мысль дискуссии. Более ровным и невозмутимым был фон базарных запахов — сельдяные, постномасляные, огуречно-бочковые воздушно-летучие струи смешивались друг с другом или сменяли одна другую в зависимости от перемены ветра, от привоза и откупоривания той или иной свежей бочкотары.

Удивительно, но тот близкососедский, почти домашний по приближённости торг-рынок видится мне до сих пор не иначе, как с высоты полуптичьего, третьеетажного полёта. Почему-то он никак не вспоминается галдящим вплотную, работающим на моих глазах, толкающим на какую-либо покупку. Может, и прошёл бы я меж его рядами. Может, и приценился бы, но какие



наши шиши? Потому ни глазеть, ни прицениваться даже не пытался. Потому и единственное моё вторжение в ряды благоухающей соленьями и квашеньями бочкотары носило совсем некоммерческий характер. То был скорее некий спонтанный и кратковременный мастер-класс мелкого хулиганства, которым издавна славился посёлок ХТЗ и ХСЗ. Прославлен он этим же и до сей поры, наряду с хулиганством средним, крупным, а также особо крупным.

Дело шло уже к позднеосеннему или раннезимнему вечеру (52-го, 53-го ли года?), когда во влажной и холодной взвеси воздуха стал перелетать от одного малолетнего шпанёнка к другому наэлектризованный призыв: «Аида! Там, на базаре, такое!..» В несколько скачков, обгоняя другую мелюзгу, я достиг некоего укромного межжиосковского закута. Базар, уже совершенно безлюдный, быстро переплывал из сумерек в темноту. Загадочное «такое» оказалось тяжелой и скользкой бочкой солёных огурцов с проломленной кем-то дерзким, постарше и покрепче, одной из досок круглой крышки.

Рука, нырнувшая в щель пролома, успела ощутить скользкую теплоту — теплее зимнего воздуха — бочкового рассола прежде, чем нащупать и ухватить добычу здоровенного, но довольно вялого — какой уж попался — огурца. Тут же раздался тонкоголосый и панический возглас «Шухер!», и стая мелкоты бросилась со всех ног прочь с места преступления. Полагаю, что в том кратковременном босяцком эпизоде было всё же некое подобие полезной прививки. Во всяком случае я сразу же уловил тогда, что мутная, как огуречный рассол, романтика криминального действия сильно пострадала от позора общего бегства — улепётывания совсем по-заячьи. К тому же запретный солёный плод, сказать бы, огурец познания, показался мне явно малосъедобным по результатам пробного укуса. После минуты колебаний, сгустившихся в результирующий крик досады, я размахнулся и зашвырнул добычу в темноту над соседним строительным котлованом.

Котлован отделён от нашего новообретённого дома лишь десятью метрами пространства, не более. Нужно только пересечь безымянный булыжный проезд, не имеющий статуса улицы, чтобы заглянуть за край обширной глинистой ямы — метра

два-три в глубину. Ещё пару лет назад это место было наглухо огорожено дощатым забором с натянутой поверх досок проволокой-колючкой.

Деревянная вышка с солдатом-вертухаем на верхушке поднималась над грубо сколоченной оградой — тут же, *vis-a-vis* к будущему строению «Фрунзе-семь». Посёлок полнился слухами о том, что в огороженной зоне держат немецких военнопленных, и, двигаясь как можно медленней вдоль забора, я пытаюсь изо всех сил различить подробности сквозь щели между досками. Увидеть ничего не удаётся, но остаётся в памяти шершавая и занозистая поверхность серых досок, вымоченных холодным дождём. Накрепко отпечатывается в сознании одна из основных, неотъемлемых, фактур своего времени. Да и моего собственного времени — и прежнего, мальчишеского, и продлившегося вслед за оным ещё на десятилетия.

Проволока-колючка никуда не ушла из нашего посёлка и до сей поры. Ныне зона — уже исключительно для своих уркаганов — располагается чуть дальше, в глубь массива, на улице 12-го апреля. На месте же бывшего лагеря немцев-военнопленных ещё в начале пятидесятых был вырыт котлован, который я с полным основанием считал своим родным. В нём прошла добрая половина моих отроческих игр того окраинного семилетия.

Произнеся по поводу кражи квашеных плодов слово «прививка», коснусь и уже почти незаметных шрамов от прививок послевоенного лихолетья. Иглы и медицинские перышки кололи и царапали предплечье и запястье и прививали вместе с оспой или иной дрянной хворью неизбежность диалектики терпенья. Возможно, даже диалектику надежды и упования: «От оспы-чумы, приятель, считай, мы почти утекли...»

А между уколами сама по себе входила под кожу неизбежность фатализма. Тезис «Будь, что будет!» являлся не менее важным средством выживания, чем единственный на ту пору витамин — дефицитный рыбий жир в стеклянных банках. Мне, ни дня не кормленному грудью, густо-маслянистое зелье, издающее истощный рыбий запах, шло за милую душу. Добиться, однако, второй подряд ложки никогда не удавалось. Отец доставал ценное снадобье с большим трудом и нерегулярно. Для брата

же Дмитрия самым страшным воспоминанием детства осталась именно эта подкормка. Его от рыбьего жира неизменно тошнило. Можно и понять брата Митю — ему пришлось более года не выпускать из рта молочную титю мамы Валентины. С трудом отвадила его от материнской груди лишь Марфа Романовна в Луганске, бросив в бой испытанное народное средство — горчицу. Дмитрий с неохотой отпал от источника материнского млека, но переизбыток витаминов в его румянном организме, видимо, стал всё же причиной стойкого отвращения к тресковому зелью.

Добавку фатализма, между тем, неизменно приходилось привлекать на помощь рыбьему витамину. Так в течение двух-трёх лет в начале пятидесятых меня едва ли не ежедневно будоражили тревожные сетования матери по поводу эпидемии полиомиелита. Вакцины от него, как выяснялось, на тот момент не существовало. То был период долгосрочного и ажиотажного обсуждения полиомиелитной напасти и по радио, и в печати.

Подобных приступов информационного психоза впоследствии мне пришлось пережить, — вместе со всем честным народом, — видит Бог, не один десяток. То месяц за месяцем половина радиоэфира заполнялась трагической судьбой ангелицы-демократки Анджелы Дэвис. То год за годом, без дня передышки, крылатые ракеты грозили вот-вот ворваться в жилище человека доброй воли с полос очумевших от собственного камлания советских «Известий», «Правд» и прочих шаманских изданий.

## СТРАСТИ ПО ВОЖДЮ

В десятке шагов от ограбленной базарной кадушки возвышался деревянный столб радиотранслятора, еле заметно светяся в пасмурном небе преступного вечера алюминием раструба-репродуктора. Собственно, и будка киоска, и бочонок, и столб с радиоточкой отделены от смотровой вышки моего балкона какими-то тридцатью, не больше, метрами нисходящей пространственной диагонали. Всё это очень родное и своё, всё — под рукой. Алюминиевый колокол репродуктора оживает, однако, по

преимуществу не вечерним, а иным — сверкающе-серебряным в свете яркого мартовского солнца. Датировка весеннего видения уже вполне точна — начало марта 53-го года. Ещё точнее — несколько дней, начиная с шестого марта, когда было объявлено стране о смерти «величайшего из величайших».

Я стою возле угла своего белокирпичного дома, у его нефасадной стороны, там, где находятся входные двери подъездов. В поле зрения, на фоне сияющего, совершенно праздничного неба, вмещаются и освещённый солнцем белокаменный торец «Фрунзе-семь», справа, и радиостолб с драгоценным, испускающим блики, колокольцем из алюминия, по левую руку.

Называли, кстати, этот белый металл в тамошних поселковых краях не иначе как «люминь». Называли стабильно и упорно, словно бы бросая вызов правильному произношению от имени некой босячко-местнической самодостаточности. Так же, с той же с позиции возвышения «понятий» над правилом-законом, произносили в здешних местах «кардона» и «колёс», вместо «картон» и «колесо». Может быть, более щадящий и спокойный вариант подобной словесной деформации долетал до моего слуха уже позже, когда по всем украинским городам и весям произносилось «абрикоса, апельсина, мандарина». А попав уже в очень зрелом возрасте впервые в славную Одессу, я и вовсе с удивлением услышал продолжение женолюбивого суржика — «помидора»!

А с крыши нашего дома «Фрунзе-семь», со стороны солнечно-белого торца все еще низвергается мартовская капель 53-го года — совсем уже не каплями, но струями и потоками — обильно, неустанно, восторженно. Этот водопад, водограй, явление радостной и первозданной сущности, занимает собою и правую, и центральную часть немеркнувшего топографического кадра. Из левой же части изображения, от куда меньшего и по фактуре, и по образному заряду металлического громкоговорителя, доносятся рыдающие звуки радиоголоса. С расстояния в сотню метров отдельные слова государственного плача почти неразличимы. Однако мне уже известно, о ком и о чём рыдает радиоколокол. Ещё вчера Сашка Коленко, сосед и приятель, поклялся мне, что своими глазами видел панически голосащих и залитых слезами тёток, что сгрудились как раз там, под базарным звуковым столбом...

*И повторяются наизусть  
Твои дощатые времянки  
И ледяной цементный бюст,  
Покрытый густо серебрянкой,*

*И марта стылая волна,  
Когда старухи в грубых шалях  
«Не дай же Бог, опять война!» –  
Под чёрным рупором рыдали...*

В этих, уже четвертьвековой давности, стихах я, пытаюсь вписать эпитет в огромный спектакль лукаво-всенародного горя того марта, перекрашиваю рупор рыночного радио в «чёрный». Реальный же колоколец, 53-го года, алюминиевый, серебряный, сверкает на мартовском солнце изо всех сил. Пускает ослепительных зайцев, словно бы вещая свою правду открытым солнечным текстом. Пусть пока и без единого слова.

Следующая, финальная, строфа приведенного вирша фактографию тех времён и мест сохраняет в оригинале, без искажений:

*А над разрухой — майский взрыв:  
Там солнце строго восходило,  
Над жжёным щебнем осветив  
Медово-юные стропила.*

Свежетёсанные стропила поднялись над двухэтажным зданием, восстановленным наконец в мае 54-го года на фундаменте того самого, разбитого войной дома, что уже упомянут мной ранее в этих записках. Ещё два-три года назад как раз он и был теми развалинами, в чью подвальную яму, усыпанную закопчённым кирпичным ломом, ставшую местом казни беззащитного зверёныша, мне и до сих пор не заглянуть без стыда и жалости. Строение, выросшее заново из скверны, стояло тогда, увенчанное свеже-сосновыми стропилами, — да и теперь стоит, как ни в чём не бывало, серое и безликое, — прямо напротив детсада, куда мне довелось всё же попасть в последний мой дошкольный год.

Заведение сие воспитательное мало чем и мало кем смогло запомниться. Легко оживают разве что два силуэта. Не первой молодости воспитательница Аза Ивановна, особа с несколько рыбьим лицом и в круглой фетровой шляпке, о которой было известно, что она не останавливается перед выкручиванием пальцев непокорным воспитанникам. И довольно крупная для своих шести лет блондинка-сверстница, Наташка Чичмарь, к коей моя младомужская природа не осталась, надо признаться, равнодушной. К счастью, на период с осени до весны у меня хватило тактической грамотности, чтобы не столкнуться вплотную с силовыми методами Азы Ивановны. Что же касается Наташки, то с нею мы в сентябре 54-го года снова оказались рядом, в одном и том же I-ом «А» классе 104-ой школы и могли возобновить обмен знаками внимания, разумеется, совершенно невинными.

К этим двум, совсем разным, женским портретам примыкает, по признаку незамутнённости изображения, и один-единственный майский вид из окна чадолюбивого дошкольного заведения — зрелище воспарения «медово-юных стропил». Светящиеся сосновые доски и брусья веют даже на расстоянии свежестью древесины. Они уже ловко и быстро сколочены плотниками в узорную пирамидальную конструкцию над кирпичной кладкой стен, что поднимались всю зиму и немалый кусок весны, долго и нудно.

Продвинувшись в направлении от Сталинского проспекта метров на десять по традиционно-полураздолбанной асфальтовой дорожке, протянутой между детсадом и домом со стропилами, — метров на десять как раз от этих двух ориентиров, — упираешься в ещё одно примечательное сооружение. Тот самый «ледяной цементный бюст, покрытый густо серебрянкой» — погрудное изваяние вождя и учителя товарища Сталина, установленное на приземистом четырёхгранном пьедестале метровой высоты.

То есть, преодолев указанные метры до подножья мощного, бетонного же, постамента и заглянув снизу вверх в страшноватые серебряные глаза, тут же и сообразишь главное. Смекнёшь, что, если некоторое удаление от проспекта стального человека ещё иногда и допустимо, то всё равно, и при подобном движении, мыслимо, по большому счёту, только лишь приближение

к имени-светочу, к имени-святыне. Ну вот ты двигался как будто в сторону от проспекта товарища Сталина. И куда же ты пришёл? Снова же к нему, неколебимо-изваянному вождю и отцу, мудрецу и повелителю. Вот и загляни теперь, если хватит духу, в твёрдо-стальные, посеребрённые, снайперские глаза!

Конечно же, интонацию неприятия «исполати деспоту», которой помечен предыдущий абзац, не следует относить непосредственно к моим ранним восточноукраинным временам. Но и не скажу, что эти убеждения явились приобретением возраста зрелости. Как раз напротив: и возникли, и укрепились они «смолоду», совсем рано. Собственно, внешние толчки, ведущие к подобным воззрениям, стали появляться уже с февраля 56-го года, с того часа, когда на двадцатом партсъезде прозвучали, хотя пока ещё явно сквозь зубы, первые хрущёвские признания по поводу культа Сталина. Более того, уже тогда, сразу после февральских разоблачений ранее неприкасаемого идола, мне довелось наблюдать довольно решительную реакцию поселкового демоса на новости, к тому же именно там — на месте возвышения «ледяного цементного бюста».

Всё же не стану торопиться, перескакивая на целые три года вперёд. Вгляжусь ещё раз в те несколько отчётливых цветных слайдов, что цепко и прицельно запечатлела сетчатка остроглазого, пяти с половиной лет, свидетеля в марте 53-го года.

Слайд с водопадом-капелью — звонок и сверкает чисто вымытой небесной синью. Следующая сцена в том же ряду как бы отмечена приглушённостью звука и смазанностью освещения — сумеречного, уже почти вечернего. Вокруг клумбы-всхолмия со сталинским бюстом посередине — разворачиваются ритуальные действия. На дворе, видимо, сгущаются сумерки шестого или седьмого марта, поскольку никакой задержки со сверхважным траурным чествованием быть просто не может. К пьедесталу бюста прислонены со всех сторон варварски-роскошные хвойные овалы венков с траурными лентами. Бетонный куб пьедестала душно, в несколько слоев, укутан черно-зелёным мехом сосновых веток.

В каменно-напряжённых лицах заводских мужиков, деловито заканчивающих оформлять траурную икебану, больше служ-

бы, чем дружбы. Много долга и железной дисциплины, но ни намёка на какие-либо эмоции. Разве что те или иные оттенки тревоги и беспокойства — не промахнуться бы, не скособочить бы ненароком какой-то из линий государственной композиции. Нет, эти работяги со станкозавода нисколько не похожи на стенающих у радиостолба базарных плакальщиц. И только в том, как льнёт и припадает живая хвоя к ледяному кубу бетона, в слёзно-смолистом истечении соснового духа — некие неподдельные флюиды скорби. Но и они должны быть отнесены всего только к человеческому и нисколько — к идолоименованому. Понимаю теперь, догадавшись, скорее всего, уже тогда, по свежему толчку.

Приглушённо и отрывисто переговариваясь в густеющем влажном сумраке, мужчины устанавливают в завершение своих трудов четыре деревянные, метровой высоты, пирамиды, обтянутые полосами кумачёвой и чёрной ткани. Эти самоизобретённые и самодельные, наверняка спешно сколоченные прямо на заводе, элементы погребального дизайна выстраивают по два перед клумбой и за нею, соблюдая при этом самую строгую и тщательную симметрию. И, наконец, в финальном жесте сумеречного действия двое заводчан посolidнее — партком, профком? — становятся рядом с передними пирамидками в почётный караул. Оба в тёмных тяжеловесных пальто, с траурными повязками на рукавах — широкая полоса кумача с двумя чёрными полосками окантовки. Так и стоят они вшестером в полумраке строго параллельно друг другу — четыре червоно-чёрные пирамидки и пара насуспенных караульных, стоят вертикально, неподвижно и беззвучно.

Всё происходящее видится мне совершенно необычным и захватывающим. В пышности и многоцветий действия ощутим явный вызов тоске и безнадеге поселковой зимовки. Вызов тому самому тотально-серому колеру слякотной зимы, что, заполонив Соцгородок ещё в октябре-ноябре, придавил и приплюснул его унынием на долгие полгода. Мёртвые розы из вощёной бумаги тесно-изобильно примотаны тонкой медью проволоки к веткам венков. Анилиновый окрас мертвецкого розария — приторно щедр, ярк до едкости. Даже густота сумерек гасит лишь отчасти его воспалённое свечение. И всё же сквозь полутьму вечера вар-



варские колера касаются глаза уже облагороженно-приглушённо. Ну и что бы ещё могло так памятно утолить мой хронический цветовой — и шире, событийный — голод, когда бы не тот ядовитый кич, не те восковые розы для важнейшего из мертвецов? В те мои времена, в тех моих координатах — в 50-е годы, в 50-ых широтах?

Там, возле царского бюста, я совершенно уверен, что мне сильно повезло со сталинскими событиями. В воодушевлении срываюсь с места и бегу уже в темноте домой. Не терпится поделиться с кем-то — а, кроме матери, сейчас не с кем — сенсационными новостями:

— Мама, как хорошо, когда Сталин умер!

— Красиво как! — добавляю, понижая тон, уже заметив нервное движение в лице матери.

— Не смей так говорить! Никогда не смей!

Я несколько ошарашен её реакцией и пытаюсь что-то сообщить.

— Никогда не смей! Особенно на улице. Вот придёт папа, я ему расскажу! — изрекает она уже привычную для меня угрозу.

При этом мать слазит со стула, стоящего посередине комнаты. Она только что заменила перегоревшую лампочку и, услышав моё крамольное заявление, с возмущённым и встревоженным лицом, опускается на пол. Её расширенные от неожиданности и удивления глаза и уже приоткрытый для гневной отповеди рот так и видятся мне, словно бы на стоп-кадре, всё ещё парящими в воздухе в то самое мгновение.

Из угла комнаты проливается полосой узкий свет настольной лампы. Мать щёлкает выключателем, проверяя, загорится ли новая лампочка:

— Никогда так не говори! Папе расскажу...

Отец, однако, придя с работы, не проводит со мной на сталинскую тему никаких грозных бесед. Дело, видимо, достаточно тонкое и небезопасное. Не следует привлекать внимание неразумного отрока к его невольным заблуждениям.

Думаю теперь, что маленький эпизод следующего дня был логическим продолжением моего сталинского ляпа и последовавшего за ним совещания отца с матерью. С неожиданной и не-

привычной для меня материнской заботой и мягкостью мне на грудь был приколот великолепный траурный розанчик. Внешний, больший, его кружок был сделан из блестящего чёрного атласа и рельефно оживлён радиальными крупными складками. Эдакое то ли плиссе, то ли гофре в память о великом вожде. Для внутреннего, красного, кружка — атласа, увы, в доме не нашлось, и кумачовая ткань смотрелась попроще, но в целом изделие выглядело очень эффектно.

Приколов булавкой этот красно-чёрный знак траура и благонадёжности к моей пятилетней груди, мать отправила меня через двор в 42-ой дом к какой-то почти незнакомой тётке, якобы по делу. Под стандартным предлогом — с просьбой позаимствовать то ли спичек, то ли соли, но, — сдаётся мне теперь, несколько повзрослевшему, — вряд ли случайно украсив меня политически правильным розаном как раз перед выходом. Не удивился бы, окажись эта гражданка-соседка активисткой, общественницей или кем-то ещё похлеще в том же духе.

— Ой, какой красивый у тебя цветочек! — воскликнула она, открывая мне дверь. Имя её для меня так и осталось неизвестным, поскольку в память перед выходом я загрузил лишь данные о подъезде, этаже и номере её квартиры. А так же текст материнской просьбы о заимствовании соли-спичек.

— Это мне мама пошила, — отвечал я с неожиданной в тот момент для меня самой гордостью и важностью. О дальнейшей судьбе траурного нагрудного украшения не вспоминается более ничего. Скорее всего, то показательное выступление скорбящего отрока и было замыслено родителями лишь в качестве одноразового жеста. Так, на всякий случай, для подстраховки.

А случаев излишней говорливости, связанных со сталинскими похоронами, было в те дни множество. О некоторых из них рассказывает, например, «Аннотированный каталог: надзорные производства прокуратуры СССР по делам об антисоветской пропаганде. Март 1953–1958», изданный в Москве в 1999 году. Ну вот хотя бы один пример из этой книги, относящийся к тому самому дню 6 марта 53-го года, когда прозвучало правительственное сообщение о смерти всесоюзного пахана: «Теленков С.М. (1909 года рождения, русский, модельщик в научно-исследовательском

институте, г. Москва) 6 марта 1953 г. в вагоне электрички в нетрезвом состоянии говорил: «Какой сегодня хороший день, мы сегодня похоронили Сталина, одной сволочью станет меньше, теперь мы заживём». 4 августа 1954 (освобождён). Ф. 8131. Оп. 31. Д. 59515».

Модельщик Теленков в главном был прав. Ошибался лишь в поспешном утверждении «сегодня похоронили», поскольку и Мавзолей и Красную площадь украсили второй державной мумией не 6-го, конечно, но 9-го марта. Поспешил пассажир электрички и с восклицанием «теперь мы заживем». Ибо оптимизм этой фразы и рады бы воплотить в жизнь двести миллионов подданных бывшей евразийской империи, и рады бы по сей день, полвека спустя, да всё те же наследные грехи не пускают... Модельщик из электрички 53-го года отделался тогда, по факту антисоветской пропаганды, лёгким полуторагодичным испугом.

Меня же, пятилетнего пропагандиста с моим почти тем же, что и в прокурорском протоколе, преступно-антисоветским восклицанием «Как хорошо! (Какой хороший день!)», добрые родители предусмотрительно защитили тем самым великолепным, и до сих пор цветущим, кумачёво-чёрным розаном. Правильным нагрудным, у самого сердца приколотым, цыгановатым цветком. «Чёрный бык и красное вино. Валенсийской жизни казино...»

Тот почётный нагрудный «знак отличия-неотличия» помог мне легко, всего за один день, забыть разочарование предыдущего вечера, когда моя бескорыстная попытка поделиться неподдельным телячьим восторгом была явно отвергнута. Собственно говоря, взаимопонимание с матерью у меня, будто на зло, никак не налаживалось — ни в ровном рутинном ритме, ни даже в отдельных попытках «поговорить по душам». Вот и в конце прошлого лета уже случился один прокол-конфуз при разговоре с нею. В тот день двое малознакомых оболтусов, на пару-тройку лет тёртей и испорченней меня, подкатились ко мне с неожиданным вопросом у самого подъезда нашего дома:

— Ты уже знаешь, что такое блядь?

— Не знаю.

— Ну, это такая сладкая кашка. Вроде рисовой молочной. Отличная кашка. Не пробовал ещё?

— Нет же, говорю!

— Ага. Ну вот и пойди, прямо сейчас, попроси маму, чтоб сварила тебе сладкой бляди. Очень вкусно. Пойди, давай!

В свои хитрые физиономии и фальшивые голоса оба провокатора явно старались добавить побольше той самой, обещанной ими сладости.

Что ж, я и пошёл, и попросил. По доверчивости, из любопытства. Ещё и потому, должно быть, купился, что со сладкой жизнью в тех краях и в те времена было из рук вон плохо. Сахаром в посёлке отоваривали раз в месяц, а то и реже, если очередной завоз срывался. Слух о том, что на неделе будут «давать» распространялся среди местного населения заранее. Несколько дней подряд предстоящее событие обсуждали на все лады — где, когда, по сколько в руки... Не отменят ли «обицанку-цяцанку» на этот раз... Определённо, было важным и само по себе это ожидание-предвкушение. Мать всякий раз брала меня с собою в немёрянно-длинную бабью очередь, чтобы продали нам не «в одни руки» и не килограмм, но умножили и руки, и дефицитный товар на два. Чаше всего тётки, стоящие позади нас в очереди, поднимали гвалт, протестуя против меня как коэффициента умножения, но обычно продавщицы всё же не отказывались признать факт моего существования.

Комплект моих мартовских околоисторических изображений, виртуальных, и в то же время совершенно подлинных слайдов — «на фоне Сталина снимается семейство» — будет неполным без показательного кадра февраля 56-го — на ту же тему. Только что завершился 20-ый съезд КПСС, где Никита Хрущёв произнёс первые признания о сталинском культе и о репрессиях. Сигнальная весть из Москвы тотчас же аукнулась и на харьковской окраине: возвращаясь домой после уроков, — а я уже школяр-второклассник, — замечаю издали, что от священного скульптурного сооружения остался лишь нелепо торчащий постамент. Это тот самый «ледяной цементный бюст», заваленный в марте три года назад горами рыдающих восковых роз. Ускоряя шаг, приближаюсь вплотную к сооружению. Тяжеленный бюст вождя, «покрытый густо серебрянкой», лежит навзничь на мокром февральском снегу. Цементная спина полутушки — читай,

погрудного изваяния — глубоко вдавлена в снежную слякоть, в расквашенный чернозём клумбы. Посеребрённая шея генералиссимуса обмотана ржавой и перекрученной — толщиной чуть ли не в сантиметр — железной проволокой.

Таким он и видится мне чаще всего до сих пор — низвергнутым, лежащим навзничь, угрожающе безмолвным. Гипнотически твёрдо и тупо вперившим в серое небо поддельно-металлические глаза, усы, нос, нагрудную звезду Героя. Таким я и вспоминаю его всякий раз, в дни спешащего за давним февралём полувека, заходит ли речь о десятках миллионов убиенных соплеменников, долетает ли январским вороном 2005 года призыв из московской Думы — восстановить памятник Великому Палачу в «сердце родины»... Потому что то была, наверняка, моя самая личная с ним встреча. Потому что хрипло-простонародный глас возмездия на столь чистой, сказать бы, вдохновенной, ноте звучит в равнодушном эфире и донине чрезвычайно редко.

## ЗВЕРОЛЮБИЕ

Сразу вослед переселению в новый дом отец осуществил свой давний замысел — завести собаку. К зверью, самому разному, к собакам, птицам, рыбам, он всегда был крепко неравнодушен. Осенним совсем ещё тёплым днём бодро семеню ногами, стараясь поспевать за широким отцовским шагом. Движемся мы в сторону какого-то очень дальнего совершенно неизвестного мне базара — выбирать щенка овчарки.

В младенческом возрасте все собачьи дети неотразимо обаятельны. Хорош и купленный нами месячный малыш-кобелёк — тёмно-серый с подпалинами, густо-пушистый, с толстыми щёнычьими лапами. Мужик-продавец многократно клянётся: «Чистая овчарка. Чистая, без примеси!»

Тут же поспешаю с крестинами: «Папа, назовём его — Шарик!» Щенок и впрямь сильно смахивает на сонный мохнатый шар. Отец молчит и досадливо морщится. «Ну, тогда — Шар!» — пытаюсь спасти я свою идею, уловив, что первый вариант имени

звучит и вправду не слишком по-мужски. «Подумаем, — отвечает отец, — может быть, назовём Тарзаном».

Такое имя тоже кажется мне вполне подходящим. Ведь именно этот, сверхпопулярный тогда, киношедевр о ловко-победительном Тарзане смотрели мы с отцом совсем недавно в круглом — сидения амфитеатром — зале дворца культуры «Строитель». Не в каком-нибудь шарикоподшипниковом клубе.

Повзрослев, Тарзан превратился в поджарого кобеля дымчато-серой масти с чёрным седлом-чепраком на спине. В грязновато же чёрном окрасе его узкой, не вполне пропорциональной, морды присутствовало нечто, не вызывавшее к нему доверия. Мать, в частности, усматривала черты упрямства и коварства в его характере. Хозяйку строптивый пёс слушал в лучшем случае через раз. В особо конфликтных случаях залазил под кровать в детской комнате и угрожающе рычал оттуда на непонятную ему женщину.

Зато приказы отца, изрекаемые резким командным голосом, выполнялись верной псиной без промедления и с видимой охотой. Одна из таких команд накрепко вписалась в картину многоснежного зимнего вечера. Услыхав знакомое «Ко мне!», Тарзан тут же рванулся к отошедшему на двадцать метров отцу, увлекая за собой привязанные к ошейнику санки. Мне с трудом удалось удержаться в упряжке при резком рывке, ухватившись за деревянные санок обеими руками. Через секунду-другую я не то, чтобы успел заметить, но понял уже вослед звуку, вослед краткому свисту-шороху воздуха, что в сантиметре от моего уха промелькнул в темноте гранёный столб из бетона. Тот самый, на верхушке которого покачивалась криво подвешенная жестяная тарелка с мутно-жёлтой, словно бы умирающей лампочкой.

Тощий и поджарый кобелина оказался на удивление жилистым и прытким. Так же бодро, как на зов «Ко мне!», реагировал Тарзан и на посыл «Апорт!», бросаясь со всех ног вслед ещё летящей в воздухе палке, уже изрядно измочаленной зудом его молодых клыков. Избыток его диковатой энергии проявлялся столь же заметно, как и черты мелкокостной беспородности. Тарзаново плебейство, конечно, огорчало отца. Но, увы, все признаки полуовчарки-бастарда стали явными сразу же после того, как возраст трогательной щенячьей округлости миновал.

Верный Тарзан, приткий бастард. Что-то в нём определённо угадывалось, взятое от тамошне-тогдашнего пространства-времени. Та же пепельно-чёрная масть, то же горячо-мутнокровное разночинство. Те же молчаливые, и словно бы глядящие исподлобья, признаки угнетённого достоинства — упрямство и нервная сверхнезависимость.

В один из зимних вечеров отец возвратился домой с неожиданным живым грузом. В принесённой им матерчатой сумке молчаливо и испуганно теснились три снежно-белых, без единого пятнышка, голубя. Помнится, птицы, выпущенные отцом из торбы, суматошно хлопали крыльями в углу родительской комнаты над дешёвым платяным шкафом, выкрашенным тускло-красноватой морилкой. Попытки отца дотянуться до голубей только добавили им испугу. Внезапный правый и левый вираж по коридору — и, промахнув несколько метров по детской комнате, две птицы из трёх вырвались на свободу метельного вечера через открытую форточку.

Через стекло балконной двери можно было видеть, как беглецы опустили на заваленную снегом крышу ближайшего базарного киоска. Может быть, одно из самых сильных и неискажённых десятилетиями ощущений моего детства — реалии именно того вечера. То тревожное и одновременно вдохновляющее прикосновение к огромному и необъятному, всевластному и фатальному внешнему миру, когда в приоткрытую матью дверь балкона врывается свежий и колкий, густочёрный и смешанный с белой метелью зимний воздух.

Я изо всех сил пытаюсь всмотреться в происходящее внизу сквозь мятеж воздушно-снежного пространства. В заваленную снегом крышу фанерной будки, в уже совсем невидимых птиц на ней, в тёмную человеческую фигуру, которая карабкается вдоль боковой стенки ларька. От избытка внезапных и бурных эмоций я забываю, что отец уже бросился вдогонку своим беглым ангелам, даже не надевая пальто. Мне чудится, что кто-то чужой посягает на них там, внизу, в метельной крошечности.

«Не трогайте, это наши голуби!» — слышится мне несколько раз подряд мой собственный заклинающий крик, как бы несколько со стороны. «Не трогайте, это наши голуби!» — выкрикиваю

я в щель приоткрытой двери и чувствую, как тугой, полный силы и дерзости напор встречного ветра вталкивает назад в комнату звуки и без того малого и слабого пацанячьего голоса.

Ловлю себя на мысли, что то раннее ощущение тёмного встречного напора, откровенной враждебности извне, и не думает оставлять меня до сей поры. Очень похожее чувство приходит, к примеру, каждый раз, когда, снова не удержавшись, дерзаешь выпустить навстречу городу и миру, *orbi et urbi*, свою новую книжицу пестрокрылых виршей.

*Я их любил — детей, мои слова,  
И часть из них, гляжу, ещё жива,  
не все чижии и снегири побиты...*

Говорю даже не о реликтовом меньшинстве читателей стихов, — поклон мой всем тем, кто всё же позволяет мне сделать подобную оговорку, — но о том экзистенциальном и в то же время совершенно реальном мраке, который ждёт ежечасно любого из нас, слепленного не только из плоти и крови, за порогом его дома. Караулит за тонкой бумажной дверью его внутреннего жилища. Поджидает за каждым пробуждением ото сна — всё равно, с закрытыми или открытыми глазами.

Любая попытка выйти во всеобщий мир со своим-выстраданным, нераспластанным заранее перед всевластием количества, по определению болезненна и на полном серьёзе опасна. Для упорствующего, в конце концов, — фатальна.

Благодарить ли мне теперь в стихе, укорять ли в прозе ту репетицию отроческого зимнего вечера с беглыми голубями? Видимо, благодарю, похоже, продолжаю упорствовать. Ведь кричу по-прежнему нечто, взываю сквозь приотворённую дверь слабо-сильным, да нещадным голосом. А не сильно-слабым ли? Да каким Бог дал... Кричу в воровскую студёную темень, в разбойничью хмельную пургу. И это второе внешнее, ветровое, — к счастью, не просто ближе, а наверняка спасительно-близко: «Мой ангел — метель, а в июле он ливень-хранитель. Недвижность мне равно — средь стужи и зноя страшна...»

Выкрикиваю, выпеваю, выборматываю своё-невсеобщее нечто. Похоже, что в прежней неизменной тональности, всё на той



же отважной мужичково-ноготковой ноте. Текст, конечно же, не может не претерпевать изменений. Претерпевает. Нередко он уже — ограничясь буквальным прочтением — закликает призывом от обратного: «Замечайте, узнавайте, трогайте — это наши прекрасные голуби!»

Прозревайте — это наши снежно-боевые летуны-почтари драгоценной персидской породы. Любимцы караван-баши, с горделивым, едва ли не соколиным профилем, с мощно-соколиным ускорением пикировки. Внимайте, ибо это ещё и наши тихокрылые вестники. Птицы и земной, и небесной — Сыновьей и Отеческой — крови, Святодуховой — какой же ещё? — кротости и белизны.

Живы и другие, более мелкие и совсем не библейские, птицы того окраинного семилетия. Живы и не менее вестников символичны в своей самости и живучести. Радостные и мажорные в неизменном многоцветий наряде, гусарики-щеглы бодро расклёвывают сухие колючие шары репья-чертополоха. Вечные подrostки чижи, миниатюрные и прыткие пичужки с грудкой колера зелёного июньского яблока, выпасаются на густых зимних метёлках бурьяна-чижовника. Целы и невредимы даже те воробы, что пойманы поселковой пацанвой на возлериночном снегу, усыпанном семенем подсолнуха. Те, что изловлены посредством едва ли не каменновековой ловушки из пяти кирпичей и палочки с бечёвкой. Сердито и испуганно блеснув на прощанье чёрной бусиной глаза, скромнооперённая птица выпархивает из разжатого кулака ловца. Малый уже доказал глазеейшей компании свою *ловкость* — экое коренное удвоение смысла в имени существительном! — и теперь щедро-великодушно дарует пленнику свободу.

VALE!

Чем приветливей вглядываюсь я в те свои отдалённые времена и малоухоженные пространства, тем охотнее и непринуждённой оживают и проясняются десятки житейских эпизодов, как будто бы совершенно неповреждённых, а лишь по-птичьи

отряхивающих примятые перышки. Их внутренний метафоризм способен порою — на мой взгляд — дотянуться от почвы быта до воздуха бытия. По крайней мере сблизить эти не столь уж и разнородные понятия. Их полнокровность и достоверность вполне могли бы, переплавившись в тигле вдохновенной изобразительности, породить нового «Филиппка» или «Тома Сойера», новую «Гайавату», а то и ещё одного «Ван Хельсинга».

Часть из проснувшегося и умытого ключевой водой рискнула войти в эти заметки. Несомненно, ещё большая часть осталась за кадром и, похоже, желает «счастливого пути» тому, что осмелилось выбраться из давней избы — вернее, из двух-трёх изб — за порог.

Если «Бог хранит всё», то не зря сберёг Он особенно тщательно столь многое из тех дней. Там происходило зарождение частного и многоцветного бытия на фоне широченного, почти лишённого имени и окраски, быта. И не пропало, сохранилось — именно достойное забывания. Стало быть, ни о каком прощании с тем моим «минус пятьдесят»-временем, тем более ни о какой от него отстранённости говорить я, конечно, не вправе.

*Но дюжина цветных мелков в пенале  
и через сорок тусклых зим приснится.  
И потому в конце записки «valeur!»  
черкнёт летучим почерком десница.  
Та, с отсветом, чуть розовым, коробка,  
скользящая, в узорах клёна, крышка! —  
Среди мелков — то пёрышко, то кнопка...  
Дыханье неофита, без одышки,  
летит оттуда — от канадских кленов,  
от веток волчьей ягоды за школой.  
И длится звук свиданья патефонов  
с единственной в округе радиолой.  
Там в дымных листьях и секущей вьюге  
вдруг вспыхнет нечто яркостью бунтарской,  
бросая свет на шрамы и недуги  
окраины угрюмо-пролетарской...*

Десять лет, успевшие пройти со дня зарифмовки вирша, превратили, даже не моргнув глазом, «сорок тусклых зим» в пятьдесят. Стоят ли столь замелькавшие, зачастившие нынешние десятилетия по критериям свежести, экологической чистоты впечатлений ну хотя бы года, месяца восточно-окраинного, тем более луганского, каменнобродского? В те времена мне жилось уже потому полнокровно, что можно было смело вообразить себе любое будущее. Легко было намечтать какое угодно настоящее. Иллюзии, подпитанные темпераментом, бурным кровооборотом, давали ощущение полноты бытия. Ощущение счастья, наконец.

Каждое лыко, благоухая свежестью, шло в строку. Каждая дружественная частность включалась в большую вдохновенную идею. Не просто в инстинкт выживания, но в идею полножизненного, едва ли не всеатмосферного, достоинства. В идею nasledования мира.

*И «vale, vale!», мама Валентина!  
 Не брезгуй в нищете румянолицей  
 козлиной шапкой грубияна-сына  
 и с младшим, с хитрованом, поделиться...  
 Там с добрым словом и с едой — неважно.  
 Такое время там, такое место.  
 Но — ой, как княжит над землёй овражной  
 апреля влажноокая невеста!  
 И дует ветер по-над зоной-дачей,  
 шпана влетает на ходу в трамвай.  
 Ещё до драки там спешат со сдачей...  
 Так отчего лишь «здравствуй!», не иначе,  
 я школе той, без номера, киваю?  
 Когда в почтовом ящике посланье  
 найду, листок в линейку из тетради, —  
 я буду знать короткий стих заранее:  
 Лишь «vale!» там, ни слова назиданья,  
 ни полстроки о погорелом саде...*

Римляне произносили своё «vale!», желая друг другу здравия и ставя сие словцо по обыкновению в конце письма. По-рус-

ски тоже возможно закончить дружеское послание пожеланием «будь здоров», «оставайся во здравии». Зато второй — и тоже буквальный — перевод «здравствуй!» не может означать ничего иного, кроме начала письма, зачина разговора.

Ну, не лихи ли мы — снова и опять — в своей исконной способности к двоению и расслоению? Ответ на этот очередной вопрос — тоже очень и очень родной: двойное да. Да, лихи — бравы, сильны и отважны — в слоении образном, вольно-художническом. Да, лихи, бедоносны — ой, лыхо-лышенько! — в привычном раздвоении-неустремлённости. Увы, лихи, на свою же голову, едва ли не в каждой конкретной малости...

Слава Богу, мне не пришлось ничего придумывать в этих заметках. Подмалёвки наверняка бы диссонировали с ранними красками оригинала. Надеюсь, что не злоупотребил интерпретациями вдогонку, ибо не тоже заглушать и искажать голос того, что звучно отвечает само за себя.

Вот и выбираю здесь решительно второй перевод римского «*vale!*» и говорю «здравствуй!» всему тому, что само не захотело сказать мне «прощай...» А миновавшие полстолетия не сравню ли с некой перемененно облачной атмосферной линзой, чья прозрачность в иных местах её поверхности способна иногда едва ли не к эффекту увеличения?

Стало быть, здравствуй, моя трижды восточная окраина, околица, сестрица! Частые расчёты на возвращение оправдываются весьма редко. Я же здороваюсь с тобой через полвека легко, словно бы на следующее утро. Очень похоже на то, что никуда я пока не уходил.

2004–2005 гг.

## 3. ТРЕТИЙ МЕМУАР

---

### ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ЦЕНТРУ

Летом 56-го года меня, школьника, завершившего второй учебный год, впервые отправили на каникулы не в Луганск, к милым моему сердцу бабушке и деду, Марфе Романовне и Петру Ивановичу, а в пионерлагерь станкозавода под Харьковом. Начиная июнь, возраст мой подбирался к девятилетию, и в положении нашей семьи, а стало быть, и в моём модусе-статусе назревали немаловажные изменения. Как раз в эти дни отец увольнялся со станкозавода с беспросветно-хлопотной должности начальника производства и становился главным инженером проектного института «Оргстанкинпром», который располагался, в отличие от окраинного завода, имени, вчера, Молотова, а сегодня Косиора, на Кооперативной, одной из старых центральных улиц Харькова.

Пожалуй, ещё ощутимей и важнее для всей четвёрки домочадцев было то, что мы переселялись в квартиру в новом заводском доме, выстроенном там же, в самом что ни есть центре Харькова, на углу Московского проспекта и площади Фейербаха. То есть, в эти июньские дни мы все одним махом превращались из обитателей дальней заводской окраины в персон стопроцентно центровых. Ожидание этого переселения явно возбуждало и обнадёживало меня своей необычностью. Склонность к фантазиям я уже вполне ощутил к тому времени как черту собственного характера. И вот в воображении высвечивались новые, наверное, небеспочвенные в этом случае, картины будущего. А подступающие вплотную надежды были не лишены даже некоего оттенка гордости.

Терять мне, видит Бог, на прежнем месте обитания было совершенно нечего. Разве что оставлял я на станкозаводе немалое количество таких же, как и я, малолетних и вольноопределяющихся приятелей-одноклассников и недругов, которых насчитывалось, пожалуй, побольше, чем друзей, ибо приобретались они постоянно в ежедневных, — и в едва ли не ежечасных, — стычках на земляных пустырях и щербатых асфальтах заводского посёлка. Причём, вражеский этот контингент разделялся на безымянных, как бы данных априори, внешних врагов, живших в соседнем посёлке ХТЗ, именуемых скопом хатэззвцами, и на неприятелей внутренних — станкозаводских же пацанов. Эти, вторые, были помечены, естественно, незамысловатыми именами и прозвищами, очень хорошо памятными мне и до сих пор.

Вот, к примеру, кричу с балкона третьего этажа сверху вниз своему ближайшему соседу, обитателю нашего подъезда Шевчуку, живущему на этаж ниже меня: «Шева — Гитлер!» Шева на год постарше, и меня, шустряка, подъедает время от времени дерзкое желание щегольнуть своим бесстрашием, добавив пару новых колкостей к нашему давнему диалогу в устоявшемся задиристом ключе. Шевино участие, впрочем, ограничивается всегда одними и теми же мрачными обещаниями «дать мне», так никогда и не реализованными. Эти отношения с Шевчуком могут быть отнесены лишь к теоретическим упражнениям в школе поселковой жизни. И они — всего только лёгкая разминка для поддержания столь необходимой в здешних условиях постоянной бодрой боевитости.

А вот и сугубо практические занятия по курсу боевых действий и околофронтowego выживания: два брата-акробата по фамилии Белые, оба чуть старше, чем я сам, учиняют очередную погоню по всей станкозаводской территории за мной, их должником. На дворе, помнится, жарко дышит моё последнее дошкольное лето, стало быть, лето 1954-го года. Соль дискуссии в том, что несколькими днями раньше я, изловчившись, очень смачно усадил на пятую точку младшего из братьев Белых. Причём усадил его задом на раздолбанный асфальт прямо возле крыльца их личного братского подъезда, что выглядело особенно оскорбительным и вызывающим жестом. Представлялось преступле-

нием, совершённым, сказать бы юридическим языком, с особым цинизмом.

Та великая обида и тот классически чисто проведённый мною борцовский приём и до сих пор остаются неотмщёнными, хотя гонки по пересечённой местности в исполнении нашей троицы периодически повторяются. Мне эти кроссы, несмотря на присутствие в них некоторой угрозы, всё же — в охотку. И, хотя никому из нас тогда понятие «адреналин» ещё не ведомо, я словно заранее чую свежий ветер азартной игры всякий раз, когда пара неразлучных братанов-мстителей опять внезапно возникает в моем поле зрения, а то и вовсе прямо под боком.

Белые замирают на секунду на месте от неожиданности, делают охотничью стойку и судорожно фиксируют на мне две пары глаз, полыхающих застарелой жаждой вендетты. В ту же самую секунду я как раз и срываюсь с места бодро и весело, с полной уверенностью в том, что никогда, никогда эти недотёпы меня не догонят. Это повторяется с незначительными вариациями уже в который раз, и действительно моя более чем детская, полная вера в удачу и пацанячья живость-реактивность сразу же приносят мне преимущество в дистанции.

Вдоволь наигравшись с преследователями — петлями и виражами, резкими переменами курса, замедлениями и ускорениями, я или оставляю их безнадёжно позади, или же — есть иной вариант — рискую прибегнуть к уже испытанному тактическому приёму — нырнуть на отдых-отстой в ближайший продуктовый магазин. Там, при всём массиве честного взрослого народа, где мрачноватые взгляды тучных продавщиц в халатах пересекаются со взорами покупательниц, тоскливо-покорно скользнувшими вдоль привычной скудости прилавков, Белые, как и я сам, ещё мелковатые годами, пойти на явную агрессию не решаются.

Прислонившись к немытому стеклу пустого прилавка, успеваю восстановить за пару минут дыхание — совсем не стайерское по своей природе, скорее спринтерское. И тут же, улучив момент, — о этот миг действия, это античное «карпэ дием!» — резким рывком прорываюсь сквозь просвет дверей наружу, на свою дико-поселковую и полновоздушную волю. Братья Белые успевают зацепить меня лишь по касательной, по ускользающей ткани

одежды, мстительными крючками пальцев. Они снова явно проиграли старт и оторопело остаются со своими бессильными мотюгами на уже безнадежном для них отдалении. Через несколько секунд братаны уже и не пытаются догнать своего вечного должника — вера в успех ими полностью утрачена.

Вот так и доньше остаётся та давнее ловкое приземление противника на пятую точку в списке моих долгов семейству Белых да и всему тамошнему театру военных действий. Полагаю, что пора уже списать те мои, игровые и игривые, мальчишеские прегрешения за давностью временных лет. А может быть, — есть у меня не этот счёт некоторые соображения, — и по выслуге тех же самых лет...

По случайному или же по нацеленному на очень отдалённые смыслы стечению обстоятельств, но именно те два человека, которые единственно интересовали меня из всего множества поселковых жителей, переселились вместе с нашей семьёй, как выяснилось чуть позже, в новый станкозаводский, центровой, дом — строение номер 43 на Московском проспекте.

Проспект стекал чуть вниз от площади пламенного революционера Тевелева, о заслугах которого почему-то никто не мог сказать мне ни одного внятного слова, от здания горсовета, то есть от самого яблока-десятки харьковской городской карты, на восток и ещё буквально вчера носил имя товарища Сталина. Но в самом начале 56-го года, после февральских партсъездовских разоблачений культа личности в речи Хрущёва, все улицы, проспекты, площади СССР, носившие имя сталиного вождя, в едином порыве были переименованы в Московские.

Как по мне, теперь уже основательно повзрослевшему, так та самая Москва того Сталина — ещё ох как стоила и стоит! Как, впрочем, стоит любой другой стольный-лобный град своего тирана-правителя. Чуть попозже, вдогонку тотально-московским переименованиям, с такой же регулярностью и изобретательностью тысячи улиц и районов имени Кагановича и предприятий его же имени, как, например, славное московское метро, стали называться на всей шестой части земной суши Киевскими или же, в крайнем случае, Ленинскими.



Ленинскими большинство из них уверенно остаётся и доныне, по истечении более полувека, после всех неисчислимых и чудовищных разоблачений большевизма-каннибализма. На мой взгляд — это клиническое явление, ещё в полной мере не осмысленное до сих пор психологией социума. Лазарь Каганович, однако, был начисто изъят хрущовским периодом из топонимического обихода. И мне в упоминаемом здесь 56-ом году «посчастливилось» застать уже последние отголоски революционной славы Лазаря Моисеича. То бишь, довелось на новом месте учёбы завершать аккуратные надписи на серо-голубых и тускло-розовых, волокнисто-шершавых, обложках моих тетрадей торжественными словами: «ученика 3-го «А» класса 9-ой средней школы Кагановического района города Харькова»...

Так вот, теми двумя высветленными для меня в окраинном мороке личностями, переехавшими вместе со мной в дом на Московском-Сталинском проспекте, были Гарик Целовальников, с невиданным упорством крутивший целыми днями педали своего велосипеда по всем пустырям нашей малой родины-околицы, и Саша Карпов, живший со мной в одном подъезде в нашей прежней, поселковой, силикатно-кирпичной, пятиэтажке по проспекту Фрунзе, 7.

Игорь, он же Гарик или Гарюн, вызывал мой интерес не только твёрдо-сосредоточенным выражением глаз над велосипедным рулём, не только устремлённо-бодающим наклоном лобастой головы, солидно-неторопливой поступью на мускулистых накачанных ногах и старшинством в возрасте в три года, но и, словно бы суммирующим все эти его боевые признаки, предощущением его славного спортивного будущего. В те времена нашего обитания в заводском посёлке, когда до его олимпийского чемпионства в Мюнхене ещё оставалось два десятка лет, между нами и не происходило особых разговоров. Вполне хватало нам и привычно-мимолётных возгласов «привет-привет», не лишённых, впрочем, взаимной симпатии.

Но в будущем, нас, уже повзрослевших обитателей центрального дома, подружили наши, до смешного детские и азартные, игры — то в летний футбол на асфальте, то в зимний хоккей — без коньков, но с клюшкой и шайбой! — с беготнёй по тому же мёр-

злому и дырявому асфальту двора на Московском проспекте. И, что ещё для меня важнее, очень сблизили нас некие незабываемые впечатления одного нашего общего летнего дня на Донце. То был день в июле, проведённый нами вчетвером, вместе с нашими отцами, на сверкающей солнцем реке и на соседнем озере в сосновом бору. Более поздние встречи с Игорем, уже накануне его обидно ранней гибели, происходили, увы, на явном излёте его силы и удачи. Но об этом — подробно чуть попозже, не сейчас.

Саша Карпов, второй мой соратник по переезду в центр, являлся для меня по сути единственным человеком в начале 50-ых годов, обитавшим в станкозаводских мрачно-пролетарских краях, который не пренебрегал возможностью время от времени высказать мне своё доброе отношение, без особых на то причин. Никаких выдающихся жестов Саша не демонстрировал, просто приветливо поглядывал при встрече на соседского пацана, младше его на десять лет, мудро-добрыми полуеврейскими глазами, немного навывкате. Просто усаживал, когда бывал при железном коне, на высокую раму своего «взрослого» велосипеда и выруливал неторопливо круг-другой по земляной пустоши перед нашим домом.

Жил он на этаж ниже меня вместе с отцом Алексеем Ивановичем, болезненно-худым, израненным на недавней войне ветераном, и матерью, Дорой Зиновьевной, черноглазой, округлой и пухло-мягкой, по контрасту с мужем-фронтовиком. Как бы ни были редки эти трёхминутные велосипедные прогулки с Сашей Карповым, они, помнится, представляли для меня немалую ценность, подпитывая мою тихую, но горделивую уверенность в том, что существует у меня взрослый и серьёзный друг, неизменно ко мне доброжелательный. И вот, в начале лета 56-го года, выяснилось к немалой моей радости, что Карповы не только перебрались вместе с нами из посёлка в новый дом на Московском проспекте, но и снова поселились на этаж ниже в нашем же подъезде.

Поскольку после окончания второго класса я отправлялся на весь июнь в пионерлагерь, выходило по всему, что переезжать на новую квартиру родители будут без меня.

— Справимся как-нибудь сами. Меньше под ногами будешь путаться, — сформулировал отец.

Впрочем, резкость его воспитательных определений в мой адрес, так же, как и суровость устремлённых на меня взоров, несколько снизились именно сейчас, после окончания мной второго класса. Неожиданно для меня самого, тем более для родителей, все оценки в табеле, в годовой графе, все, как одна, оказались пятёрками.

В 104-ю среднюю школу на улице имени Второй Пятилетки я отправился, как и подобает семилетнему отроку, в сентябре 1954-го года. Если что и запомнилось из двух лет пребывания в этом почтенном заведении, то как раз те подробности, которые непосредственно к моим ученическим усилиям отношения не имели. С первых же дней сентября на меня повеяло воистину гробовой скукой от монументально-тяжеловесных школьных парт, и вправду очень напоминавших изделия гробовых дел мастера. Их дубоватые неподъёмные доски-крышки были старательно выкрашены к новому учебному году в беспросветно-мрачный чёрный колер. И пахли эти казённые сооружения-монстры так же безнадёжно — удушливым старым лаком и невыразимой тоской.

При малейшей возможности и под любым предлогом я сбегал с уроков или всё чаще не доходил, выйдя утром из дому, до школы, дабы просто-напросто носиться вольной птицей по квадратно-гнездовым поселковым уголкам, расчерченным ещё в тридцатые годы под линейку американскими планировщиками будущего поселения пролетарского счастья. Особенно большую радость доставляли мне эти побеги осенью и весной, когда окраинная скудость заводского поселения, сложившаяся реально, вопреки прекраснотным штатовским чертежам-проектам, куда-то улетучивалась, и свобода-воля, окрашенная то всеми оттенками багреца-золота, то переплесками и переливами молодой зелени, становилась неодолимо притягательной.

Ни один эпизод ученической работы из тех двух первых школьных лет не вспоминается, хоть убей, именно потому, что желание вспоминать начисто отсутствует. В целом же моя цепкая и жадная до свежины впечатлений ситуативная память сохранила, слава Богу, великое множество живых разноцветных

картинок и эскизов, начиная с самых ранних, почти ещё бессознательных, лет. Примером тому может служить ярчайшая внутренняя видеосъёмка того солнечного дня в луганском, дедовом и бабушкином, доме, когда я, годовалый отпрыск, совершил свой первый самостоятельный переход от клетчатого дивана до стола, покрытого плотной льняной скатертью.

Но совершенно ничего трогательного и благодного, в жанре, например, «учительница первая моя», не возникает перед мысленным взором, поскольку психология моего пребывания-заточения в классе на улице Второй Пятилетки определялась полным, едва ли не свирепым, отторжением всех попыток тамошнего обезличенного натаскивания в купе с тридцатью другими школярами-одноклассниками. Чтению и счёту я научился ещё до семи лет, и на этом капитале, по всей видимости, в первый год в стенах 104-ой школы и выезжал, не прилагая особых усилий. Результаты в таблице за первый класс меня, однако, несколько разочаровали — пятёрки перемежались четвёрками. Успехи некоторых одноклассников оказались заметнее, и это вызвало некоторый укол самолюбия, не слишком, впрочем, болезненный. В целом я всё ещё оставался совершенно не настроенным на школьную волну, продолжая ощущать себя то неукротимым и вольным Гаврошем, ночующим в брюхе бронзового коня, а то и беспризорной бродячей Каштанкой — с радостной влажно-розовой улыбкой собачьей пасти.

Всё же один эпизод моего трудового самовоспитания из первых лет школярства присутствует в памяти, словно застряв в ней некой мелкой занозой. Истязая и насилую себя, сгорбившись за письменным столом над домашним заданием по чистописанию или же письму — почему-то эти два предмета двигались в начальной школьной программе параллельными путями. В квартире я один, уже вечереет, и в одной из двух наших комнат, той, что выходит балконом не на проспект Фрунзе, а на лысый земляной двор, зажжена тусклая лампочка. Будь я чуть повзрослее, наверняка назвал бы её лампочкой Ильича — она того заслуживает своей немощью-маловаттностью. В ней сорок ватт от силы, а то и вовсе двадцать пять. На освещении семья, как и на всём остальном, тоже вынуждена постоянно экономить.

Борьба с собственным нежеланием напрячься, точнее, покориться насилию внешней необходимости — мучительна. Лень ли, матушка, злая мачеха раньше меня родилась? Да нет, пожалуй, что дело здесь не столько в лени (или же «лень» — весьма неточное определение причины торможения), сколько в поистине патологической инерционности пресловутого запрягания на старте езды, сколько в пагубной густоте и неповоротливости пресловутой наследственной крови — мешаной-перемешанной, бродившей-перебродившей, точный состав которой вряд ли поддаётся определению.

Доказательством реальности такого разделения понятий для меня, всю жизнь одолевающего с переменным успехом недуг своей тяжести на подъём, является то обстоятельство, что в любом, даже, казалось бы, самом скучном, процессе, начав — пусть и с явно болезненными усилиями — пахать, я пашу уже, слава Богу, исправно и сноровисто, прытко и увлечённо. Машу орудием труда с почти физически ощутимым удовольствием, втягиваясь в работу, ощущая вкус и интерес к происходящему. Испытываю явное облегчение оттого, что дело наконец пошло, оттого, что преодолено каменисто-порожистое начало, которое в родном фольклоре одним махом полдела откачало.

Так вот, за тем, уже шестидесятилетней давности, столом под лампочкой Ильича борьба с собой ещё только начинается. Меня всё ещё неистово подмывает отшвырнуть от себя всю эту муть-писанину, все эти изображённые красными учительским чернилами образцы крючков и петелек, выскочить из своего комнатного заточения на просторы облюбованных мной этой осенью окраинно-пролетарских, индейско-могиканских пустырей-преерий. И только предельным, пожалуй, ещё не испытанным мной до сих пор, усилием воли удерживаю себя за столом.

Намаявшись и наёрзавшись на стуле, осмотрев со всех сторон и под всеми углами свою фаянсовую чернильницу-невывашку, похожую на игрушечную маленькую пасочку, — белую и с синеватым отливом, — вгрызаюсь наконец металлическим пером в тетрадный лист, расчерченный косыми линейками. В неудобной позе судорожно-старательного наклона правой щеки к тетради, напряженно прикусив язык, вывожу, вслед красно-

чернильному учительскому образцу, свои собственные петельки и крючочки — по строке на каждый сорт загогулины.

На трудных переходах от толстой нажимной линии к волосяной из-под пера брызжут чернила, и эти спотыкания от неумелости причиняют мне, явно нетерпеливому и непоседливому по натуре, истинно пыточные страдания. До сих пор ещё лиловеют в глазах нижние предательские петли письменной литеры «у» моего собственного производства. До сих пор алеют в левой части тетрадного поля, словно бы упрёком и укором, плавные полубуквицы-образцы, выписанные рукой Любви Васильевны Мильской, которую течение событий определило тогда «учительницей первую моей».

Увы, и о ней, моей первой наставнице, трогательно окликаемой в тексте «Школьного вальса» тех времён звонкими девичьиными и мальчуковыми голосами, сохранился в памяти протестанта и упряма лишь минимум миниморум впечатлений — так же, как и в целом о двух первых годах ученичества в 104-й школе на улице Второй Пятилетки. Более или менее предметно оживает лишь пара околomorphic эпизодов.

Вот весьма смутно проступает в размытости контекста прошлого фактура наставницы — немолодая, грузная и рыхлая плоть, как бы несколько расплюснутая, подобно кому блинного теста на сковороде. Ещё невнятнее возникает лицо — без отчётливо прорисованных черт, с каким-то, словно подводно-холодным, синевато-бледным оттенком вялого овала.

Но вот что-то конкретнее, живее — некий неиспарившийся из памяти эпизод с её участием. Она, Любовь Васильевна, заболела, не появляется в школе, и первоклассники мобилизованы на благородное дело посещения учительницы на дому. При этом, помнится, собирают их под знамя заботы и внимания явно навязчиво, с бесцеремонным напором и нажимом, отчего лично мне идти поначалу совсем не хочется. Однако же, тактически-грамотное решение, всё-таки последовать советам старших, непокорным вольнодумцем принято. Фокус на цветной картинке воспоминания становится вполне резким: с букетом осенних цветов, — то ли белых и лилово-розовых астр, то ли яркоколерных, почти до китча, майоров, — пересекаю, молодой и семилет-

ний, пространство октября, ещё полное живительного воздуха и солнца.

И там, в том неожиданно-многозначном царстве сиятельной листвы, вставшем в последние ясные дни над нищими поселковыми почвами, там — куда и к какому смыслу движет меня ошутимое, но безымянное нечто? Куда двигаюсь и я сам, — как будто бы уже по своей воле, — ломаной линией метода приближений в поисках нацарапанного на бумажке адреса? Чего ради петляю среди десятка неотличимых друг от друга серых пятиэтажек, поставленных, бестолково и вразнобой, словно бы нарочно для того, чтобы подольше помучить поисками и японских шпионов, и местных первоклассников?

Простое объяснение, что путь мой лежит к назначенной точке обитания наставницы Мильской, не убеждало уже и тогда, не звучит и сегодня сколько-нибудь серьёзным ответом. По-прежнему остаётся в силе — не то чтобы тревожа, но скорее уже привычно-правомочно витая в воздухе и словно бы покалывая изнутри, большое и вполне безответное вопрошание: куда и зачем? Камо грядеши? Обычно — или никуда и низачем, или же — вовсе не в ту степь, которая лишь обозначена случайным условным именем, на клочке ли бумажки, на цветном ли постере рекламного объявления.

И всё-таки слышу внутри себя дробный и краткий, вроде мимолётной царапки птичьего коготка, толчок торжества от исполнения задуманного, когда тускло выкрашенная дверь учительского жилища, без номера квартиры на ней, наконец найдена. Отыскана наконец — вослед нескольким попыткам войти в другие, такие же унылые и без номеров, соседние двери. Уже изрядно упревшие в моей руке цветы благосклонно принимает в прихожей кто-то из домохозяек наставницы. И тут же фальшиво и поспешно звучит смятая фраза о том, что сейчас к Любове Васильевне никак нельзя, что в данный момент она почивает-отдыхает.

В эту минуту, когда все бессмысленно-необходимые пассы мной уже проделаны, остро ощущаю кислый и удушливый запах чужого жилища. Вот так же и все следовавшие за тем днём пятьдесят пять лет моего жизнеплавания периодически, с неиз-

менной регулярностью, повторяется со мною классическая ситуация прихода в гости к никому и в никуда. Её же вполне можно назвать визитом почти к каждому и куда бы то ни было, — когда вслед за тем или иным, картонно-проволочным, бесстыдно лицемерным, звучанием «нет», «не стоит», «не надо», «потом, немного позже», вдруг совершенно отчётливо ощущаешь присутствие чужого и враждебного существа, отравный дух затхлого логова, разбитной шайки-лейки, ничтожной свойской тусовки, фальшивой корпорации, криминально-бесчеловечной державы.

Впрочем, всё это — рефлексии долговременного апостприори, а в том октябрьском дне 54-го года ситуация в прихожей меня совершенно не удручает, разве что на полсекунды кажется мне не совсем логичной. И сразу вслед за вручением в чужие руки своего беззащитно-яркого букета, несуразность которого не зря ощущалось мной, как будто без видимых причин, на всём сегодняшнем пути, поворачиваюсь с явным облегчением спиной к густеющему, до тошноты затхлому, духу. И перемахивая в каждом прыжке через две-три лестничные ступени, как всегда в моих тогдашних резвоногих перемещениях сверху вниз, вылетаю из подъездной норы — на свет, на волю, на свежий Господний воздух. Жалею только, что сегодня, через полвека с гаком, на подобные лихие полёты вниз по подъездным лестничным маршам я уже никак не годен. Ибо, зело отяжелевши, ни резвее, ни ловчее отнюдь не стал.

И ещё одно памятное — там же, сразу на выходе, то, что сливается по сути с мгновенно ободряющим тебя светом и воздухом. Великое ощущение и понятие, излюбленное состояние души и ключевой символ Логоса — «путь». Слово-символ, недаром почти совпадающее по звучанию с повелением самому себе — «будь!» «Затем и снится посох пилигриму, что путь верней, чем полис на песке...» Оживай и снова спеши по великолепной обратной дороге того дня. По обратному пути, который в том частном эпизоде и есть ответ на невнятный общий вопрос «куда?». Потому что по самые щиколотки усыпан заводской посёлок, бросовый и беспросветно-нищий, шуршащим золотиственным богатством.

До сих пор нарочито замедленно, едва ли не сладострастно, шаркая подошвами по уже влажноватой почве, зарываюсь носа-



ми ботинок в пряно-воздушный, лёгкий и рыхлый ковёр осыпавшейся листвы. Всё беспородное поселковое пространство, пустое и продувное, неизмеримо похорошело по воле многоцветного праздника листопадной смерти. И почему-то вспоминаются теперь, в воздушном переплеске колеров, только что отданные сквозь духоту прихожей незнакомой прокисшей тётке майоры. Да, то были не астры, а наверняка майоры, — странные жестко-лепестковые цветы. Яркоколерные, с подсолнуховыми листьями, квитки-простяжки, ни за что не желающие признавать своей аляповатой беспородности.

Наверное, с тех самых времён обязательных школярских букетов, именно эти цветы, скорее всего, самые доступные тогда по цене, — ибо дорогие моя всегда безденежная мама Валя не купила бы, — эти миноры-майоры продолжают и до сих пор будоражить и покалывать некий особенный закуток моей души. Продолжают беречь моё нутро какой-то ностальгической вибрацией, словно бы откликом на что-то улетевшее и утраченное. И на что же всё-таки до сих пор откликаются они — на неискущённость ли и наив семилетнего полубродяжки, на заброшенность ли и неуют родной окраинной местности? На безнадёгу ли нищеты и голи перекатной, помеченной тем не менее явно неуступчивым и дерзко-независимым характером?

Ещё один цветок, вросший в биографию, неизменно пробуждает во мне щемление ностальгии, — это прильнувшие, словно бы прижавшиеся, к земле ярко-оранжевые миниатюрные настурции. Это они, крохи Цахесы, всё ещё не устают светиться лукаво-солнечными круглыми мордашками на свежеполитых грядках в луганском полисаднике моей бабушки Марфы. Моей любимой и незабываемой Марфы Романовны. Там же по соседству, на двух других грядках, вдоль низкого штакетника цветут красные, белые и чайные розы, негромкая гордость Романовны. Хорошеют поутру и обидно быстро отцветают. Но пока их лепестки ещё в силе, в мохнатых корзинках этих совершенных цветков копошатся с утра радужные жуки-бронзовки с угрожающе острыми и загнутыми крючками на переливчатых хитиновых лапах. Там, неподалёку от обмелевшей речки Лугани, железнодорожного переезда и бандюжьей слободки Каменный Брод, до

сих пор, вопреки всем противодействиям, таятся отсветы и отголоски, цветники и перламутровые насекомые моего детского первозданного рая.

Но в странной, чуть более поздней, моей привязанности к незатейливо-пролетарским пресно-дубоватым квиткам-майорам немалая роль, похоже, принадлежит инстинкту защиты собственного достоинства. Неосознанного, ещё только врождённо-генетического, чувства, пусть и приплюснутого обстоятельствами времени и места, но не намеренного сдаваться ни за какую цену. Неважно, что подёрнутые ворсом листья майоров явно лопушисты на ощупь, неважно, что их цветы не издадут и намёка на запахи.

Поверим, и сейчас, и ещё на полвека вперёд, что они уже вложены мне в руки неким большим и обнадёживающим замыслом. Тем самым всеобщим необсуждаемым понапрасну замыслом, который всякий раз сам по себе ведаёт, куда и зачем направляет семилетнего голодранца с копеечным веником-букетом в жилистом кулачке.

Возвращусь снова к последним дням мая 56-го года, когда суммирующий итоги второго класса столбец отметок в таблице грязно-серого колера неожиданно вывел меня, — изрядного тогда прогульщика и вольнодумца, — в категорию отличников учёбы. Отец был удовлетворён, но в русле своей идеи строгого воспитания реагировал на новости подчёркнуто сдержанно. Меня же самого эти свидетельства школьных успехов только слегка удивили и, помнится, не вызвали особой гордости. Гораздо больше меня заинтересовала в том подведении итогов учебного года неожиданная раздача поощрительных слонов.

Вместе с табелем и малоформатной бумаженцией, где отпечатанная стёртым шрифтом и утверждённая печатью благодарность родителям гласила, что их сын «заслуживает поощрения за отличную учёбу и примерное (однако!) поведение», я был отмечен весомым, на мой взгляд, подарком. Ко мне в руки перешёл действительно увесистый альбом чёрно-белых фотографий Киева в роскошном по тогдашним скудным временам твёрдом переплёте. Светло-серая обложка из благородного коленкора радовала мой цепкий и жадный до впечатлений глаз лаконичностью

орнамента и глубоким рельефным тиснением четырёх литер алого цвета: «Київ». Прикосновение к изяществу и одновременно весомой значительности книжного тома уже тогда несло для меня в известной мере признаки священнодействия, пробуждая лёгкий внутренний трепет. Живой эта ранняя книжная страсть остаётся, несомненно, и до нынешнего времени.

Внутренняя начинка дарёного альбома, между тем, не вызвала во мне никакого энтузиазма. Тоска и скука, скука и тоска — явный лейтмотив его добротных, гладко-шелковистых мелованных страниц. Большая часть торжественных чёрно-белых фотографий, мутноватых из-за кондового типографского исполнения, преподносит, во всей красе, радости трудовых будней, отрешённые для съёмок группы бодрых и гордо-чумазых тружеников. Естественно заснятых — то на фоне металлообрабатывающих станков, то на подходе к метёлкам-зарослям колхозной кукурузы. Повторяются также время от времени и оптимистические многофигурные композиции пионеров и школьников — в парадной форме, с развешивающимися на ветру галстуками.

Кое-где фон строителям коммунизма и их молодой смене создают невразумительные фрагменты киевских достопримечательностей, хотя заметна явная подозрительность составителей альбома к старым камням. Зато на нескольких снимках красуется так и эдак, в полный рост, гранитная скульптура устремлённого вперёд в революционном порыве Ульянова-Ленина. Та самое изваяние, что и нынче ещё торчит, яко каменный фаллос призрака коммунизма, в начале бульвара Шевченко, как раз напротив Бесарабского рынка. То самое, которому неумолимый ход времён отчленил наконец, совсем недавно, нос и руку-шуицу — отсёк ударами справедливого молота-бумеранга.

Моё внимание, помимо добротно сделанного альбомного переплёта, привлекает ещё и официальная дарственная надпись не внутренней стороне обложки. Там под моими собственными именем и фамилией, выписанными каллиграфическим почерком с изящными нажимными и волосяными линиями, завораживает взор концентрическими кругами из миниатюрно-аккуратных буковок густо-фиолетовая, не лишенная величия, гербовая печать 104-ой средней школы. Подстать впечатляющей печа-

ти с государственным гербом — и подпись директора школы товарища Шереверенко — размашистая, на всю длину диагонали государственного текста, тщательно выписанная и раскудрявленная, словно бы в полноцветии самоупоения. Сдаётся мне, что и сама фамилия данного руководящего товарища помечена той же многозначительностью и кудреватостью, что и её чернильный оттиск на моём призовом альбоме.

Директора Шереверенку за два года ученических бдений на улице Второй Пятилетки пришлось мне увидеть — от силы пару раз. И никогда уже — сто пудов, то есть сто процентов! — нам теперь с ним не суждено увидаться. Ибо время незаметно и безвозвратно прошло. И хотя крупно-мясистое его лицо лишь смутным пятном проступает сквозь плотный туман времён, самоценно-раскудрявое факсимиле школьного директора пребывает нетленным под светло-серым, сказать бы, советски-аристократическим переплётом моего призового альбома.

Фамилия же Шереверенко, по моему представлению, так же естественно выросла из первичного варианта Шароваренко, как, например, шаромыжник образовался из благородных корней «шер» и «ами». Не от Шурымуренко же ответвилась директорская фамилия, ясен день и ясен пень! Кстати, о Шереверенко вспомнилось мне однажды, спустя два с половиной десятка лет после времён 104-ой школы, когда в конце восьмидесятых годов мой друг-одноклассник, тогдашний единственный читатель моих рифмованных текстов, Славик Долганов вдруг горячо раскритиковал пару моих вполне непритязательных, сугубо игровых, строчек:

*Староверы в шароварах,  
дети в гольфах до колен...*

Славикина претензия заключалась в том, что староверов с шароварами я сцепил вызывающе безыдейно, исключительно по признаку фонетического притяжения двух слов, сходства рокотания-бормотания и в «староверах», и в «шароварах». Как раз в тот период, вскоре после защиты кандидатской диссертации на своём инженерно-физическом факультете, я с отчаянной реши-

мостью вернулся на скользкий и ненадёжный путь стихотворчества. И, наверное, иначе в моём случае просто не могло произойти. Именно так и было мне на роду, сказать бы, в силаботнике, написано.

Славик, он же Долганых, мой одноклассник последних трёх школьных лет по уже центральной 9-ой средней школе, и более того — однолабочник, сосед по парте, оказался единственным в тот момент слушателем всех моих неудержимо нарождавшихся рифмованных опусов. Конечно, вступать с ним в пререкания по поводу староверов-шароваров мне никоим образом не хотелось. И без того я уже наверняка надоел старому другу-приятелю едва ли не ежедневными сеансами своих поэтических чтений.

Долганых месяц за месяцем терпел мои домогательства творческого общения, в целом откликаясь на мои письменные дерзания доброжелательно. И конечно, я ценил его терпеливость и определённый, пусть и с журналистским привкусом, интерес к слову, поскольку все эти качества в одном букете я вряд ли смог бы отыскать у кого-либо ещё поблизости. Потому в ответ на долгановский упрёк в фонетическом формализме моего шаловливого двустушия я пробормотал лишь нечто невнятное, по внутреннему заряду совпадающее с тезисом «замнём для ясности».

Теперь, когда уже и славного Славика нет в живых два с лишним года, а опережавшего нас на поколение-два директора Шереверенко и подавно не сыскать в этом не лучшем из миров, замечу, что всё же «староверы в шароварах» отчего-то не забылись и не желают покидать мою давным-давно перегруженную информацией память. Скорей всего в той давней словесной сцепке затаился не только ритмический заряд детской считалки, но и некий взросло-смысловой, может быть, семейно-исторический, тезис-антитезис. Словно бы косматая борода-лопата московитского Залесья да прицельно-острый прищур пращура из-под гущи бровей нависают над мечтательной рябью хохлацкого шароварного омута. Словно гремучий пассионарий Аввакум сквозь цепко-жёлтые зубы тщится перемолвиться парой слов со спивоче-певучим казаком Мамаем, каковой тихо да упорно продолжает свою собственную медитацию в обнимку с седою подругой-бандурой...

Не знаю, произвела ли впечатление на отца письменная благодарность директора Шереверенко в мой адрес. Мне вельми строгий родитель о том ничего не сказал. Но могу предположить, что некий законный импульс отцовской гордости всё же проблеснул искрой в суровой душе советского ответственного работника. Во всяком случае, мне было благосклонно сообщено отцом, что я отправляюсь на весь июнь в пионерский лагерь станкозавода в посёлок Высокий под Харьковом. При этом сдержанно-доброжелательный и несколько даже торжественный тон сообщения как бы намекал мне на то, что поездка эта мною вполне заслужена.

Из летних красот пригородного Высокого в течение всего нескольких — как, увы, вскоре выяснилось — дней моих первых лагерных каникул в памяти успели живо отпечататься лишь пологие склоны холма прямо за палатой. Так именовалось на тамошнем жаргоне ничем не примечательное деревянное строение для пионерского ночлега, тесно, впритык, заставленное внутри одинаковыми железными кроватями с никелированными трубчатыми спинками. Неровности июньского холма за палатой покрывала свежая трава, начисто вымытая недавними дождями конца мая. Зелень светилась и казалась мне какою-то, даже не молодой, а отчаянно юной.

И там я сам, — той траве наверняка родственник и сверстник, — девятилетний разбойник, несусь на всех парах вниз по плавному склону холма — убегаю с безудержно-радостным смехом от хлопца-пионервожатого, которого только что сам и втянул в эту беготню, раззадорив бодро-колким напором шуток-прибауток. Пионервожатый — совсем молодой парень, лет семнадцати-восемнадцати. За первый лагерный день в Высоком я уже успел приметить его ненарочито-добродушный характер, вполне, впрочем, высвеченный на его открытой округлой физиономии, уже успевшей загореть на здешнем солнце.

Ещё одно его привлекательное качество состоит в том, что по вечерам он берёт в руки гитару и под маловнятный, — но всё же! — аккомпанемент гитарных струн напевает нечто заманчиво-романтическое, вроде неофициального шлягера тех дней «Есть в Индийском океане остров, звание ему — Мадагаскар...» Ну где

бы ещё с таким непосредственным интересом, настолько вплотную-близко, смог бы я подобраться к аксиомам географических знаний? Узнать живые человеческие подробности про тёплый океан и про горячую любовь на экзотическом острове?

Майна Рида, Жюль Верна, Буссенара и Саббатини, впрочем, к тому моменту я уже стал поглощать в неограниченных объёмах, по мере прихода золототиснённых томов «Библиотеки приключений», на которую так счастливо-удачно сумел подписаться отец. Но каких-либо свежих, сегодняшнего дня, свидетельств о разноцветной островной жизни просто не существовало в тогдашнем обиходе. Нудное проводное радио изо дня в день не уставало вдалбливать в уши и мозги демоса отеческие наставления вроде того, что «не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна». Это вам они не нужны, а для меня-то как раз, как и для автора слов к приклатнённой, подвывающей мелодии гитариста, все эти дальние и невиданные края — очень даже заманчивы и закутаны в самый что ни есть цветной туман.

И песенный «негр-красавец саженного роста», садящийся с белой Диной в лодку на фоне оранжевого островного заката, как раз, «когда луч солнца догорал», ни разу в жизни мною не виданный, как и все прочие негры, явно будит во мне живую симпатию. Смутный его силуэт словно сливается с загадочно-затенённой фигурой пионервожатого, напевающего под гитару в глубине фанерного павильона красивовато-заунывную балладу. Впрочем, то, что сегодня может определяться мной вполне иронически, представлялось мне же тогдашнему, девятилетнему романтику, совсем иным образом. Тот самый незатейливый мелос с мадагаскарским прицелом и был для меня настоящей силовой волной, несущей моё воображение прямо в невиданные и желанные дали.

К чести тех давних годин, не менее смутных в целом, на мой взгляд, чем нынешние-тутошные времена, следует отметить, что текстовки даже подобных «Мадагаскару» неофициально-кабацких напевов тогда явно принимали сторону «людей доброй воли», ну, например, бесправных, но стройных и гордых красавцев-негров. Борьба за мир во всём мире и тяга к дружбе народов уверенно оставались двумя неприкосновенными и остромодны-

ми иконными вывесками режима, ещё вчера люто-людоедского, а в начале пятидесятых годов лишь слегка наведшего макияж человеколюбия. И потому едва ли не каждый полунищий «хомо советикус» всей душой и на полную катушку готов был сочувствовать всем без исключения детям Африки — и шоколадным, и кофейным, и с антрацитовым, и с лиловым оттенком кожи:

*Мадагаска-а-а-р, страна моя-а-а-а!  
Здесь, как и всюду, цветёт весна.  
Мы тоже люди и тоже любим,  
хоть кожа чёрная у нас, но кровь красна!*

И этот самый пионерский вожатый нашего отряда, исполнитель вечерне-пряной заведухи-тропиканы, уже на следующее утро несётся за мною по травянистому склону лагерного холма — несётся со всех ног и с басовито-возмужалым хохотом. Поскольку, раз уж бросился догонять дерзкого воспитанника, надо выдержать марку. Однако и не так прост девятилетний, но уже изрядно закалённый в ежедневных поселковых военных действиях выпускник второго класса 104-ой средней школы. Держу разгон, тактически грамотно не сбрасываю скорости, и, когда детина-вожатый, скачущий вслед размашистыми шагами, вдвое шире моих собственных, уже почти настигает меня, резко торможу прямо перед ним. При этом, быстро группируясь в живую бомбочку, бросаюсь ему под самые ноги. Парень, перелетев через меня, валится по инерции в траву. Общий хохот двух участников возни и десятка пионеров-болельщиков дружно нарастает.

Трижды повторённый нырок под дерматиновые сандалии преследователя, опешившего от моей тактики, да ещё и собственный непрерывный хохот, высасывают наконец из меня весь резерв энергии. К тому же эффективность индейской боевой тактики в исполнении ребристо-тощего и реактивно-прыткого ловкача вполне доказана. Не хватает только свежесдымающихся скальпов. И после четвёртого броска, обессиленно повизгивая на последних нотах смеха, я остаюсь лежать спиной на траве. Июньская зелень холма пахнет, вслед разогревшей меня беготне, ещё прохладнее и свежее.



Наверное, вполне простительно это минутное любование своими давними молодецкими подвигами тому, кто теперь, полвека спустя, повторить их уже явно не в силах. Надеюсь к тому же, что сублимация той боевой энергии петушиных мышц и сухожилий молодого индейского воина всё же осуществилась по одному из бесплодных вариантов. Увы, уже на следующий день мои дела пошли не столь бодро и весело. Утром, выходя на ритуальную лагерную зарядку, в совсем новых майке и трусах, купленных матерью согласно отпечатанному в путёвке списку пионерско-джентельменского набора, — само собой, в белой майке и в чёрных трусах, — я уже не радовался, как вчера, свежести своих обновок, а двигался в каком-то невнятном вязком тумане. Последовав же первым бодрым командам физрука «Руки вверх! Ноги на уровне плеч!», я и вовсе почувствовал, что меня морозит и трясёт мелкой дрожью.

Прибежавшая медсестра энергичным голосом, в котором звучало отнюдь не сочувствие, а скорее, профессиональное удовлетворение: мол, процесс инфицирования неизбежно идёт, озвучила мою температурную ситуацию: «У него, наверное, сорок!» А на клеёнке деревянного лежака в медицинском изоляторе лагерная врачиха с тесно упакованной в белый халат грудью, щекоотно прижав мне язык никелированной лопаточкой, уверенно диагностировала скарлатину. «Да, я так и знала!» — тут же поддакнула диагнозу врача медсестра, подчёркивая своё личное участие в текущем процессе.

Надо сказать, что совсем недолго размышляла лагерная дрянь-инфекция, эта гнилостная аура всякого человеческого скопления, прежде, чем вцепиться в мою худющую пацанячью плоть. Полагаю, её привлекла и моя вызывающе тоще-ребристая телесная конструкция, — кожа да кости, — которая не мешала, впрочем, моей тогдашней неуёмной прыткости. Подозреваю, что и моя явная антипатия к любого рода массовкам, могла спровоцировать скарлатинную заразу на цепкую мстительность. Начинался всего только третий день лагерного лета, разгоралось лишь второе утро моего оздоровления в чистовоздушном и красногогалстучном оазисе посёлка Высокий.

Инфекционная больница, куда отвезли меня из Высокого, была расположена где-то у чёрта на рогах. Нынешние, уже вполне обжитые, пространства жилмассива Новые Дома тогда и вправду являлись дальними выселками харьковских топографических рогов и копыт. Там меня врачевали ежедневными уколами около трёх недель. Не смотря на нежный девятилетний возраст и на царапающую горло скарлатину, постепенно оживающий пациент, помнится, уже с интересом присматривался к обводам фигур медсестёр под милосердно-белыми халатами. Как раз к концу июня, а значит, к истечению срока оздоровительной пионерской путёвки, я возвратился уже в наше новое семейное жилище — в двухкомнатную квартиру в доме на углу Московского проспекта и площади Фейербаха.

#### МЕЖДУ РУДНЕВЫМ И ФЕЙЕРБАХОМ

Можно добавить, что, только что выстроенное, это здание, имело собственное архитектурное лицо, счастливо избежав стандартной коробкообразной планировки. Четырёхэтажный в двух, перпендикулярных друг другу, крыльях, наш дом возвышался по центру шестью этажами своей центральной башни. Что-то, пожалуй, присутствовало в его силуэте от скромно-достойного родственника семёрки известных московско-сталинских пирамидальных строений. И каменная его фигура, в свежем покрытии светло-охристой керамической плиткой, выглядела весьма значительно на видном месте — как раз напротив сквера на площади героя гражданской войны Николая Руднева.

*Там, где площадь героя Руднева  
вместе с площадью Фейербаха  
не сулят мне огня попутного,  
там черства школяра рубаха...*

Ранее на площади стояла церковь, которую срубили «добившейся освобождения своею собственной рукой» ещё в 30-ые годы. В 56-ом же году, о котором идёт речь, на входе в обширный

сквер булькал и сипел, судорожно, с неизменными перебоями и усыханиями, фонтан, украшенный разверзшим пасть крокодилом. Хищная рептилия возвышалась, как и всюду в такого рода сооружениях, на сложенном, словно бы по скифскому обычаю, кургане булыжников по центру фонтана. Разве что у наших воинственных предков и их идолов курганы были земляными, а фонтанному «крокоидолу» насыпь досталась каменная, из гранитных глыб. Лет через десять после нашего поселения в этих городских координатах рептилия, очень напоминавшая выражением круглых глаз ответственного партаппаратчика, была заменена памятником собственно Николаю Рудневу — монументальным, в полный рост, в развевающейся шинели и на высоком постаменте. Его могильная плита с 18-го года располагалась в глубине сквера, у центрального входа в дворцеобразное, ещё царских времён, здание нынешнего Областного апелляционного суда.

Несколько позже в разговоре с родным мне человеком, Марфой Романовной Шелковой-Цыбаненко, я неожиданно узнал, что именно она сопровождала тело погибшего под Царицыном восемнадцатилетнего Руднева при перевозке его с фронта в столично-большевистский тогда Харьков железной дорогой. В тот самый Харьков, который тульский паренёк Коля Руднев храбро оборонял ещё в конце 1917-го от войск германского кайзера, и привезли его тело в 18-ом году для торжественного погребения.

Прямо напротив фонтана с крокодилом-партийцем, ещё до установки рудневского монумента, существовала долгое время трамвайная остановка, от которой трамваи, — пятый, двадцать четвёртый и прочие, — двигались, дребезжа в железно-паралитической тональности, по Московскому проспекту в сторону Конного базара, дворца культуры завода ХЭМЗ, футбольного стадиона «Авангард» и дурдома, 36-ой психбольницы, именуемой издавна Сабуровой дачей. Но в обиходе, как водится, чуть более сложный для губ звук «у» давно перешёл в легко выдыхаемый «о», и харьковская «дурка» именовалась не иначе, как Саборкой. Сабуркой её, ей Богу, никто сроду не называл.

Только существенно позже, уже повзрослев, я узнал, что на Сабуровой даче поправляли своё здоровье такие неотъемлемые от отечественной культуры персоналии, как Всеволод Гаршин,

Михаил Врубель, Велимир Хлебников и Эдуард Савенко-Лимоннов. А в те, мои мальчишеские времена, история 36-ой, а позже и теперь 15-ой, психбольницы меня ничуть не занимала.

Зато никак не мог обойти меня стороной в те начальные, рудневско-фейербаховские, школьные годы всплеск бурного интереса горожан к харьковской команде «Авангард», которая каждый сезон из последних сил боролась за выживание в высшей футбольной лиге СССР. Вот в тот период, и ненадолго, на один только из весенне-летних сезонов, я каким-то образом проникся местным патриотизмом и энтузиазмом болельщика безнадёжной, в общем-то, команды. И чтоб увидеть воочию, как, например, кряжистый форвард Николай Королёв забивает один единственный, решающий, гол в ворота грозного тогда тбилисского «Динамо», я без малейших сомнений взбирался на стальную колбасу позади набитого под завязку 5-го трамвая, торопясь проехать три-четыре остановки к окрестностям стадиона «Авангард».

Пятёрка ползла к Конному базару и к стадиону от самого парка Горького, тащилась добрый десяток остановок через весь Центр, весь Нагорный район, пока добиралась до рудневского фонтана с каменным крокодилом у моего 43-го дома на Московском проспекте. К этому моменту трамвай уже был до отказа набит множеством особей мужского пола. Горячо упревшие, дурно пахнущие, они во весь голос, радостно-возбуждённым матом-перематом, обсуждали подробности предстоящего футбольного сражения. Жёлто-красные, помятые и обшарпанные, стенки трамвая, казалось, выгибались-выпучивались наружу из последних сил, но железная массивная балка-колбаса позади второго вагона оставалась обычно свободной. Видимо, всё же центровые жители не обладали в своей массе той оперативной закалкой и натаской, которую босяцкие просторы заводской околицы прививали своим малолетним воспитанникам — жёстко и естественно, основательно и накрепко.

Одним словом, я проезжал свои три-четыре остановки до «Авангарда» на персональном, хотя и стоячем, бесплатном месте, крепко ухватившись пальцами за резиновые полоски-уплотнения заднего трамвайного стекла. Плюс — вдыхал на ходу ноздрями, с явным удовольствием, пусть не сверхзвуковой, но всё

же заметный, напор уличного воздуха, такого свежего по сравнению с раскалённой и душливой вагонной атмосферой. Впрочем, и эти романтические поездки на футбол, — можно сказать, почти что верхом, — надоели мне за один сезон по причинам скорей психологическим, чем осознанно-философским. Слишком уж физически ощутимо растворяла стихия хаоса отдельно взятую личность в аморфном колыпании толпы, которая медленно и густо втекала согласно законам гидродинамики в тесные ворота стадиона на бандюковской Плехановской улице. Сама суть моего малолетнего существа протестовала против этого насильственного превращения, пусть и на короткое время, в частицу то ли пульпы-животины, то ли селевой массы.

Пожалуй, все эти трамвайные и гидродинамические движения с моим участием происходили года на два-три позже нашего семейного переселения на Московский проспект летом 56-го года. Возвращаюсь, после неизбежных, видимо, отступлений, по несущему пунктиру хронологии к концу июня 56-го. В эти дни, после трёх недель, проведённых в инфекционной больнице, «девяtilетний беззаконник», имя которого из скромности не стану произносить вслух лишний раз, прибыл наконец в новое семейное жилище, в котором ещё ни разу до сих пор не объявлялся. Двухкомнатная тесноватая квартира, в которой комнаты и кухня вагонным вариантом протянулись по одной линии, располагалась во втором подъезде — как раз в башенной шестизэтажной части строения номер 43 по Московскому проспекту. Девятилетним я уже почти стал к тому моменту — через три недели, 21 июля, мне исполнялось девять, а «беззаконником», надо признать, оставался ещё вполне очевидным — дерзким, окраинно-размашистым, непокорным и, пожалуй, в некотором первичном варианте, самодостаточным.

Очередное подтверждение тезиса суверенности, — в который уже по счёту раз! — не заставило себя долго ждать. Карты были раскрыты уже в тот самый, дебютный для меня на новом месте, июньский день. Спустившись по непривычно-новой, ещё не истёртой подошвами жильцов, лестнице с четвёртого этажа, я вышел в замкнутый кривоватый прямоугольник двора. Новая моя территория, довольно тесноватая, ограничивалась со всех

сторон кирпичными стенами разной фактуры, возраста и колера. Но я с удовлетворением отметил одно несомненное достоинство своего каменного двора.

Почти из-под самой краснокирпичной, закопчённой и замурзанной, стены кухонного блока железнодорожной больницы росла и уже поднималась кроной над крышей строения высокая и ветвистая шелковица. Её белые и уже поспевшие к концу июня ягоды, значительно большие по размеру, чем более частые для тутовника красно-фиолетовые, изредка, но с надёжным постоянством шлёпались прямо на дворовый щербатый асфальт. В тишине мирного летнего дня отчётливо раздавались звуки их мягких шлепков-приземлений. Забросив тут же в рот для пробы пару ягод, которым повезло не расплющиться при падении, я словно бы освежил в памяти предыдущее луганское лето. Тамошние пенаты вблизи Каменного брода тоже были рады-богаты этими шелковицами, сорно-бесхозно растущими там, где им заблагорассудилось, и обильно плодоносящими. Белые ягоды тутовника — пресно-сладковаты и простовато-водянисты на вкус, а фиолетовые бывают настолько хороши на языке, что недаром порой именуются в обиходе «божьими вишнями».

Идиллию сбора июньских ягод белой шелковицы нарушило появление в пространстве двора тощей фигуры подростка, который неторопливо выходил из четвёртого, последнего по счёту, подъезда. На вид ему было на пару лет побольше, чем мне. Первым моим знакомцем в новом доме оказался, как выяснилось вскоре, Вовка Якименко, хлопец незлобливой нравы со смуглым цветом свежего лица. Налёт ленцы и меланхолии просматривался в его иронично-карих хохлацких глазах.

Трудно сейчас сказать, отчего наше знакомство с неагрессивным по характеру Вовкой в тот день не вполне удалось. Скорей всего основной причиной нашего столкновения послужила моя уличная выучка, обрётённая во множестве недавних поселковых стычек и драк. В среде малолетней шпаны моих вчерашних мест обитания достаточно было неверного слова, сомнительной интонации, неясной тени, промелькнувшей во взгляде незнакомца, для мгновенной вспышки бикфордова шнура, взрыва и потасовки.

*И ветер дует по-над зоной-дачей,  
шпана влетает на ходу в трамваи,  
ещё до драки там спешат со сдачей...  
Так отчего лишь «здравствуй!», не иначе,  
я школе той, без номера, киваю?..*

Быстро и решительно заехать в терц потенциальному противнику считалось делом абсолютно правильным там, где и сегодня улицу имени 12 апреля всё ещё украшает въезд в тюремную зону. Там, где и до сих пор на сотни метров протянулся глухой бетонный забор с гирляндами колючей проволоки. Быстро и решительно, путём опережающего удара — такого рода действия и составляли первейшую аксиому выживания в тамошних складках местности.

Должно быть, врождённая ленивая насмешливость в карих глазах Вовки Якименко и показалась мне тогда неким намёком на вызов. Несомненно и то, что, услышав при кратком знакомстве о своих двух годах возрастного преимущества передо мной, Вовка не стал выражать достаточной учтивости. До прямой перепалки диалог как будто и не дошёл, но всё же в некий момент разговора, на какой-то режущей слух ноте, мне показалось, что следует правильно и точно расставить акценты.

Два года возрастной разницы в интервале между мальчишескими девятью и одиннадцатью — довольно существенная фора, и потому Яким явно не ожидал резких и активных действий с моей стороны. Так что, ясное дело, вполне неожиданно получил он быструю и точную серию ударов мелкотравчатыми, но хлесткими кулачками по свежим румяно-смуглым скулам. Пары секунд Вовкиной оторопи хватило на то, чтобы, вслед за стартовой боксёрской серией, я цепко обхватил его вокруг пояса. Обхватил — вместе с его запоздало-неподнятыми руками, согнувшись и крепко упираясь щекой куда-то в тощие вовкины рёбра. Пыхтя и подталкивая более крупного противника в этом, почти лаокооновом сцеплении-клинче, я смог затолкать его в свежескрашенный тамбур своего второго подъезда, из которого десять минут назад вышел прогуляться в тесноватый каменно-асфальтовый двор с единственным, счастливо уцелевшим, деревом бе-

лоплодной шелковицы. Получалось по всему, что дебютная прогулка складывалась интересно.

Сценарий стычки продолжал разворачиваться тактически грамотно, с нарастанием очков на счету юниора. Зажатому в тесном углу, Якименке не удавалось оказать сколько-нибудь внятного сопротивления. А выпущенный лишь сегодня из инфекционной больницы питомец станкозаводских пустырей, освобождая на мгновение левую руку, успел ещё раза два-три протиснуться хуком, снизу вверх, в направлении склонённой вниз вовкиной физиономии.

Через пять минут обоюдного пыхтения и клинчевого топтания на месте у масляно-синей стенки тамбура мы с Якимом по молчаливому согласию и с явным облегчением разошлись восвояси. При всей внешней агрессивности телодвижений того дня, никакой внутренней злости к противнику я совершенно не ощущал. Примечательно, что в дальнейшем, после скоротечной стычки при первом знакомстве, наши отношения с Вовкой вовсе не стали враждебными. Их даже можно было бы определить как некую сдержанную симпатию, крепчающую с течением времени. Как ровное и спокойное взаимоуважение при сохранении дистанции. Здесь, конечно, сыграл свою роль добродушный и незлопамятный характер краснощёкого Якименки, ни разу так и не высказавшего какой-либо обиды по следам нашей дебютной схватки под сенью июньской шелковицы.

В отличие, кстати, от крайне злопамятного нрава другого моего дворового приятеля-соперника тех лет, Игоря Степунина. Упитанный и плотный, словно вылепленный из теста, Игорь жил в первом подъезде, который располагался рядом с аркой, ведущей во двор со стороны площади философа Фейербаха. Его мать, Тамара Михайловна, она же тётя Тома, нередко заглядывавшая по-соседски к нам в гости, именovala старшего сына то Игуней, то Игусей. Младший сын у Степуниных звался без фантазий — просто Виталиком. В 56-ом году, и наверное, ещё пару последующих лет, внешность Игуси вполне соответствовала его колыбельно-уменьшительному имени: «Жили у бабуся — Игуси-агуси...» Отличался он, как уже сказано, сдобно-сферическим



телосложением, домашним воспитанием, и потому в тот момент совершенно не был готов к жёсткости дворовых споров.

С некоторым стыдом и сожалением, поскольку, повзрослев, мы остались с Игорем во вполне приятельских отношениях, должен признаться, что Игуне Степунину тоже пришлось однажды пострадать от моих окраинно-прямолинейных, мазутно-пролетарских замашек. В один из серых осенних дней, «когда пилотам, скажем прямо, делать нечего», в один из тех же, срединно-шестидесятых, годов — 65-ый ли, 66-ой? — по самым несущественным детско-дурацким причинам, которые уже и припомнить никак невозможно, толстяк Игуся из первого подъезда был повален посредством простейшей подсечки более мелким, но более прытким оппонентом из подъезда номер два. Повален на асфальт прямо под собственным балконом, получив при этом пару символических лёгких пинков — всего только для обозначения дворового статус-кво.

Поднявшись со щербатого асфальта, плача от обиды, Игуня поспешил скрыться в своём первом околоарочном подъезде. Но в молодой своей душе он затаил при этом некоторую грубость. Подобно одному из героев рассказа Зоценко, электрику, которого нерадивый фотограф мутновато снял на карточку. Как выяснилось вскоре, эта некоторая грубость Игуси вполне заслужила право именоваться лютой ненавистью и жаждой мести. Через пару лет мой сосед и приятель стал расти, как на дрожжах, ещё более раздаваться в своих и без того широких объёмах, матереть прямо на глазах, обгоняя меня в росте и весе на многие сантиметры и килограммы. Тогда же он со свирепостью объявил мне, что час возмездия настал. Наверное, всю весну и всё лето того Года Мести он упорно и безуспешно, с горящими глазами и страшными угрозами на устах, пытался приблизиться ко мне на убойное расстояние. Но изловить по-прежнему прыткого обидчика, догнать меня из-за своей тяжести и громоздкости ему никак не удавалось. Это явно добавляло ему всякий раз очередную порцию танталовых мук.

И всё же дискомфорт от неустанной и всегда направленной на меня лютой ненависти мне изрядно надоел. И однажды, кажется, уже на второй год преследований, будучи в благодушном

настроении от только что прилетевшей с тёплым ветром весенней погоды, я привычно отпрянул от наезжающего на меня тяжеловеса Игуси метров на пять. Но тут же, неожиданно для себя самого, остановился у решётки соседнего Сельхозинститута, сквозь прутья которой я обычно проскальзывал в заставленный комбайнами и молотилками двор, оставляя таким простейшим приёмом непроходящего по габаритам крупняка Степунина по другую сторону нашей с ним границы добра и зла.

— Ну, ты достал, Игуся! Ну, надоел со своей беготнёй! Хочешь крови, чудовище, — так хрен же с тобой! Лей, не жалей! — произнёс я на удивление спокойно, всё ещё оставаясь большей частью своих ощущений в благодати только что нахлынувшей на город первой весенней нирваны.

Игуся от неожиданности как-то разом утратил весь накал поедавшей его нутро ненависти. Неумело и неловко, как-то совсем вяло, он ткнул то ли раз, то ли полтора своим мясистым кулачищем в тощее плечо исторического противника, хотя и намеревался, возможно, попасть в ненавистную физиономию. Но то ли он от полноты чувств промахнулся, то ли коварный его враг уклонился в сторону неуловимым движением — этого уже никто через полвека с лишком не в силах установить. Во всяком случае, пламя Игусиной страсти явно иссякло, и акт справедливого возмездия формально осуществился. Значительно позже, видимо, в честь этого примирившего нас со Степуниным эпизода, резвые курильщики из «Роллинг Стоунз» возьмут да и напишут одну из своих известнейших песен под названием «Сатисфэйшен».

Лето 56-го года полетело дальше на пыльных городских крыльях, оставив позади мой неудачный лагерный дебют со скарлатиной и первые нелёгкие шаги знакомств во дворе нового центрального дома. На новом месте предстояло прежде всего определиться с подходящей школой. С наступлением августа семья занялась поисками места учёбы для третьеклассника. Ближайшей к нашему дому оказалась 35-ая, расположенная через пять домов, на противоположном краю нашего же квартала — на улице героя-комсомольца Чигирина. В прежние времена, ещё до появления на свет смелого комсомольца, улица носила название Дворянской.

Здание той самой 35-ой средней школы в нынешние новейшие, то есть подлейшие, времена было оперативно выкуплено и капитально отремонтировано на новые партденьги. Стало быть, на не пахнущее бабло, добытое вымогательством, мздоимством, подлогом, воровством, и другими отработанными способами де-рибана, в результате усилий семейной пары хищных голубков, парочки матёрых чиновников-пройдох из горсовета. Выглядели бывшие заотделами, нахапавшиеся под завязку, чрезвычайно довольными собой, постоянно сохраняя на акульких физиономиях улыбки как некую претензию на обаяние. Награбленного им вполне хватило для реализации имеджевого проекта — для превращения старинного строения 35-ой школы в частный выставочный центр под игривой вывеской «На Дворянской». Дворяне, мать их так, — с отхожего коммунацкого, с навозного комсомольского двора... Тускло мерцающее золото партии...

Чуть далее вверх по Московскому проспекту, ещё ровно через квартал от нашего 43-го дома, на Харьковской набережной возвышалось, обращённое фасадом к реке, здание 30-ой школы — сооружение монументальное и тоже дореволюционной постройки. Простояв несколько десятилетий выкрашенным в безнадёжно-серый, сталински-стальной, цепко-цементный колер, в нынешние продвинутые времена оно красуется в нежно-розовой штукатурке, возвышаясь при взгляде, например, с Харьковского моста во всей своей архитектурной красе.

Однако район Харькова, на территории которого соседствовали друг с другом и с моим новым домом 30-ая и 35-ая школы, никак не мог считаться благополучным. О фейербаховских, то есть о живших в старых доходных домах и в ещё более древних одноэтажных развалах на улице Фейербаха и на его же, герра Людвига, площади, упорно циркулировала дурная слава. Их именовали шпаной, сязками, раклами и хулиганами, которых хлебом не корми, а только дай напиться и учинить драку с поножовщиной. Впрочем, едва ли не каждый район послевоенного Харькова всеми силами поддерживал собственную лихую славу такого рода. И на ХТЗ, и на Плехановской, и на Тюринке, и на Холодной горе — повсюду агрессивной и опасной, дерзкой и наглой шпаны более, чем хватало.

Родители погрузились в раздумье. Переводить своего, только-только ставшего подавать надежды, ученика после напрочь босяцкого заводского посёлка в столь же сомнительную по репутации, пусть и центровую, школу семья остерегалась. Обдумывались различные варианты более отдалённых, но благопристойных учебных заведений. В конце концов подходящее решение было предложено отцовой матерью, бабой Анной, вновь возникшей на семейном горизонте.

Строптивая и своенравная, чернявая и огнеглазая, она семь лет упрямо игнорировала наше поселковое житьё-бытьё, после того, как отец с матерью и со мною, ещё двухлетним, вынуждены были убраться из квартиры в старом Нагорном районе, не ужившись именно с ней, на заводскую окраину-обочину. Ныне же, видимо, наступил этап некоторого потепления семейных отношений, и подоспело время совместного собирания разбросанных камней. Анна Алексеевна работала в областном аптекоуправлении, заведую галеновым отделом. Называлось это подразделение также, несколько ближе к жизни, отделом ядов. В бабе Анне, управляющей ядами, несомненно угадывалась истинная родительница моего отца, ибо именно от неё передалась ему по наследству жёстко-упорная, а в минуты гнева намертво сжатая в волевом усилии, линия рта. Передалось и то самое, заводное с пол-оборота бешенство гневного взгляда навывкате, которое я про себя всегда именовал бесноватым выпучком,

Аптечное управление размещалось неподалёку от нашего дома, как раз за ближним мостом через речку Харьков, на углу Харьковской же, соответственно, набережной и Гражданской улицы. Старинное двухэтажное его здание, модерн, видимо, уже начала двадцатого века, было не без изящества украшено фасадом с волнистым верхним абрисом и выразительной лепкой. Симметрично обрамляя с двух сторон центральный вход в управление, тянулись вверх лепные вертикали цветущих ветвей, и пара стройных девичьих фигур в хитонах протягивала то ли небесам, то ли всем болящим и страждущим аллегорические чаши с целительным зельем.

На Гражданской как раз с 1 сентября 56-го года открывали новую, только что выстроенную, школу. Об этом обстоятельстве

и сообщила родителям, очень своевременно, баба Анна, советуя присмотреться к свежоштукатуренной красотище средней школы № 9. Вариант с Гражданской улицей и девятой школой и был сочтён на семейном совете самым подходящим. Новое, с иголки, здание и впрямь выглядело очень эффектно — четырёхэтажное, девственно-белоснежное, украшенное строго прочерченными по фасаду высокими окнами. Вся эта просветлённая картина, конечно, подпитывала и мои, проснувшиеся, пожалуй, лишь сейчас, надежды на некое, совсем нового качества, ученическое будущее.

В девятую среднюю школу я и пошёл в третий класс в начале осени 56-го года, впервые за все свои школярские годы с охотой и энтузиазмом, предчувствуя многие перемены к лучшему. Двинулся солнечным утром первого сентября по асфальту Московского проспекта в направлении речки, прокладывая на целых девять лет вперёд свой почти ежедневный, — за вычетом воскресных и каникулярных дней, — челночный маршрут. Пять минут движения до Харьковского моста, поворот, уже на втором, дальнем, берегу направо и после двухсот метров пути по набережной, возле угла скульптурной фабрики, — последний поворот налево, на Гражданскую. В целом десять минут бодрой ходьбы — почти всегда поспешной, на грани опоздания. Ровно столько времени требовалось тому школяру-школярику день за днём, год за годом, чтобы достичь на финише обязательного утреннего маршрута входной школьной лестницы, неизменно внушавшей почтение своей шириной-высотой и своей строгой парадностью.

*То был почти не я, поскольку время,  
скорей чернявка-сучка, чем Дружок,  
разлаялось со мной по полной схеме —  
развеяло по ветру мака семя,  
подсолнуха подгрызло корешок...*

Намного приятней судорожной утренней спешки выглядела возможность снова стать самим собой на обратном пути из школы домой. При ходьбе вразвалку, с обозрением окрестностей, на дорогу уходило уже минут двадцать. Да и то, при условии, что на

этом маршруте ты не ввязывался ни в какие животрепещущие приключения, вроде поисков и ловли майских раков в осоке под крутым, дальним, берегом. Или же вроде азартных, разливающих румянец по щекам, скольжений на подошвах по прозрачной зелени льда на замёрзшей зимней речке.

С двух сторон Харьковского моста, разделённые асфальтом проспекта и бегущими вдоль него трамвайными рельсами, возвышаются на гранитных пирамидах скульптурные группы государственной важности. На гранитном постаменте, который я огибаю, поворачивая к школе, делают решительный шаг вперёд, — он же — и дружный шаг на месте, — сыны двух братских народов. Мост открыт в 1954-ом, к трёхсотлетию так называемого Воссоединения Украины с Россией и украшен соответственно идее кровного родства. Старший русский брат с окладистой бородой и младший брат-хохол, — с вислыми, как водится, «вусами», — замерли в позе синхронной устремлённости, призванной изобразить состояние единого порыва. Общий силуэт изваяния этой пары здоровенных мужиков до боли похож на уже ставший непререкаемой классикой мухинский монумент «Рабочий и колхозница».

Впрочем, и пролетарий с отбойным молотком не плече, и колхозница со стальным снопом жита присутствуют, взявшись за руки, так же, как и братья-славяне, точнее сказать, так же надёжно несут идеологическую вахту, — на своей, противоположной, стороне моста. И вся эта дружная четвёрка казённых персонажей выкрашена почему-то в густой чёрный колер. Чумазая краска очень напоминает мне совсем недавнее и близкое — смолу моей вчерашней малой родины — гибло-шальной околицы станкозаводского посёлка, смолу, так заманчиво кипевшую в железных бочках тамошних рабочих-ремонтников. За неимением лучших символов веры, — а их никто почему-то и не пытался тогда предложить мне предметно, а не на уровне формальной болтовни, — олоадская смола воистину прикипала к душе неприкаянного, ни к кому и ни к чему не прилепленного, бродяжки-школяра. И то сладко льнул к ноздрям в холодном воздухе смолистый запах от чумазого костра, летящий вслед за клочковатым чёрным дымом. То разминался в мальчишеских пальцах обломок тускло-

блестящего скола смолы из закопчённого дьявольского бочонка, брошенного костровыми мужиками на ночь.

Смолу, размягчённую теплом руки и скатанную в шарики, можно прицепить к концу нитки. Вот и готово орудие лова со смоляной наживкой для тарантулов, живущих в вертикальных норах среди жесткой травы пустыря. Опускай уду в нору и подёргивай нитку терпеливо, раз за разом, если хочешь вытащить на поверхность чёрного мохнатого паука, вцепившегося в смоляную каплю.

*Так где же он, тот отрок приткий,  
что на пустырь через забор  
спешил — куском смолы на нитке  
удить тарантулов из нор?..*

Так и остаётся мой фантомный окраинный Голем, в силу личных биографических подробностей, вылепленным не из одной лишь адамовой глины. Чутко, словно некий инфернальный музыкант, вздрагивает он смоляными ноздрями, губами и пальцами, оживляя давний заманчиво-дымный запах предзимних пустырей. А для полноты эффекта перемещения во времени — рядом со смоляной железной бочкой пузырится в луже кусок синеватого карбида. Брошенный мной в воду, он пускает волшебные пузыри химической реакции и дразнит обоняние резким запахом ацетилена — в тон смоляному духу диковатых костров.

Выкрашенные чёрно-смоляной краской, четверо стальных или чугунных гегемонов на мосту выглядят, хотя и мрачно-чумазыми, но мускулистыми и непоколебимыми. Куда хуже сложились дела со здоровьем у другого персонажа новейшей харьковской квазиистории — как раз под боком у того же, гремящего трамваями, моста, на стыке Московского и Киевского районов, вчера ещё — районов Сталинского и Кагановического. Известный городской картёжник, катала по кличке Пол Пот, однажды был обнаружен без признаков жизни, то есть зарезанным за карточные долги, именно под тем самым Харьковским мостом, Или же под Московским, как его тоже логично именуют, в силу того, что протянут он именно по Московскому проспекту, перпенди-

кулярно речке Харьков. Произошла, правда, эта неприятность с игроком, каталой и кидалой, существенно позже времён моих челночно-школярских снований по юбилейному мосту:

*Железный ГОСТ — Московский мост,  
которым в харьковскую школу я шагаю:  
под ним лежит, пером пришит,  
Пол Пот-картёжник, корешам своим мигая.  
На этот мост, где в полный рост  
стоят чугунные крестьянка и рабочий,  
ползёт трамвай, и старых свай  
со дна чернеют столбенеющие очи...*

Лицезреть харьковского Пол Пота под своим мостом мне не довелось. А называть мост своим я, по чести говоря, очень даже вправе — и по выслуге пешеходных лет, и потому хотя бы, что другого столь тесно вплетённого в биографическую канву моста у меня больше не было. И столбенеющие очи чёрных свай, скользкие верхушки пеньков, остатки старых деревянных опор прежнего, разрушенного перехода до сих пор ясно видны мне сквозь неглубокую, давно утекшую воду нашей речки. И необычные встречи под размашисто-широкой дугой моста, неожиданные находки в его сырой тени — до сих пор остаются в памяти как неотъемлемо-личное и кровное.

Именно там продолжают светиться кристально-прозрачными краями льдины одной из тех ранних школярских зим, когда морозы и снега были ещё настоящими. Прыгаю через расколы и промоины льда под моим мостом. Гул и вибрация стального великана над головой возникают всякий раз — даже при осторожном и замедленном вползании на его дугу очередного трамвая — «пятёрки», «двадцать четвёрки», «двойки». Этой зимой мудрецы-коммунальщики спустили по ясным только им причинам почти всю воду в реке, и лёд под мостом, на самом мелком месте, осел почти до дна, потрескался и обнажил под студёной январской водой чёрно-гнилые пеньки, останки свай прежнего деревянного моста.

Кое-где лёд опустился до самого грунта, воды осталось — совсем ничего, но в трещинах льда она заструилась стремитель-



ней, прозрачнее и зеленей. Перепрыгиваю попеременно то по отколам льдин, то по чёрно-скользким, но ещё крепким пенькам. Вглядываюсь в течение, в котором изредка заметны промелки рыбьей мелочи. И вдруг неожиданно-ясно, ярко и сфокусированно вижу в промоине небольшую изящно-продолговатую молодую щучку. Она стоит хрящеватым носом к напору воды, преодолевая силу течения подрагиванием прозрачных плавников. Всматриваюсь почти восхищённо — ни за что бы не поверил, что в здешних бросовых водах может проблеснуть такое совершенное создание.

Хорошо видны выпукло-прозрачные и пристально-охотничьи глаза над рыльцем юной хищницы, виден узор её раскраски-маскировки — желтовато-зелёные и серо-оливковые полосы и пятна. Увы, при первом же моём лишнем, неосторожном движении это мимолётное совершенство исчезает в узкой щели между дном и опавшим пластом льда.

Те зимние мои щучьи наблюдения, те первородные пленэры, — ибо что ещё, как не живая и дышащая, совершенная в своей подлинности, художническая суть мира радовала меня тогда? — происходили на ближнем к нашему дому, предмостном, берегу. Ближний берег стелился полого, в отличие от заречного, круто-обрывистого. И, стало быть, согласно физике вращения планеты, ближний берег следовало именовать левым и восточным, яко же и у батки Днипра, да и прочих потоков, устремлённых на полдень к Азову и Эвксинскому Понту. На дальнем же, за мостом, правом берегу остались навсегда мои счастливые минуты ловли прибрежных весенних раков. Те охотничьи поиски в зарослях осоки принадлежали уже майским дням, наверное, лучшим в году. Тем дням, что несли с собой и первое щедро-тёплое солнце, и ожидание скорого финиша школьных забот, что ничуть не меньше согревало душу.

Помнится, с огромным нетерпением дожидался в те дни окончания последнего урока, чтобы мигом пробежать двести метров от школы до уже зазеленевшей первой травой береговой кручи. Осторожно, боком, мелкими шагами-ступеньками спускался по склону к стоячей тёплой воде, к тростниково-осоковым зарослям. Надо думать, что тогда, в середине 60-ых, вода в нашей

незавидной речке, с не слишком благозвучным именем Харьков, была ещё не окончательно сгублена «химией-синюхой». Ибо на хорошо прогретом мелководье среди стеблей прибрежной осоки можно было отыскать в те солнечные майские дни настоящих, никогда ещё третьеклассником не виданных, самок-рачих, одетых в шершавые панцири серо-зелёного болотного колера.

Снизу к материнским хвостам с поперечными полосками хитина прилепливались обильные сгустки рачьей икры, мелких живых искр того же болотного цвета. Исследую, зажав в приткой мальчишеской пятерне рачьи клешни, и рачиху, и её икриные богатства. Осматриваю изящно-страшноватое существо со всех сторон. И ощутив себя настоящим охотником-добытчиком, почувствовав неподдельную тяжесть трофея в руке, отпускаю шершаво-панцирного зверя в осоку, в мутновато-тёплую воду. Проходит ещё несколько дней, и рачихи исчезают из осоки — куда и зачем, им виднее. Какое-то у них своё расписание, им удобная и понятная цикличность приходов и уходов. Прощайте, фактурные твари из моего созвездия Зодиака! Вернее, до свидания — совсем нескорого, через четверть века. До охоты уже более плотоядной, когда пришлось мне часа два таскать самопальную раколовку по дну заводи Донца в Мартовой на пару с одним профессором сопроматных наук — непревзойдённым ценителем выпивона и закусона.

#### ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Мою первую учительницу в новой школе на Гражданской улице звали Людмила Александровна Анищенко. Совсем ещё молодая, она только что закончила то ли университет имени Горького, то ли пединститут имени Сковороды — с уклоном в преподавание английского языка. Карие глаза ярко светились на её лице с крупными, не вполне правильными, но энергичными чертами. Добрая и весёлая её улыбка, без усилий вспыхивавшая мне навстречу, и вовсе подкупила меня с первых дней нашего школьного знакомства. Некоторые опыты влюблённости к девяти го-

дам у меня уже были. Довольно долгое время не утихал мой интерес к сверстнице и однокласснице, крупной и светловолосой Наташке Чичмарь.

Знакомство с ней, возникшее ещё в старшей группе станко-заводского детсада, продолжилось, когда мы оказались в одном первом классе 104-ой школы — питомцами Любви Васильевны Мильской. Но, если в детсаду весь год мои отношения с Чичмой были совершенно бесконтактными и ограничивались лишь заинтересованными взглядами издалека, то с переходом в статус школяра моё увлечение нею обрело несколько воспалённые формы. Я то норовил при всяком удобном случае дёрнуть Наташку за тугие светло-русые косы, а то и вовсе пытался ухватить её за руку, что выглядело нелепо и даже несколько дико в кругу всех прочих, вполне уравновешенных учеников. Один я и был на весь первый класс такой баламутный и озабоченный. Наташка отбивалась, как могла, не спеша, однако, жаловаться на меня учительнице Любовь-Васильевне.

Закончилась эта первичная «лав стори», а заодно и все проявления моей аномальной резвости, в одночасье, осенью того же первого школьного года, когда я не то чтобы обиделся, но скорее принял решение обидеться на постоянную строптивость моей потенциальной возлюбленной. Скорей всего, неизменные убегания-ускользания белокурой Чичмы, её не слишком обидные, но и не лестные эпитеты в мой адрес, а в особенности моя собственная, утомительно повторяющаяся, суетливость в какой-то момент мне окончательно надоели. И в этот самый момент принятое мной решение «баста!», без каких бы то ни было душевных мук, — чему даже я сам был несколько удивлён, — отменило раз и навсегда мои прежние романтические поползновения, нацеленные на Наташку Чичмарь.

Но и потребность в собственной влюблённости, и надежда на ответное чувство, конечно же, не могли покинуть тоще-ребристое, прыткое и впечатлительное и явно жизнелюбивое существо девяти лет от роду. Ситуация в семье в этом отношении оставалась для меня стабильно патовой. Суровый и быстрый на расправу отец Константин Иванович, взяв на себя абсолютно диктаторские полномочия, продолжал оттачивать на излишне

энергичном и резвом старшем сыне избранную им простую и понятную тактику утешения и подавления.

Мать оставалась ко мне неизменно равнодушной и холодной. Подозреваю, что я крепко допёк её, раз и навсегда, своей, сказать бы, априорной нежеланностью. Допёк, сам того не желая, смутной, тревогой и неясностью первых девяти месяцев моего полупролегалного прорастания в чреве и чрезвычайно трудными и болезненными родами в славном городе Львове. Туда, в галицийскую столицу, к моей бабке и своей матушке Ольге Ильиничне, мать и приехала перед родами, в тот самый момент, когда бравый красавец-волейболист Константин Иванович из всех сил торопился догулять недогулянное, дообъять необъятное. Недаром материнское молоко при моём рождении у мамы Валентины так и не появилось. Не появилось совсем — даже для какого-либо разговора. На размытом фоне этой весьма болезненной для меня психологической ситуации всё ещё возникает и тут же уклончиво уплывает в сторону упитанно-розовая и фальшиво-улыбчивая физиономия младшего брата. Уж ему-то, родившемуся через три года после меня и целый год с лишком сладко-жадно чмокавшему материнскими молоком, повезло с основным инстинктом нашей мамы Вали явно больше, чем первенцу.

Увы, на мою долю ни одного глотка амброзии при рождении от матери не досталось, также, как и позже не перепало от неё ни одного доброго слова. Хотя и отдаю ей по справедливости низкий поклон за то, что воз и телегу угрюмых домашних забот она тащила на себе сполна все смутные и нищие годы. За то, что делала, — чаще всего почти из ничего, при близких к нулю совдеповских доходах — всё, что могла. За то, наконец, что и любила меня, если судить по двум десятилетиям забот, своей собственной странной любовью, той самой, внешне вяло-равнодушной, словно не находящей сил выдавить из себя даже малого выплеска теплоты.

Определённый проблеск артистизма и склонности к словотворчеству в непростой натуре мамы Вали, впрочем, присутствовал и, проявляясь время от времени, радовал меня сам по себе, как творческое явление. Не зря, наверное, ещё в своей самаркандской юности, в эвакуации, она поступила в Ленинградский

институт кино и отучилась в нём два года перед своим переездом в Харьков. Некоторые из спонтанных афоризмов моей «Валентины Витаминовны» врезались в память навсегда. Как, например, энергично-выразительный, пятикратно-пятиклинный глагол повелительной формы, вбиваемый в слух старшего сына, которому совсем не хотелось глотать за кухонным столом неизменное клейко-серое варено, малосъедобную всесоюзную пшёнку-перловку: «А ну, давай-иди-садись-бери-ешь!»

Или же возмущённый посыл в тот же сыновий адрес, когда исчерпав все аргументы в очередном споре, но не растерявшись, мама Валя, провозглашала: «А ты! А ты — пошёл бы лучше постригся! Вон, весь закуёвжденный какой!» Это вовсе веселившее мой слух словцо «закуёвжденный» долго оставалось для меня отчасти загадочным — понятным, но без особо точного перевода. Но не забывалось, а пощипывало остро-лакомо на языке, вроде спелой ягоды ежевики. Уже существенно позже я уточнил, полистав словари, что колюче-взъерошенное слово обозначало-обличало кого-то не просто «взлосмаченного», но всклокоченного в высшей степени — чуть ли не спутанными в ежевичные заросли волосами. Какое-то совсем пропащее существо «с колтуном в волосах», как у мужика-бедолаги из некрасовской «Железной дороги».

Горячий и зелёный Луганск с любимой бабушкой Марфой Романовной был далеко, и минувшим scarlatinно-пионерским летом родители не захотели отправить меня в те края, где мне неизменно бывало хорошо. Собственно, не разрешил поездку всё и всегда решавший самостоятельно отец, взревновавший меня, по моему ощущению, к моим луганским старикам. И, видимо, мне по-настоящему повезло в начале сентября, когда симпатия, возникшая у меня при первой встрече с молодой учительницей в новой школе, оказалась явно взаимной. Людмила Александровна неизменно откликалась на мои взоры с третьей парты встречной нежностью ярких и влажных своих глазищ. И ни конопушки на её молодом свежем лице, ни заметно укрупнённый её профиль, несколько птичьего или рулевого очертания, не могли внести ни малейших сомнений в моё горячее и радостное чувство при виде классной руководительницы Анищенко.

То есть, слава Богу, в 9-ю школу мне было к кому приходить, и моё посещение уроков стало безупречно стопроцентным. Ни о каких других отметках, кроме пятёрок, в течение двух лет, в третьем и четвёртом, классах и речи быть не могло. Любовь — великая сила, да и все первичные школьные премудрости входили в моё сознание совершенно естественно и ненатужно. И слушал я, и в особенности отвечал, с охотой, лёгкостью и радостью. К тому же царица-грамматика, которой именно в эти начальные годы средняя школа отдаёт львиную долю учебных часов, укладывалось в моё разумение, словно бы по маслу, без малейшего затруднения. Как-то мы с ней априорно дружили и с полуслова понимали друг друга. То есть, можно смело сказать, что и с грамматикой, так же, как и с Людмилой Александровной, у меня сложилась тогда сама по себе, точнее, благоволением судьбы, полная гармония отношений.

Все эти имена существительные были словно бы давным-давно сущими в моём собственном существе, а прилагательные узнавались как живые и знакомые ко мне же приложения. Глагольные формы, роды, числа, падежи и наклонения узнавались как некая нотная грамота уже обосновавшейся во мне внутренней музыки языка. В общем, к этой скучнейшей для большинства дисциплине, грамматике, я определённо ощущал явное чувство родства. Но, впрочем, ни грамматика и никакая другая из дружественных школьных наук, не могли хоть сколько-нибудь заметно отвлечь меня от любви и благодарности к Людмиле Александровне — от чувства живого и живимого ответными взорами. — «Суха теория, мой друг! Но древо жизни вечно зеленеет...»

Что же касается ритмических всплесков подспудно зреющей во мне языковой стихии, то оживают как первые их свидетельства, ещё только шестилетнего возраста, летние походы с Марфой Романовной от нашего тополиного участка в Луганске к детсаду, по булыжным мостовым бандитского Каменного Брода. Эти наши маршруты повторялись не более двух недель, до того самого дня, когда, играя в кегли на дощатом полу детсада, я загнал себе в руку огромную занозу, целую щепку, прошедшую насквозь под всем ногтем среднего пальца.

И оживают не только смутные взвеси и туманности множественных детских фобий, сопровождавшие те десятиминутные переходы. Не только чувство жути от громохання колёс поезда на железнодорожном переезде, — жарких, огромных, диаметром в мой рост, магнитно-гипнотически затягивающих под свое убийственное железо. Не только ожидания неминуемых нападений каменнобродских каннибалов, что заталкивают в своих подвалах мясо жертв в огромные мясорубки. Такие истории упорно витали над послевоенной бандитской слободой, и очень может быть, не без реальных оснований, вослед недавнему очередному голоду 46-го — 47-го годов.

К счастью, оживают не только эти, плывущие над всей пыльной дорогой, ощущения почти тотальной и врождённой тревоги, но и совсем иные минуты — лёгкости и просветления. Минуты осенённости и, словно бы, спасаемости музыкой. То ли милиционера в синем мундире, то ли бродягу-пьяницу в серых грязных лохмотьях успевали благополучно миновать мы с Марфой Романовной, то ли расстались наконец, после трёх минут беседы, с каким-то местным знакомцем бабушки, которого я уже панически и не числил никем иным, кроме как людоедом из Мясного Брода. То ли уже почти добрались на обратном пути к родному участку на Второй линии, но в какой-то момент приходила вместе с лёгкостью и успокоением та самая моя собственная первичная музыка. Возникало невнятное ритмическое бормотание, выпевание на ходу косноязычной, тарабарской, но рвущейся наружу просодии. Появлялось новое дыхание, вдвое более сильное и обещающее — как будто из тридесятого пространства-времени на лету подаренное. И всего-то — на ходу, в такт счастливым шагам, бормоталось: «пара-па-пам, тара-та-там». А нашаманило и наворожило, ещё тогда, — на всю мою жизнь, на сотни песен, на десятки книг.

В конце первой осени нашего общения с Людмилой Александровной молодая и ясноглазая энтузиастка, — а наш класс был её педагогическим дебютом после окончания ею высшего образования, — затеяла постановку одновременно двух спектаклей силами нашего третьего класса. Выбор первого произведения, пушкинской «Сказки о попе и работнике его Балде», был не просто

почтительной данью классике. И на мой сегодняшний, взрослый взгляд, это был наилучший выбор для ученической постановки — остроумная, лаконичная, исполненная естественной народной мудрости вещь, воистину достойная редкостного пушкинского дара. Вторым опусом, который мы принялись репетировать параллельно с «Балдой» в актовом зале на четвёртом, с высоченными окнами, этаже школы, оказалось маловнятное нечто, вполне в духе того времени. То была проволочно-картонная по художественному исполнению и ханжески-наставительная по сути история о судьбе хорошего мальчика из бедной американской семьи. Фальшивка о том, как этот херувим пролетарского происхождения вынужден стоять днём и ночью в качестве живого манекена в витрине буржуйского магазина. Магазин сей вражеский сияет капиталистическими огнями в самом центре прогнившего города жёлтого дьявола. Разумеется, даже на самой безнадёжно-порочной улице — на нью-йоркском Бродвее. Ну, и так далее — с нагнетанием страстей в том же нарастающе-обличительном духе.

Обе центральные роли в постановках режиссёра Людмилы Анищенко, — и классического доброго молодца Балды, и остро-актуального американского гуд-боя, живого борца с буржуазными нравами, — достались одному и тому же ученику. И кто бы это мог, например, быть? Конечно же, на волне нашего, самого что ни есть подлинного, чувства Людмила Александровна без колебаний вручила обе роли своему любимому ученику. Не станем, опять же, называть вслух его имени.

Окидывая ныне усталым, но ретроспективным взором все последующие полвека моей жизни и борьбы в искусстве, я не нахожу ничего и близко сравнимого с тем великодушным доверием, которым одарила меня, девятилетнего, моя учительница. Девушка двадцати с небольшим лет с ярко-кариыми светящимися глазами, с нежными конопушками на щеках и на задорно-рулевым, словно бы энергично устремлённом вперёд, носу. Порой, нет-нет, да и возникает у меня ощущение, что она-то, Людмила Александровна, и была правее и прозорливее большинства последующих режиссёров и редакторов моей биографии.

Балду я изображал в чесучовой, желтоватого оттенка, рубашке из той пары рубаш, которые вышила баба Саша для нас с братом



Дмитрием ещё год назад — традиционным васильково-голубым ведическим узором. Верёвку-подпояску для рубахи, служившую также и орудием молодецкого наезда Балды на бесов, — по принципу «воду морщить, чтобы вас, чертей, корчить», — выделила мать из своего инвентаря для сушки белья. В общем, лицедейство в роли бравого работника и пройдохи Балды меня умеренно заинтересовало и сложилось более или менее успешно. Во всяком случае, все слова пушкинского оригинала были продекламированы мной со сцены осознанно и без искажений и запинок. Наверное, даже с тем самым умеренно-актёрским «выражением», которого так добивалась от меня на репетициях моя незабываемая режиссёрша Анищенко. После спектакля раздумывавшаяся Людмила Александровна возбуждённо нахваливала и актёра-дебютанта, и его рубаху-вышиванку. «Ничего» — скупой отозвалась и пришедшая на представление мама Валентина.

Во второй, идеологически-заострённой, пьеске отрицательным персонажем, в противовес мне, сугубо позитивному, выступал буржуйский мальчик Бен. У Бенджамина ли Франклина или у лондонской часовой башни позаимствовал автор драмы разоблачительное имя — неведомо. И так же, как не запомнилось имя моего собственного героя, не вспомню сейчас и того из одноклассников, кто изображал плохого Бенджамина, бед-Бена. Но диалоги американских недорослей, озвучивавшие борьбу сил добра и зла, запомнились весьма основательно. Вот буржуёнок бед-Бен, цинично и капризно, топая толстой ножкой, требует у своего папы-миroeда купить ему мальчика-манекена из витрины. Я же из своей бродвейской, залитой неонов витрины, резонно и с рифмами, возражаю зарвавшемуся наглецу:

*Ах, не шуми ты, злой и глупый Бен!  
Я мальчик, я совсем не манекен.  
Отец погиб с фашистами в бою,  
за корку хлеба я в окне стою...*

Фигурировала в той, поучительной сценической истории, созданной для ума посредственного или ниже среднего, и некая благородная девочка с розовыми бантами в белокрысых во-

лосах. Главной её задачей по ходу пьесы была моральная поддержка мальчика, витринного труженика. Естественно, и мне полагалось бросать на неё благодарные ответные взгляды, возлагая на неё же некие смутные надежды. Видимо, надежды на успехи в борьбе за мир во всём мире, а также на скорую и окончательную победу коммунизма на всём Бродвее и на всей многострадаальной планете. К этим грядущим историческим победам я относился совершенно спокойно, то есть вполне фиолетово. Но вот исполнительница роли девочки в розовых тонах, Люба Гороховатская с предпоследней парты среднего ряда, меня очень сильно раздражала. Сейчас уже трудно сказать, чем она мне не угодила. Поросячьими ли, голубыми глазками или же выпученной по-мартышечьи верхней губой в сочетании с несколько скошенным подбородком? Не знаю, что именно так не устраивало меня в ней, но на фоне этой не вполне адекватной реакции на Гороховатскую даже вполне симпатичное имя Любовь стало мне представляться никуда не годным.

Вполне возможно, что смутная поначалу антипатия особенно усилилась после нашего совместного сценического действия, когда моему отцу почему-то показалась остроумной идея подначивать меня якобы возникшим у меня мужским интересом к этой самой Любе. Пару-тройку раз он с ироническим видом интересовался, как идёт развитие наших с ней лирических отношений. Тактичность уж наверняка никогда не принадлежала к числу его личных достоинств. Но, как бы там ни было с мелкими частностями моих отношений со сверстниками внутри класса, два года наших с Людмилой Александровной школьных трудов, два года взаимной и неизменной симпатии, стали для меня периодом наибольшего благоприятствования, как принято формулировать в терминах последнего времени.

Возникло и никуда не собиралось уходить изрядное, подкреплённое исходной пылкостью темперамента, честолюбие, некий комплекс отличника и первого ученика. Какая-либо оценка, кроме пятёрки, представлялась уже почти катастрофой. Согнутая в локте и поднятая над партой эдаким угловатым бумерангом рука умоляла и требовала обратить на себя учительское внимание, позволить охотнику за баллами снова и снова блес-

нуть быстрой реакцией и правильным ответом. Не сомневаюсь, что большую часть моих соучеников такая азартная неуёмность единственного в классе отличника сильно раздражала. Но не могу отбросить и той мысли, что мой пятёрочный ажиотаж, возникший после двух лет полной апатии в 104-ой школе, способствовал неплохой первичной тренировке юных мозгов.

Мой собственный азарт подкреплялся ещё и энергичным влиянием иного рода — жёстким и неусыпным отцовским контролем. Теперь, работая в проектном институте, пусть и на ответственной позиции главного инженера, отец возвращался домой уже не в десять-одиннадцать, как в станкозаводские цеховые времена, а около семи вечера и мог себе позволить регулярные и въедливые разборки с моими школьными делами. При каждой из таких торжественно-значительных проверок моего прилежания, проводимых талантливым организатором и руководителем, я, разумеется, должен был стоять у стола по стойке смирно слева от родителя, пока он придиричиво и с неизменно мрачным видом исследовал все записи в тетрадях и школьном дневнике.

Думаю, что и моему характеру, и несущей линии биографии дали довольно многое именно те два года в новой школе на Гражданской улице, в полусотне шагов от речной набережной. Тогда, помимо домашней отцовской тирании, что в общем тоже оставило, полагаю, некий позитив, — и по логике насилия, и по логике от обратного, — коснулось меня и почти любовное благоволение. Коснулись чуткость и великодушие моей молодой учительницы. Полагаю, что её доброта, её притяжение женственности-слабости пригодились моему взрослению куда больше, чем постоянные партийно-начальственные распекаания властителя-отца.

Во всяком случае, многое изменилось в моём характере и образе действий за первые два года учёбы в новой школе на набережной. И изменилось, скорее всего, в лучшую сторону. Былые ежедневные боевые действия уличного задиры ушли в небытие. Драки с Вовкой Якименко и Игусей Степуниным, промелькнувшие ещё в начале нашего переселения, оказались едва ли не лебединой песней молодого дворового ястреба. Книжки, колониальные марки, географические карты, тетради в клетку и косую линию со школьной премудростью притягивали к столу и занима-

ли почти всё моё время. Теперь уже на улице, я стал появляться совсем редко, да и то — не в поисках приключений, а будучи при деле — с брезентовым собачьим поводком в руках и с чёрно-золотистой чепрачной овчаркой у левой ноги.

Отец сразу же после переезда на новое место завёл, взамен нашего прежнего бастарда-полуовчара, поселково-серого кобеля Тарзана, настоящую чистокровную немецкую овчарку, с многоколенно-безупречной родословной. Назвали девочку-щенка Ладой, и это имя осталось в нашем семейном собаководческом обиходе на долгие десятилетия. Ещё две сучки, жившие у нас вслед за первой Ладой, носили это же имя. Но первая Ладка была и умней, и по характеру ласковее и общительней других, и несравненно ярче своих последовательниц — всем чёрно-золотистым чепрачным окрасом, всей стройно-ладной статью. Она и отличилась при вторых своих родах сверхщедрым приплодом — в тринадцать щенков, тогда как вторая и третья её тёзки сподобились лишь на одного и двух детёнышей:

*Как славно улыбается собака,  
восточно-европейская овчарка!  
Хоть эта раса очень схожа с волком,  
и морды их — ну, на одно лицо...*

*Как честно улыбается собака  
чистейшего чепрачного окраса, —  
приветливая преданная Лада  
на стройных золотящихся ногах!*

*Как умно улыбается собака,  
с клыков язык потешно свесив на бок!  
Её глаза доверием лучатся  
и многое умеют говорить.*

*И говорят они: «Я понимаю  
не только «Фас, апорт, вперёд и рядом» —  
мне ведомо ещё совсем иное.  
Но главное — я очень вас люблю!..»*

Кстати, в воспоминаниях моих о том щедром весеннем приплоде золотистой Ладки из тринадцати щенков, стойко присутствует и нисколько не выветривается водянистый запах-привкус и синеватый отсвет-переплеск новой порции того самого метафорического молока, которое вынесено мной в заголовок этих записок. Строгий отец-организатор поднимает меня в полутьме холодного февральского утра, и с алюминиевым трёхлитровым бидоном в руках я спешу на угол Московского проспекта и улицы Чигирина, чтобы успеть отстоять свой караул в тошнотворно-вседержавной толчее у молочного магазина.

Притопываю продрогшими ногами на сыром асфальте улицы, уже за ступенями входа в лавку, и надеюсь, что скудный товар прежде моей очереди не иссякнет и что мне посчастливится принести очередную дозу подкорма щенкам-молокососам. Материнского молока такой ораве явно не хватает. Не хватает всем желающим и синевато-водянистого нектара в молочной на углу, а прийти домой с пустыми руками — значит явно нарваться на отцовский мрачный и раздражённый взгляд. Конечно же, по дороге, я глотаю иногда из бидона глоток-другой, но никак не больше, ибо совершенно точно знаю, что никто мне дома и этой пары глотков не предложит.

Ну что же, это всего лишь обычные подробности жизни того полунищего времени. А в остальном — всё хорошо, особенно в школе! Из артефактов же тех особенных для меня двух школярских лет только и осталось, что наклеенная на картон фотография 4-Г класса, где лучший ученик, «водивший в парк чепрачную овчарку», удостоен чести быть стиснутым в самом центре снимка с двух сторон своей любимой учительницей и старшей школьной пионервожатой с довольно добрым круглым лицом, — кажется, Светланой Васильевной. Прямо над моей головой, освящая всю композицию, возвышается ложно-мраморный белоснежный бюст пролетарского вождя Ульянова-Ленина, имя которого забыть невозможно, поскольку оно влетало в глаза и в уши отовсюду и на каждом шагу. Это официозное изваяние неизменно украшало-охраняло все годы учёбы сцену актового зала 9-ой средней школы, где тяжёлые плюшевые шторы тёмно-малино-

вого колера торжественно окантованы по вертикальным краям тускло-золотой бахромой.

Сохранилась и книжка в картонном переплёте «Дорогой ветров», написанная профессиональным палеонтологом и популярным в те годы фантастом Иваном Ефремовым. Книгу подарила мне Людмила Александровна с нежной надписью, которая началась словами «моему любимому ученику» и заканчивалась пожеланием ему же — «пройти своей собственной дорогой ветров». Помимо того, что и сами эти слова читались по сути как письменное признание в любви, о которой нам с учительницей давно и хорошо было известно, так трогательно было видеть впервые вне страниц казённого школьного дневника её округлый и чёткий, такой знакомый мне, почерк.

Книгу она мне вручила в начале осени 58-го года при нашей последней, как оказалось, встрече. Заглянула после уроков в наш уже пятый класс, начиная с которого, как известно, наступает новая стадия ученичества, когда из объятий одного преподавателя школяры попадают в руки множества наставников, каждый из которых ведёт свою дисциплину. За минувшее лето Людмила Александровна перевелась из 9-ой школы в другую, где для неё появилась возможность преподавать английский, её основной предмет. Как-то я в тот сентябрьский день и не сообразил, что свидание наше с ней может оказаться последним.

Да, и неловко к тому же эта встреча сложилась. Галина, наша новая классная дама, не преминула отчитать на выходе из класса, как заметил я краем глаза, мою Людмилу Александровну — за вызывающе неуставной характер наших отношений. Непедагогично, мол, ему выделяться из сплочённого пионерского коллектива, а Вам, уважаемая, его выделять. У орлиноносой Галины, всегда безапелляционной в своих прямолинейных атаках-агитках, и в дальнейшем подход ко мне был неустанно строгим и бдительным: «Шелковый, надо быть не отличником, а человеком!». Видимо, согласно своей фамилии, Корнеева, она всякий раз стремилась смотреть в самый корень. Однако, применительно к ней самой этот лозунг «быть человеком!» обозначал, что на уроках истории, которые она по идее должна была у нас в классе

вести, большая часть времени неизменно посвящалась ею назидательно-воспитательной нудной говорильне.

О самой же науке истории никто из нас за несколько лет её учительских трудов так и не получил, увы, почти никакого представления. Кстати, теперь, когда большую часть моего чтения составляют именно книги по истории, я нередко сожалею о не выстроенном тогда, — и не по моей вине, — серьёзном внутреннем фундаменте этой особенной науки. Галина Ивановна, впрочем, обладала массой других несомненных достоинств, как то: всегда погимнастически выпрямленными спиной и плечами, гордо и бодро поднятым вверх подбородком и неиссякаемой энергией в инициации всё новых пионерских починов — то поездка в стольную Москву, то катание на лыжах в пригородных Померках, то ещё какие-то вечера-праздники-посиделки классного «Отряда дружных»...

Но это уже слова из другого разговора, а тогда, в тот осенний день, я и не заметил, как понеслись вперёд наши с Людмилой Александровной дороги ветров, расходясь и никогда уже больше не пересекаясь. Полетели, каждая над своими ухабами, над своими перепадами страстей и событий, вдоль своих турбулентностей, но, к сожалению, уже ни разу в будущем не сблизившись и не соприкоснувшись. Долго, в запале и в цейтноте, в пыли и в слякоти своего собственного путевого движения, не вспоминал я свою необыкновенную учительницу. Но сейчас снова думаю о ней со счастливо вернувшейся, по-прежнему живою, теплотой и знаю, что осталось у меня от двух наших далёких школьных лет намного больше, чем классная фотография на картонке и неуставная книжка Ивана Ефремова. Осталось то, что и до сих пор по-настоящему согревает душу. Где же ты, нынешняя? И ещё острее и безнадёжней: где ты — та, молодая, любимая и ясноглазая?

### И СНОВА ЧЁРНЫЙ ГИБКИЙ ЛЕБЕДЬ...

Коллекция высших баллов по разным предметам, как бы азартно и настойчиво не пополнял я её день за днём, всё же никогда не могла стать моим любимым и заветным собранием цен-

ностей. Марки, эти трогательно-миниатюрные и лаконичные изображения, такие заманчивые, даже на уровне текстильных импульсов, касаний, эти украшенные зубчатой рамкой-обводкой демократические иконки для малых и бедных, вот что долгие годы оставалось предметом моего собирания, почитания и изучения. Именно над марками в любую минуту можно было негромко отдохнуть, посвежев и взором, и душой. Из песни слов не выбросить, и я уже вспомнил здесь, чуть ранее, четыре строчки из своих мальчишеских смоляных и карбидных ямбов тех времён. Удивительным образом наживка смолы для тарантулов и сами мохнатые пауки оказались связанными ходом событий и с моими первыми марками — афористически краткими письмами необъятного внешнего мира. И вправду, каждая марка — уже маленькое письмо! И потому продолжу эти, ничуть не искажённые рифмами, воспоминания:

*Так где же он, тот отрок прыткий,  
что на пустырь через забор  
спешил — куском смолы на нитке  
удить тарантулов из нор?  
Что в школьном кафельном подвале,  
где смутно пахло табаком,  
на ромбы Африк и Австралий  
менял добытых пауков?..  
И, вечерами впившись в марки,  
наутро ахинею нёс*

*про острова, про, сверху жаркий  
и ледяной внутри, кокос...  
Где он? Немногое осталось —  
в пузатой тумбе под столом  
притих обидевшийся малость,  
давно не листанный альбом.  
Там иногда в зубчатом небе  
года плывут наоборот,  
и снова чёрный гибкий лебедь  
навстречу медленно плывёт...*



Действительно, в этих бумажных квадратиках и прямоугольниках, реже, — ух ты! — в ромбах и треугольниках, в этих, словно ребяческих, творениях художника и печатника ощущался совершенно особенный, исходно-талантливый, замысел. Даже само прикосновение краешками пальцев, — при осторожно затаённом дыхании, — к невесомым клочкам почтового хлопка и папируса напоминало о трепете многоцветных и хрупких крыльев бабочек, о подрагивании чешуек, ворсинок, спиралевидных усиков. Набоковские мотыльки своенравно порхали над листьями и обложками марочных альбомов. Высвечивались особи и персоналии и суверенно-живого, и договорно-литературного генома: там любимцы Сирина, здесь любимцы Мандельштама, летучие мусульманки, кусавы и красавицы:

*Ау, «Египетская марка»!  
Тебя касаясь языком,  
лоскут нездешнего подарка  
леплю в мальчишеский альбом...*

Марки затеял приносить мне отец — довольно рано, ещё в дошкольные станкозаводские времена. Сначала это была бросовая гашёнка — потрёпанные, надорванные марки, нередко густо выпачканные смазанной штемпельной краской. Чаще всего они были грубо и поспешно вырезаны вместе с бумажной подложкой из конвертов почты станкозавода. Их следовало отмачивать в тёплой воде и сушить под прессом, следя за тем, чтобы остатками клея они снова не прилепились к бумаге. Потом неласковое поселковое житьё-бытьё, да и жизнь всей огромной расхристанной нехристь-державы, стали постепенно подниматься над щебнем послевоенной разрухи. Появились новые, пока ещё очень скромные, возможности.

Первый мой марочный поход с отцом, в возрасте, наверное, лет около шести, в книжный магазин на углу улицы Мира и проспекта Орджоникидзе впечатлил меня незабываемо. Под стеклом витрины светились ещё невиданные до сих пор, непривычно чистые марки. Вдохновляло и новое слово — коллекционные! Заветные картинки, скомпонованные в наборы, штук по

пять-семь, были заботливо-аккуратно упакованы в прозрачный целлофан. Тогда, в самом начале пятидесятых годов, печать на марках была в основном монохромной, то, что называется в типографиях — в одну краску. Но какими же совершенными и безупречными казались мне эти одноцветные варианты! — Густо-розовый Салават Юлаев, отважный сын башкирского народа, 40 коп.; коричнево-жёлтый, на чудесной нежно-лимонного колера бумаге, великий воин Албании Скандербег, 40 коп.; синесерый советский герой-партизан, в ватнике и зимней шапке, взметнувший гранату над стальными касками оккупантов, по той же стабильной госцене. Львиная доля почтовых отпечатков украшалась именно этой строгой государственной строкой текста: Почта СССР и 40 коп.

Следующий, совсем уже серьёзный, номинал тоже, как и 40 коп., не менялся все бесконечно долгие и безнадёжно нудные годы правления Генеральных секретарей ЦК КПСС и составлял ровно рубль, что выглядело в марочном исполнении как «1 руб.» Иные почтовые номиналы встречались значительно реже. Как говорил, уже намного позже, на моих одномесечных армейских сборах в Черкассах старшина роты «товарыш Ковбасэнко»: «Обовязково должно быть единообразие!» В знаках почтовой оплаты СССР это государственной важности «единообразие» подтверждалось в течение десятилетий самыми стабильными в мире номиналами — 40 коп. и 1 руб.

Марки с первым спутником Земли 57-го года, уже периода обитания нашей семьи вблизи Харьковской набережной, стали для меня как бы вершиной полиграфического исполнения в том скудельно-аскетическом одноколерном стиле, который вполне соответствовал самому характеру небогатого времени, не дававшего никаких реальных надежд на лучшее будущее. При том, что самые громкие и беззастенчивые слова обещаний день и ночь не сходили с газетных страниц и с голосовых связок дикторов радиостанций. «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей!», зато мы запустили на орбиту сияющий металлический шарик с сигналящими усами антенн: «Бип-бип» — гип-гип, ура!

Отпечатки, посвящённые первому спутнику, и вправду выглядели очень лаконично и значительно в своей предельной

простоте: взвешенный в пространстве земной шар динамично окольцовывала орбита спутника, теперь уже навсегда и для всего мира — Спутника с большой буквы. Эти экстренно выпущенные, желанные и с трудом добываемые, марки существовали в двух вариантах — с одинаковым рисунком, но с разным цветом отпечатков. Одна была отпечатана в ярком густо-голубом цвете. Во второй, более редкой, марке сине-зелёный колер рисунка, оттенка морской волны, удачно ложился на синеватую бумагу.

Тут же, вслед первому металлическому шарик, запущенному 4-го октября, вышел на орбиту в самом начале ноября и второй летательный аппарат — сорокалетие Великого Октября встречалось ракетчиками тогда ещё секретного Главного конструктора Сергея Королёва в полный рост и по полной программе. Серия марок, посвящённая второму запуску, тоже не задержалась с выходом в свет и сразу же, раз и навсегда, стала для меня одной из самых любимых. Не могу отказать себе в удовольствии ещё одного, тридесятого, взглядывания в это живое и ничуть не потускневшее прошлое, полное, впрочем, самых противоречивых импульсов.

Четыре марки, светло-коричневого, василькового, карминового и светло-зелёного тонов, отпечатанные уже в несколько красок, но без всякого намёка на вульгарную рекламно-ярмарочную пестроту, повторяли и умножали одно и то же изображение. Фигура молодой нимфы-босоножки, — она же, бесспорно, и изваяние родины-матери, — в развевающихся античных одеждах, опиралась на северную макушку земного шара. Её правая рука со спутником устремлялась по диагонали изображения в просторы Вселенной. Официозный барабанный треск о покорении оных пространств не утихал уже целый месяц. Было даже удивительно, как это раньше гражданам страны Советов удавалось жить, не бороздя ежедневно с самого утра безбрежные вселенские дали.

Агитки — агитками, но великолепная в своей основе идея-фикс космоплавания крепко и надолго приросла к моим отроческим фантазиям, питаемая, в частности, и плакатными символами знаков почтовой оплаты. Приросла настолько основательно, что даже моё выпускное сочинение по русскому языку, некая пафосная поэма о покорении неисчислимых звёздных миров,

заполнила ровно 24 страницы школьной тетради. И начиналась она как раз в стилистке торжественных марочных изображений 57-го года:

*Лети впредь, мечтаний каравелла!  
Сквозь измеренья всех веков лети!  
И покоряй величьем мысли смелой  
парсеки и столетия пути...*

Каравелла отроческих мечтаний с тех пор очень крепко побилась и исцарапалась о скальный быт, разве что не разбившись о него окончательно, подобно любовной лодке поэта Маяковского. И всё-таки звездоплавателем я и до сих пор продолжаю оставаться в немалой степени, хотя ни за какие коврижки уже не стану писать новую поэму на двенадцати листах — ни на межзвёздную, ни на какую иную тему. К тому же, куда предметней и уютней, чем астронавтом или колонистом Соляриса, я ощущал себя тогда одновременно Зверобоем и Оцеолой, вождём семинолов, капитаном Немо и Робинзоном, укутанным в лохматые звериные шкуры. И все эти романтические герои тиснённых золотом томов «Библиотеки приключений» очень родственно перекликались с более близкими пространствами моего марочного мира, с живым притяжением стран-колоний. О, само это несравненное волшебное слово — колонии!

От одного только звучания этого обобщённого имени недосягаемых стран и океанских побережий дыхание перехватывало. Вкус и запах летящего оттуда ветра пьянил и дурманил юное воображение. Когда же к сакральному паролю «колония» добавлялись ещё и экзотические заклинания песен-имён — Французская Гвиана, Бельгийское Конго, Тринидад и Тобаго, Кения-Уганда-Танганьика, Испанская Гвинея и Сахара и ещё великое множество других — тогда каждая из надписей на штемпелёванном почтовом сокровище казалась торжественной клятвой о будущей полноте жизни. Тогда каждая зубчатая картинка будоражила смутным и неодолимым предчувствием страннического счастья.

О, эти, колдовству подобные, медальоны в верхних углах марок с профилем английской королевы! Эти овальные окош-

ки в миры тропического буйства, в заросли избыточно-праздничной, природы! На двух любимых марках, с тройным гражданством Кения-Уганда-Танганьика, отпечатано стадо вздыбивших хоботы слонов. Естественно, туземное слоновье пиршество предварено имперским передним планом — портретным овалом с безмятежной венценосной Викторией, где верхушка рамки осежена верноподданными негритянскими копьями. Две гравюры-металлографии с рефреном слоновьего рая — фиолетовая с розовыми полосками неба, закатной африканской поры, и голубая, одноцветная — полуденная.

Впрочем, туземные копья, так заботливо осенявшие марочную рамку королевского портрета, как раз к тому времени пятидесятих годов успели отдать свои острия-наконечники правому делу национально-освободительного движения африканских народов. Марки тройных наименований и всех этих Бельгийских Конго, тропические пейзажи и звериные стада, непременно помеченные скучно-значительными фейсами европейских монархов, безвозвратно уходили в прошлое. Лично мне, не смотря на мою вполне надёжную школярско-советскую якобы-политграмотность и солидарность со свободолюбивыми народами всех континентов, было жаль терпких и пряных колониальных названий, исчезающих с географической карты.

Но к счастью, маленькие цветные картинки с зубцами, те слепки-свидетельства давних-других и, пожалуй, с каждым годом всё более дорогих, времён сохранились и до сегодня под синей замшевой обложкой моего альбома рижской фабрики «Яунцименс». Сохранились, в раритетном, бытовавшем ещё до эпохи классеров, варианте хранения — прикреплённые аккуратнейшим образом прозрачными наклейками к плотным чёрным листам альбома. То была тонкая и ответственная работа пальцами и глазомером, языком и затаённым дыханием — прикрепить свою бумажную драгоценность крохотной ножкой наклейки к плоскости листа, не смазать клей на обороте марки, сохранить все симметрии и стройность вертикалей-горизонталей при посадке на альбомное место. Не измять, упаси Бог, невесомого лоскутка хлопка, «не тронуть пальцами пыльцы» на крыльях колониальной набоковской и викторианской бабочки.

Увесистые кляссеры с космическими марками, хлынувшими на рынок, начиная с 57-го года, и пополнявшими с каждым годом всё более пёстрый и массовый поток, теснятся на моих книжных полках во множестве. Но тот альбом в синей замшевой обложке, изделие добротной латвийской работы, альбом с коллекцией фауны, с уже почти доисторическими прозрачными марочными наклейками, остаётся единственным и неповторимым. И почти треть объёма этих звериных, птичьих и рыбьих марок составляют именно колониальные сюжеты, возлюбленные смалу-смолоду и до сих пор не утратившие своего магнитного притяжения, свежего и бодрящего, и одновременно ласково-тёплого, словно ветер с южного океана...

И как же не припомнить снова по имени, пока ещё причудливый пунктир мемуарных записок не удалился в иные координаты, хотя бы несколько излюбленных образчиков из своей самой заветной марочной записки! Вот снова вскинул свои смертоносные бивни и трубящее мясо хобота исполин-слонище на двух мелованных Испанских Гвинеях, светло-зелёной и мягко-охристой, вот двоится вилорогая антилопа на двух многоцветных, тоже мелованных, Бельгийских Конго — вторая марка уже с красной надпечаткой освобождения — «Конго»... Вот газель, опираясь передними копытцами о ствол дерева, тянется к зелени на изысканно рельефной металлографии Французского Сомали, и вот, наконец, слаженно пикирует тройца всегда любимых мною летунов-стрижей на трёх горизонтальных однотонных меловках Ифни, испанского владения в Северной Африке.

Эти марки испанских колоний, гордость моего отроческого «зверолюбивого» собрания, всегда идеально чистые однотонные офсеты на мелованной бумаге, выходившие сериями по две-три штуки, добывал для меня в конце пятидесятых годов в своих, мне совершенно недоступных, филателистических кругах Николай Иванович Пирогов, матёрый коллекционер и обладатель полных систематических собраний марок страны Советов и едва ли не всех братских социалистических стран. Видимо, почти все свои доходы директора областного аптекоуправления Николай Иванович вбухивал в предмет своей страсти — в неисчислимые,

находившиеся в идеальном состоянии, серии марок политической благонадёжных, по раскладу того времени, государств.

Испанские колонии не были подарком для меня, хотя Пирогов и приходился мне дальним родичем, тридесатой водой на киселе. Приобретения, довольно, впрочем, нечастые, благосклонно оплачивала для внука баба Саша, Александра Ивановна, жившая долгие годы в одной коммуналке с Пироговыми. А степень родства директора аптекоуправления и нашей семьи выяснилась для меня только совсем недавно. И объяснила мне ситуацию в апреле 2008 года в своей киевской квартире на Воздухофлотском проспекте, через тридцать с лишним лет после смерти Пирогова, вдова моего двоюродного деда, генерала авиации Владимира Ильича Гаркуши. Она-то и сообщила, что Пирогов вырос приёмным сыном в семье Анны Ильиничны, приходившейся старшей сестрой и генералу Гаркуше, и моей родной бабке по материнской линии, Ольге Ильиничне. Кажется, тогда мне стала ещё понятней та давняя симпатия, которую Николай Иванович Пирогов неизменно выражал по отношению ко мне в пятидесятые и шестидесятые годы, выкладывая на стол очередную серию экзотической колониальной фауны.

К тому же поблагодарил я генеральскую вдову, Александру Тимофеевну, не только из вежливости, но и потому, что даже столь позднее уточнение обстоятельств биографии Пирогова показалось мне довольно ценной для меня информацией. Ибо он, сам того не желая, сыграл в обстоятельствах самого моего появления на свет довольно важную роль. Именно в коммунальной квартире на последнем этаже дома по Мироносицкой улице, в старом центре Харькова, где, помимо семьи Пироговых, жившей в двух огромных, напроць захламлённых комнатах, обитала в третьей, тесной, комнатухе Александра Ивановна Шелковая, тётка моего отца, в ту пору строгий декан фармацевтического института, встретились впервые осенью 46-го года мои отец и мать.

Мать, уже учившаяся в Харьковском Политехе, жила на правах родственницы на квартире у Пироговых. Вот оно — ключевое участие в цепи событий матёрого филателиста и ответственного аптекаря! Отец же только что возвратился в Харьков из Москвы после двух лет студенческих сессий в Бауманском Высшем

Техническом училище и прочих своих тамошних приключений. Многое говорит о том, что чуть ли не в первые дни после этой встречи решил для меня, — правда, тогда лишь в первом чтении, — гамлетовский вопрос «быть или не быть?».

*В миг осеннего зачатья  
враз надломлены печати  
векового сургуча. —  
Искрой брызнул буквиц бисер,  
с нищим звоном выпал мизер,  
проблеснул загар плеча...*

Конечно, на стечение всех тех креативных для меня обстоятельств была, несомненно, воля небес. Скорей всего, и бравый волейболист Котя, он же Константин Иванович, выглядел в ту пору неотразимо. И девушка Валентина Денисова созрела. Но и трёхкомнатная коммуналка Пироговых и Александры Ивановны на улице Дзержинской-Мироносицкой, то бишь, на пересечении дьявольской и околоангельской линий, сыграла свою скромную, но вполне реальную роль в непредсказуемом броуновском движении живых фигур по смутной карте местности, по координатам невнятных времён..

И вот теперь, уже в новом веке и в новом тысячелетии добралась до меня, из уст почти девяностолетней Александры Тимофеевны, ещё одна давняя подробность человеческих отношений. Касалась она тех, кого уже сорок и десять лет нет среди живых, то есть, Пирогова и моей бабки Александры Ивановны. Довольно неожиданно для себя я услышал, что Пирогов, мужчина серьёзный и пребывавший на ответственной должности, потеряв в 46-ом году жену, сделал через пару лет официальное предложение моей бабке Александре Ивановне, своей соседке по дзержинско-мироносицкой коммуналке. Баба Саша, надо сказать, всегда была особой с очень энергичным и независимым характером, отчего, так никогда и не выходила замуж. На момент пироговского предложения ей и было-то всего сорок с небольшим, но брак не состоялся — в первую очередь потому, что дочь Пирогова, Ирина, долговазая и громоздкая девица, очень похожая лицом на отца, была



категорически против. Не исключено, и даже вполне вероятно, что в этом её протесте присутствовала изрядная доля обиды и желания мести.

Как-никак, а осенняя встреча моих юных родителей на Мироносицкой, давшая, независимо от меня самого, старт всем моим дальнейшим планам, напрочь обрушила и планы-надежды Ирины Пироговой, и затею отцовской матери, бабы Анны, которая с присущим ей упорством стремилась сосватать своего сына пироговской дочери.

Николай Иванович Пирогов, несмотря на своё коряво-тяжеловесное лицо с усталыми, угрюмо обвисшими щеками, был, видимо, от природы добродушным человеком. Во всяком случае, он совсем не затаил зла по поводу двух подряд неудач с женитьбами, своей и дочкиной, и относился ко мне с явной, естественной и ненапускной симпатией. И очередная порция добытой им марочной фауны из Ифни, Испанской Гвинеи и Сахары доставляла неподдельную радость не только мне, двенадцатилетнему, но и ему, уже перебравшемуся через свои семьдесят.

До сих пор красуются вожаделенные испанские колонии на фоне благородно-чёрных плотных листов рижского альбома в синей искусственной замше. Именно они освещают своими мягко-молочными офсетными колерами, тускловатым блеском своей шелковистой бумаги-меловки заглавные страницы всех околонуточных разделов коллекции: копытные, хищники, рептилии, рыбы, пернатые. И здесь, в птичьем разделе собрания, на последних страницах альбома, обитает тот самый, зарифмованный с ностальгией и любовью, австралийский лебедь, тот самый «чёрный гибкий лебедь», который из глубины многозначных времён, — и тёплых моих собственных, и зябких ничейно-всеобщих, — «навстречу медленно плывёт».

Это совсем маленькая, ценою «ван пенни», тускло-карминовая марка Западной Австралии, — выпущенная, скорей всего, судя по всем особенностям печати и дизайна, в самом начале миновавшего века, а может быть, и в последние годы уже позапрошлого девятнадцатого столетия. Чёрный лебедь, классически-утончённый двоечник, изгибая сильную гибкую шею, выделен лишь каплею печатной краски, лишь потускневшим сгущением кармина на

этом ветхом и совершенно невесомом квадратике бумаги. Но каким живым и вдохновляющим посланием из антиподно-австралийского мира представлялся он мне в промозглых зимовках того мальчишеского времени! И как убедительно закругляли магнитные линии нездешнего пространства флюиды ещё двух скудельно-лаконичных марок-малюток, наклеенных рядом, на том же альбомном листе, — бледно-зелёный абориген-лирохвост и оливковая, туземно-гербовая, подлинно австралийская кукабара!

И стоит лишь немного надорвать невидимый конверт с одной из тех незабытых марок, стоит даже не услышать, а только почувствовать дуновение на щеке, шёпот того давнего, выцветшего, подобно офсетной краске, «здравствуй», как оживёт очень многое из полувекового прошлого. Оживёт в многозначительных подробностях, во взыскующем и пристальном взгляде пары смыслённых глаз — и очень знакомых, и одновременно словно бы отстранённых в своей недостижимо-давней суверенности.

## КРАСНАЯ ПУШКА И ДЕД ЧЕМЕРИС

Речь уже пошла здесь о 57-ом приснопамятном годе, который ярко обозначил взлётом своего первого искусственного спутника наступление новых времён, новых человеческих стратегий и технологий. Но хочется сказать несколько слов и о моём собственном, всё ещё протекавшем в параллельном мире патриархальных координат и хорошо памятном мне лете 1957-го года. В желанный Луганск, к Марфе и Петру, отец-воспитатель не пустил меня уже прошлым, пионерско-скарлатинным, летом. Уж не ради ли доказательства его неправоты, — методом от противного, — заглотнул я тогда в посёлке Высоком удушливую инфекцию скарлатины, на третий же день казённо-лагерного пионерства? Летом 57-го поездка в Луганск тоже почему-то поначалу не обсуждалась, но направление на Донбасс вдруг неожиданно прорисовалось в другом, мне ещё не известном, маршруте.

В Краматорске, где на улице Красная Пушка жили трое Шелковых, два брата и сестра Пети, Ванчика и бабы Саши, я уже

как-то гостил раз или два совсем кратко. Останавливался вместе с дедом — проездом в Луганск на служебной «Победе» Петра Ивановича, монументальном, чисто вымытом автомобиле светло-кофейного колера с плавно-обтекаемыми обводами кузова, взятыми на прокат у американских образцов. Но в доме отца бабы Анны, именуемого Чемерисом, то есть непосредственно его травно-отравной фамилией, в том же Краматорске, мне бывать никогда не приходилось. Говоря здесь об опасных зеленях-зельях, я имею в виду, что одно из предположений о возникновении фамилии Чемерис связано как раз с именем ядовитой травы чемерицы. Именно баба Анна вдруг выступила инициатором моей каникулярной поездки к старику Чемерису. И ехать она предложила мне — на пару с её племянником, по чемерисовской же линии, Колей Березуцким.

Ближе к лету того года неуёмное радио Страны Советов бубнило, возбуждённо и безостановочно, о грядущем невиданном, совершенно эпохальном, событии — о Всемирном фестивале молодёжи и студентов в столице нашей Родины. После десятилетий угрюмой совдеповской изоляции от всего мира Никита Хрущов, разоблачитель сталинского культа, ревнитель кукурузных посевов и непримиримый борец с художниками-«пидорастами», дал наконец отмашку на то, чтобы всемирно-историческое фестивальное действо состоялось в Москве. Приторный и нудный радиобубнёж о сплочении всех демократических сил, которое несомненно достигнет великого апогея именно в дни бестолковых фестивальных сходов в Москве, продолбил мне все уши и мозги ещё в Харькове. И та же песня пустого самохвальства встретила нас с Колей Березуцким в краматорском доме деда Чемериса, куда мы заявили в самом начале июля. Николай, на пять лет постарше меня, был младшим, после двух своих сестриц, сыном Татьяны Алексеевны — сестры бабы Анны.

То есть, навестить краматорского деда, в кои веки, сподобились сразу два его прямых потомка — сын его младшей дочери, Татьяны, и внук старшей, Анны — аз грешный. До нынешнего приезда в Краматорск мне этого патриарха и прародителя так ни разу видеть и не приходилось. Репутация деда Чемериса, судя по скудным и отрывочным сведениям родичей, была не вполне без-

упречной. Более того, за ним тянулась явно дурная слава как за отчаянным ходоком от жены налево и большим любителем незаконных утех. Существенно позже тех времён моего отрочества до меня дошло и долго хранившееся под спудом фамильной цензуры известие о совершенно трагическом семейном событии начала века. Уже совсем давнее происшествие это явилось прямым следствием nepотpeбных прадедовых загулов.

В то недоброе время низкорослый и щуплый, но неимоверно прыткий дед Чемерис приобрёл себе пaссию с редкостным для южных степных краёв именем Амалия. Сия экзотическая Амалия была переселенкой в Донбасс аж из бледнооких и наполненных звучанием двойных гласных эстонских краёв. Сожительство Чемериса с нею, видимо, приняло серьёзный оборот, поскольку по ходу своего незаконного общения они размножились, подарив мне лично, о чём я узнал с большим опозданием, — ни много, ни мало, — сводного дедушку с редким и значительным именем Вильгельм. А так же, следом за Вильгельмом, и сводную, на половину эстонскую, бабушку с таким же благородно-нездешним именем, которого точно никто уже в мои времена не мог припомнить.

Чемерисова законная жена, моя прабабка по прямой линии, Мария Зазимко, оставшись с двумя дочерьми, Анной и Татьяной на руках, выходки своего прыткого супруга переживала, конечно, чрезвычайно болезненно. И настолько болезненно-остро, что однажды на одной из прокопчённых железнодорожных станций вблизи Краматорска выбрала себе мыловарню и в ней открытый котёл с кипящим мылом для того, чтобы свести счёты с опостылевшей жизнью. Смывала ли она свой невольный позор, которым её измарал блядун Чемерис, освобождалась ли от ставших непосильными тягот, но, так или иначе, прабабка моя Мария Зазимко, имя которой никто уже сейчас, кроме меня, почти наверняка не вспомнит, погрузилась-канула в чан с кипящим варевом, оставив грешнику-прадеду Чемерису двух малолетних дочерей.

Да и мне, как показало будущее, отказала в подарок, на полвека вперёд, осьмушку своей несмиренной гремучей крови. Зазимко-то она звалась по рождению Зазимко, но роду-племени наверняка была не зимне-хладнокровного, а явно здешнего, махновско-гуляйпольского, горячего и огнеглазого. Старшая её дочь

Анна, моя бабушка, тоже родилась в годы их обитания с прадедом Чемерисом в Гуляйполе знаменитого Нестора Ивановича.

В ярком, тёмно-карем и огненном, взоре прабабки Марии Егоровны Зазимко, вполне наследованном её старшей дочерью, тюркского ничего не просматривалось, ни намёка на раскосость не угадывалось в разрезе глаз. Скорее — там, в глубинах этого взора, туманился то ли берег турецкий, то ли цыганско-бенгальские вековые кочевья. Некоторая, уже не столь явно южная, но оживающая каждый год при первых же лучах весеннего солнца, смуглость кожи передалась и мне — через отца и смуглянку бабу Анну именно от прабабки. Поскольку прадед Чемерис был совсем другой масти — белокожим и светлоглазым, с блёкло-голубыми хитро-пороссячьими глазками под лысым и выпуклым лбом-лобком. Со старшей дочерью Анной его роднила, впрочем, одна заметная общая черта — упрямо выдвинутый вперёд крепкий подбородок под несколько выпяченной нижней губой, классическое свидетельство пресловутой «хохлацкой упёртости».

В 1957-ом году, когда мне в первый и, как оказалось, в последний раз довелось встретиться с прадедом Алексеем Степанычем Чемерисом, или же просто с дедом Чемерисом, — по определению большинства родичей, — он предстал передо мной, — и довольно приветливо, — маленьким и щуплым старым хренком с абсолютно лысой головкой — бильярдным шаром. Возраст его тогда уже перевалил далеко за семьдесят. Тем не менее, он оставался вполне бодрым и подвижным, а его круглые голубые глазки, под круглым же лбом, вовсю лучились весельем и юмором. Он и вправду оказался большим любителем пошутить и побалагурить.

Судя по всему, дедов-Чемерисов выцветше-небесный взор, напоминавший колером степной цикорий, который не Украине кличут за длинный и жёсткий стебель «петрив кнут», совершенно не смущала трагедия полувековой давности, когда его непомерная блудливость подтолкнула Марию Зазимко к отчаянному самоубийственному шагу. Пагубные мутации человеческого естества, привнесённые полувеком кровавого блуда, безумного социального эксперимента на украинские земли, не могли пройти бесследно ни для одного из выживших. И сколько матёрых

губителей невинных душ, сколько героев темниц, пыточных камер и ГУЛАГа, сколько мародёров Голодомора преспокойно, без «лишних» угрызений совести, дожили и доживают свой волкодавий век — порождение химерного столетия? Может быть, и впрямь на их фоне бездумная козлиная прыть Чемериса не потянет на смертный грех? Хотя куда уж смертней — для прабабки Марии Зазимко?

Жил-поживал прадед в то лето 57-го года вместе с женой, уже третьей по счёту и выглядевшей моложе его лет на двадцать. Половину своего добротного краснокирпичного дом шустряк Чемерис и его супруга, жестковатая черноволосая тётка, сдавали в аренду под казённый — о других тогда никто и не слышал — продовольственный магазин. На полках этого советского торгового заведения, ясное дело, прочно обосновался самый что ни есть развитой социализм. То есть на них царила почти полная, пыльная и жарко-душная в ту летнюю пору, пустота. Частичная нехватка некоторых продуктов питания — так было принято определять тогда, сквозь плотно сжатые, брехливо-редкие зубы, ситуацию с пустыми магазинными прилавками на языке тошнотворного газетного канцелярита.

Я и прежде бывал, как уже упомянуто, разок-другой в Краматорске, проездом, вместе с луганским любимым дедом Петром Ивановичем, навещая двух его братьев, Николая и Якова, и сестру, Любу. Они жили втроём на улице с очень выразительным названием Красная Пушка, неподалёку от краматорского завода, производившего известные на всю страну многотонные прессы. И там, на Красной Пушке, ещё просматривалось, — пускай и чумазое, неказистое, — подобие физиономии небольшого одностажного городка. Чемерисов же дом-магазин примыкал уже, видимо, к самому краю Краматорска, Кремнёвого Торца. В тёмной дальней комнатухе без окон, выделенной для ночлега нам с Колей Березуцким нашим общим дедом-прадедом, где прямо над моим узким топчаном не прекращал свою предфестивальную болтовню пластмассовый радиоящик, днём мне совершенно нечего было делать.

Но, спустившись метров на сто по раздолбанному глиняному проезду между рядами домов и огородов, можно было попасть

прямо на лоно природы — жёсткотравный коровий выпас, для которого обещанное наименование «луг» показалось мне сразу же не в меру красивым. Кочковатая летняя пустошь была уже изрядно выедена коровьим племенем, судя по обилию сухих и свежих навозных лепёшек. И лишь кое-где украшали пустырь несъедобные жёлтые квитки куриной слепоты да хлёсткие стебли того самого цикория, «петрива кнута», словно подсвеченные бледно-голубыми фонариками чемерисовых бесстыжих глазок.

В Харькове перед отъездом, то ли Колей Березуцким, то ли ещё кем-то из родичей, бывших краматорчан, мне была обещана наряду с лугом ещё и речка для купания неподалёку от прадедовых владений. В первый же свой краматорский день, осторожно обходя коровьи блины и прошагав метров двести по плоской пустоши выпаса, я обнаружил хвалёную «речку для купания». То была метровой ширины канавка, наполненная сантиметров на двадцать-тридцать не водой, а мутным и густым грязевым раствором. По её поверхности лениво проплывали, а чаще бестолково кружили на месте, клочки гусяного и утиного пуха. Изредка появлялись и утерянные утками- гусками бросовые перья. Оба земляных берега водоёма были обильно загажены жидко-известковыми извержениями птичьих клоак. Сами же водоплавающие и пернатые, не дикие, но явно хозяйские, завидев меня и опасливо гогоча да побрякивая, отплыли на всякий случай подальше по руслу своего антисанитарного потока.

Разочарование моё, впрочем, быстро улетучилось. Июльское солнце, поднимаясь к зениту, ласково пригревало скудную почву выпаса. Пригревало и мою кожу, быстро смуглеющую по воле генома степных предков. Июль только-только начался, и почти всё каникулярное лето ещё светилось впереди заманчивыми воздушными объёмами. Ощущение простора от распахнутой на все четыре стороны пустоши, вместе с лёгким дуновением сквозняка, освежало разгорячённое лицо и наполняло всё моё существо неким предчувствием воли и радости.

«Чёрт с вами и вашими гусями!» — мысленно и уже вполне весело произнёс я, имея в виду и местных гусяных хозяев, и прикнувшего к ним деда Чемериса, и тех, кто обещал мне в Харькове краматорские речные купания. С этой простой и бодрящей

мыслью я отыскал место, где можно было, не скользя по заляпанному помётом земляному берегу, зайти в пропащую канавку, и присел в её мутной воде пару раз, и ещё разок, до пояса. Ещё в Луганске, на родном участке, в мои недавние пять-шесть лет, подобная процедура называлась — «окупнуться до трусов».

Там я охотно и не раз окунался в быстро бегущую дождевую воду сточных канавок нашего благословенного Участка. Так мне и хочется его именовать — с самой большой и самой надёжной буквы, Участок. Он и моя вотчина, и моя малая-большая родина, и Царское Село, и Йокнапатофа... Канавки, вырытые по обе стороны от булыжного въезда на Участок, тянулись вдоль всей линии фасадов наших одноэтажных домишек под уклон. Тянулись к поперечной улице, Вторая линия, по всей длине которой высилась стена военного завода. Едва только ударял над луганским Каменным Бродом очередной летний ливень, эти канавки мгновенно наполнялись через край взбухающей, пузырящейся и несущейся под уклон дождевой водой. Искус, выскочить на улицу, прямо под тёплый дождь, и успеть за несколько коротких минут половодья окупнуться столько раз, сколько можно, в небесную, — да, именно в небесную, а вовсе не в сточную! — дождевую воду, был совершенно неодолимым. Спасибо доброй моей Марфе Романовне, моей луганской бабушке — она моих ливнелюбивых порывов не осуждала и в минуты грозowych рокотов-раскатов даже и не пыталась удержать в доме. Хотя стирать вослед отчаянным купаниям чёрные сатиновые трусы своего питомца приходилось, конечно же, ей.

В совершенно таких же, как и в Луганске, чёрных сатиновых трусах, — единой, всесоюзной рабоче-крестьянской, модели, — присел я трижды и в муть краматорского гусяно-утиного водоёма. Что касается фасона этой единицы мужской исподней одежды советского человека, то чёрные, — с вариантом — тёмно-синие, — трусы из сатина стойко и идеологически-надёжно продержались без всяких изменений все три четверти века советского правления — от апрельского ленинского броневика до августовского ельцинского танка.

Окунулся же я в краматорский грязевой источник местного значения не только на волне романтического порыва и не только



по воле своей водолюбивой породы. Уходя из дому, я успел сообщить скептически хмыкнувшему Березуцкому, что иду купаться, и возвращаться несолоно хлебавши, без конкретного результата, мне вовсе не хотелось. А кроме того, довести замысел до конца — уже было делом принципа. Характер следовало выдержать до упора, выдержать для самого же себя. Как напевал несколько позже под гитару «шансонье всяя Руси»: «Если я чего решил, выпью обязательно!»

Пяток гусиных перьев покрупнее, собранных на берегах чумазой луговой купальни, пригодился мне на следующее утро в моих бодро-одиноких десятилетних игрищах на местности. При чемерисовом доме зеленел скромной июньской благодарью небольшой сад с совсем молодыми ещё яблонями и огород с аккуратнo прочерченными огуречными и луковыми грядками. В головном уборе индейского воина из гусиных перьев, с самодельным луком в руках, ступал я крадущимся могиканским шагом, на самых кончиках пальцев, по чемерисовым угожьям, воображая себя одновременно и Чингачгуком, и Оцеолой, предводителем семинолов.

К своим десяти годам я уже успел основательно вжиться в захватывающую атмосферу индейских романов Майна Рида и Фенимора Купера и вдоволь побродить по их труднопроходимым лесным дебрям. Ключевые слова — томагавки и пироги, скальпы и вигвамы, мокасины и скво — звучали внутри меня неотразимо магически, и сам я безоговорочно числил себя верным болельщиком благородных краснокожих в их постоянных стычках с врагами-бледнолицыми. Индейским гусиным шагом, на высоких пальцах воображаемых мокасин, перемахивал я через прадедовы грядки и, смакуя ощущение запретности и риска, внедрялся в соседские угожья — на вражескую территорию, по определениям моей внутренней, следопытской и зверобойской, игры. Здесь, на чужих тропах, потайная походка последнего из могикан удваивала свою пружинистость и осторожность, ибо злокозненные ирокезы, эти ненасытные охотники за скальпами, могли в любой момент появиться из-за низкой яблонево́й ветки или куста крыжовника — по правилам всё того же, вполне захватившего меня, моноспектакля на местности.

Вернувшись после нескольких кругов по соседским садам-огородам на сотни деда Чемериса, я вдруг заметил неуклюже пересекающего грядки с зелёными стрелками лука серого и ушастого кролика, видимо, ещё совсем молодого. Ушастик, скорее всего, прискакал из какого-то сопредельного хозяйства и заблудился в складках и зеленях земельных наделов. Моя роль Зверобоя получила предметную и живую подпитку. Осторожно приблизившись к серому зверьку, я подхватил его снизу двумя руками и прижал к своему тощему пацанячьему животу. Кролик был тёплым и ласковошерстным и смиренно подрагивал мелкой дрожью.

У хозяйственного деда Чемериса к краснокирпичной стенке его дома прижималось штук пять собственных кроличьих клеток. В них, издавая резкий аммиачный запах и подёргивая при жевании носами, ждали часа своего закланья несколько белых кролей с обморочно-рубиновыми глазами и пара серых, той же масти, что и попавшийся мне на индейской охоте крольчонок. Неожиданную добычу дедок-с-ноготок активно приветствовал, решительно отбросив моё наивное предложение искать хозяев заблудившегося зверёныша. И для ясности тут же запустил его в одну из своих клеток.

— Сделаем из него на завтра жаркое. С картошкой, — деловито возразил Чемерис.

— Вкусно получится. Вот увидишь! — добавил он для убедительности.

— Я его сам по башке колотушкой стукну. А шкурку мы сдадим, я их всё время сдаю, — произнёс старый хрен уже мечтательно.

— Не надо мне вашего жаркого! Отпустите кролика, я его есть ни за что не буду! — запальчиво пытался остановить я прыткого живодёра.

— Будешь, будешь, — отвечал со спокойной, даже ленивой уверенностью повидавший виды предок-шустряк, кивая свой округлой бильярдной головёнкой. К большому сожалению, этот сдирщик и сдатчик шкурок, этот старый реалист и циник оказался прав в своих предсказаниях на ближайшее будущее.

Всю первую половину следующего дня я провёл во дворе дома, стоящего напротив чемерисовой хаты, — через глиняно-раздолбанный, ведущий к выпасу спуск безымянной для меня и тогда и теперь улицы. Рыжий пацан, с которым я случайно познакомился накануне, пригласил меня к себе во двор, спеша похвастаться огромным стогом свежего сена, которое только что привезли в его хозяйство и выгрузили под чердачным окном дома. К чердаку была приставлена деревянная лестница, утопавшая нижними ступенями в роскоши и хмеле молодого раннеиюльского сена. На то, чтобы совершить с радостными воплями десятка три, а может быть, и полсотни прыжков с чердака в стог, всякий раз вскарабкиваясь по лестнице для нового прыжка, ушло немало сил. К Чемерису я возвратился взмокшим и облепленным с ног до головы сухой травяной пылью. После ополаскивания холодной водой — тёплой воды мне, гуляке, никто готовить, конечно, не собирался — свирепое чувство голода дало знать о себе с полной силой. Просто-напросто ухватило молодого прыгуна за подребере «своей костлявою рукой».

Сопротивляться соблазну душистого жаркого, состряпанного чемерисовой жинкой, оказалось подвигом нереальным. Тем более, что участвовать в такого рода пиршествах в глухую годину развитого социализма мне приходилось совсем не часто. Единственное, что припоминается из всех двух десятков лет дармоядения в отчем дому, это смертельно тоскливые, ядовито-серого колера, перловые-пшённые супы-клейстеры, которыми приходилось давиться смалу за показательными общими обедами на кухне. Может быть, и присутствовало, наряду со строптивостью, и нечто от принцессы на горошине в тогдашнем десятилетнем отроке, но жёвал и глотал я те семейные яства не иначе, как с великими муками. При этом отец-молодец в часы дурного настроения, которое, вообще-то, процентов на девяносто являлось его обычным состоянием, после нескольких грозных взглядов в сторону давящегося сына издавал фирменно-свирепый вопль «Ешь!», сопровождая его обрушением огромного кулака на кухонный стол. Подпрыгнувшие ложки и вилки с паническим звоном сыпались на пол кухни, усиливая воспитательный эффект от спектакля-устрашения.

То есть краматорский обед с кроличьей вкуснотой был бы для меня куда как хорош, если бы не обидное ощущение подвоха со стороны деда Чемериса. Как ни крути, а старый лысый жук здорово подловил меня на святом и неизбежном — на моём собственном инстинкте выживания, на суровой правде, что голод — и вправду не тётка. Да и серый крольчонок со вчерашних могиканских троп, хотя и сильно оттеснённый вглубь сознания множеством новых событий, всё ещё взывал о сочувствии и жалости.

Дед Чемерис и его черноволосая молодуха, сидя за пёстрой клеёнкой кухонного стола, с заметным оживлением на физиономиях, налили и хлопнули по рюмке коньяку. В родительском доме мне до сих пор не приходилось встречать этого напитка, и я, неожиданно для самого себя, выпалил: «Дайте и мне попробовать!» «Ну, попробуй» — без малейших колебаний, благодушно ответил старикан, усмехаясь той хитрованской усмешкой, которая и сейчас так напоминает мне одного из моих братьев меньших. Потянулся к бутылке со звёздами на этикетке и накапал мне в рюмку три капли золотистого зелья.

Никакой особой дегустации, конечно, не произошло. Осторожно смочив содержимым рюмки края языка и губ, я ощутил только некоторое жжение и еле различимый привкус горечи. Впрочем, и скромной целью этого моего возлияния была не победа, а только участие в процессе, пускай даже совсем формальное. Теперь, улучив момент и подловив Чемериса на гнилом либерализме, я имел полное право объявлять кому угодно, что уже пробовал настоящий коньяк. Что и поспешил сделать, похвалившись через день-два новым достижением перед своим главным на тот момент в семейной иерархии дедом Петром Ивановичем, который как раз заглянул из Луганска к братьям и сестре на краматорскую улицу Красная Пушка. Не раз надписывал я в те годы адрес на конвертах с праздничными поздравлениями — ул. Красная Пушка, 4, но только сейчас сообразил, что, выходит, мы, в какой-то мере, — из Красно-Пушкиных!

«По шее надо надавать твоему деду Чемерису!» — проворчал Петя, — так мне было позволено с самых первых лет именовать Петра Ивановича, — в ответ на моё радостное признание о лихих

коньячных подвигах. Не знаю, прибыл ли Пётр Иванович навесить краматорских родных именно в эти дни по случайному совпадению, или же его приезд специально оказался приуроченным к моему гостеванию у Чемериса. Во всяком случае, в свой четвёртый краматорский день, когда и ушлый предок-прадед и его куркульское хозяйство с обдиранием кроличьих шкур мне уже определённо наскучили, я появился у своих Шелковых — у Коли, Яши и Любы, в доме на улице Красная Пушки. Тут же я и услышал, что Петя должен приехать как раз сегодня вечером. Начался, наливаясь июльским зноем, очередной субботний день.

«Услышал», в данном случае — принципиально неточное слово. Намного правильней будет сказать — узнал. Может быть, новость о Петином приезде и впрямь прозвучала, но тогда наверняка — из уст переводчицы, молодой и приветливой женщины, тоже Любы, которая по договорённости опекала наших краматорских стариков.

Коля, Яша и Люба говорить не могли. Все они появились на свет с одним и тем же врождённым пороком — полной глухотой. Люба — аж в 1888-ом году, Коля — в 1898-ем. И Яша, самый младший из шести братьев, — в 1900-ом, на переломе теперь уже позапрошлого и прошлого веков. Никто из троих своей собственной семьи не заводил, так и жили-вековали вместе-втроём, добравшись худо-бедно к тому самому 1957-му году, кто до начала своего шестого десятка лет, кто до конца его. А кто и до конца своего седьмого десятилетия — здесь уже речь о старшей сестре Любе. Выглядели они в то далёкое лето ещё вполне бодро, да и не могли себе позволить расслабиться, обслуживая себя всю жизнь самостоятельно и никогда не сидя на печи.

Коля, старший из двух глухонемых братьев, уверенно и с большим достоинством занимал руководящую позицию и начинал горячиться и гневаться с пол-оборота, если что-то было ему не по нраву или шло вразрез установленному порядку. При этом он возмущённо издавал сдавленные горловые звуки и вовсю размахивал большущими, истинно фамильными, кистями рук. И Яша, и Люба перечить ему никогда даже не пытались, авторитет старшего из братьев не подлежал сомнению.

В двух-трёх эпизодах я с моими глухонемыми встречался и прежде. Пару раз — останавливаясь по дороге из Харькова в Донбасс, когда Петя отвозил меня в своей директорской светло-кофейной «Победе» на луганский участок, полюбившийся мне едва ли не от самого рождения. На Участок, от слова Участь, — к себе, к Мусе, к «пространству с признаками рая». Раз-другой и Коля приезжал в Луганск к старшему брату Петру, заставая и меня там же, в маленьком, — и необъятном в те годы для меня! — саду при скромном одноэтажном доме. Именно на том клочке обетованной почвы посчастливилось мне впервые, — и насовсем, навсегда! — ощутить всю необъятность, солнечность и полновоздушность мира.

Сохранилась единственная фотография от тех летних приездов-совпадений: мы на пару с Колей сняты на фоне краешка сада и фрагмента бесценной и незаменимой для меня луганской веранды.

*Были в сетке переплёта разноцветны ромбы стёкол,  
терем склеен был из хвои и стрекозьего крыла.  
Кто звенел там чайной ложкой? Кто орех щипцами щёлкал?  
Чья беседа по овалу вокруг столешницы плыла?..*

Коля сидит на этом снимке на табурете, поставленном на дорожке сада, в брюках и голубой майке. Цвет её не различим в чёрно-белом изображении, должно быть, 52-ого года, но очень определённо высвечивает и сегодня в моей подкорке своей свежевystиранной голубизной. Лицо краматорского деда, загорелое до черноты и грубоватое, тронутое налётом той особой смеси растерянности и насторожённости, которое свойственно всем глухонемым людям, сейчас спокойно-радостно и улыбается во всю ширь рта.

В этой улыбке, в сужившихся, несколько то ли чухонских, то ли тюркских, глазах явно различимы и черты старшего брата Петра, и младшей сестры Александры, но черты, искажённые и как бы придавленные грузом врождённого и пожизненного недуга. И это семейное качество, угадываемое во всей троице лиц, можно назвать, пожалуй, некой общей искрой зоркости

и доброго юмора. Неким импульсом жизнестойкости, излучаемым изнутри во внешний мир, вопреки всей жестокости и враждебности жизненного опыта. В правой руке Коли, заскорузлой от чёрной работы и сложенной для съёмки ковшиком, несколько неуклюже прилёг абрикос из луганского сада, наверное, только что сорванный, с ещё торчащим из мякоти хвостиком. Оранжевая вспышка колера плода тоже высекается неким бесспорным высверком памяти из хаоса времени — из вязкой тины заилленного и грузно осевшего на дно полустолетия с гаком.

Я сам, пятилетний, уже посмуглевший и веселоглазый, устроился между Колиных колен и опираюсь плечом на его крепко-боевой, пролетарский и совсем не похожий на шестидесятилетний, живот. Дед — хорошего роста, и ему, сидящему на табуретке, я дорос в то лето макушкой только лишь до крепкого, почти чёрного от загара, плеча. Да и весь облик Николая Ивановича, — полные губы добряка, мясистый, наследованный от прадеда, Ивана Моисеевича, нос картофелем, — очень напоминает мне постаревшего, но не побеждённого негра-боксёра, только что отошедшего от кулачных дел. Напоминает не только крепостью и боевитостью фигуры, но и весёлой дерзостью не сдающегося, не смотря ни на что, взора-прищура.

Не об этой ли, прицельной и дальнозоркой, взыскующей и многопрощающей, весёлости человеческого взгляда, которая и сегодня устремлена на меня моими дедами, — и Петром, и Иваном, и Николаем, очень разными, но едиными в плотности своей сердцевины, — философствует старец-странник Григорий Сковорода: «Когда ты не весел, то подл и зол...»? Каждый из них, моих Шелковых того поколения, по-своему, но с узнаваемым проблеском фамильной породы, упорствовал, противясь на своём пути злу и подлости. На фоне сегодняшней, аморфной, жёванной-пережёванной до состояния пульпы-чуингама, аморальности-морали, не могу не поклониться их реликтовой человеческой стойкости. Они пережили все обрушения тьмы, выпавшие на их долю, и сохранили в проклятых, едва ли не в самых жестоких в истории, изломах пространства-времени врождённую светимость и весёлость взора.

Угадывалось это свечение в редких счастливых случаях и в моём отце. Однако в нём, выросшем не в десятке постоянно сменяемых в поисках лучшей доли пыльных полтавских и донбасских городишек, не в семье из восьмерых детей, троим из которых судилось родиться с глухотою, а ещё троим, помимо восьмерых, умереть во младенчестве, в нём, чрезмерно ухоженном при его привилегиях единственного сына в семье, в какой ни есть, но всё же первой большевистской, столице, это светопреломление не могло не стать иным, не затормозиться. Оно и пробивалось, сказать коротко, через заметно большие загрязнения и замутнения внутренней сущности. Через фанаберию себялюбия, через нередкие и трудно уходящие наплывы гордыни и гнева-ослепления. Сила властного характера и страсть к подавлению преобладали в нём долгое время над благодатью зоркости и весёлой доброты.

На луганском фото рядом с Колей я наряжен в летний костюм — в рубашку и шорты, изделие Муси, Марфы Романовны. До сих пор помнится, и на взгляд, и на ошупь, эта плотная светлая ткань, — лён или, скорее, штапель, — с рисунком в вертикальную сине-серую и приглушённо-бордовую полосу на белом фоне. Впрочем, даже термин «шорты» в те начально-пятидесятые годы не нарушал целомудренной почвенности речи, не говоря уже о всех дилерах-киллерах, франчайзерах-спичрайтерах и прочих перлах нынешнего попсово-понтового словаря. Нижняя часть того летнего костюма именовалась без излишних затей — «штаниками до колен».

Летняя, да и не стану скрывать, казавшаяся мне тогда нарядной, пара отмечена явными признаками перешива, переделки из исходной женской модели — и округлость стыковки рукава с плечом, и треугольная вставка на поясе шортов свидетельствуют о том, что добрая Марфа Романовна не пожалела для пятилетнего любимца своего собственного летнего платья. Муся обшивала меня едва ли не в каждый из моих приездов в Луганск, почти ежегодных тогда. Вот и на двух других, самых любимых, тоже луганских, снимках, — двухлетний ещё ангелок с пышно повязанным на шее белым бантом, — стою и вместе с Мусей, и отдельно, опираюсь пухлыми ножками на сидение кресла.



Вельветовый тёмно-вишнёвый костюм, в который я наряжен, пошит заботливо её же руками. Это уже другой вариант пошива — для более холодного, осенне-зимнего, сезона, и каждая штанина «штаников», сужаясь, застёгивается ниже колена, на икре, с помощью тесной поперечной полоски ткани на коричневую пуговку. Удивительно, как умудрилась не испариться за шесть десятилетий это эфемерное, казалось бы, совсем мимолётное ощущение тесноты на младенческой ножонке. словно обернулось некой существенной кнопкой, включающей ключевой режим, та коричневая пуговка сорок девятого года, несусветно далёкого по большинству иных ощущений. И вправду, порою оказывается намного жизнеспособней именно то, что почти невесомо, «то, что летуче воздушно»...

А на той чёрно-белой картинке, где запечатлены мы почти в обнимку с краматорским дедом Колей, в луганском, Петиним и Мусином, или, говоря каноничнее, в Петро-Марфинском, саду, сквозь смутность отпечатка пятьдесят второго года пробивается, ничуть не померкнув, сто цветов и оттенков, запахов и прикосновений. Оживает множество трепетов и переливов, вдохов и выдохов всей той живности, — зеленеющей и цветущей, роящейся и порхающей, — которая населяла мою малую-превеликую родину с необоримыми «признаками рая». Нигде и никогда ощущение собственной причастности к первородному и совершенному высшему Замыслу не возникало во мне так явно, как там, на берегах заросшей ряскою Лугани, на двух-трёх сотках летнего сада, рядом с моими Петром и Марфой. И потому они для меня и сегодня — Пётр-камень, хранитель главных врат, и Мария-Марфа, любящая и любимая, ведающая суть и небесного, и земного.

За бойцовой спиной молчаливого деда Коли, за птенцовыми лопатками его бодрого и остроглазого внука, в полосатом самопальном костюмчике, осталось в старинном кадре, — пусть лишь фрагментами и намёками, — то, что и до сих пор для меня очень дорогого стоит. Там — время и пространство, одушевлённые человеческими присутствием, там — искры и мозаичные осколки тех символов веры, которые ни за какие деньги не купишь и ни за что не выдумаешь, если они, подлинные, не возникли в назначенный час на твоём ещё первозданном небосклоне.

Там — несколько квадратиков остекления луганской веранды, той самой, где «в сетке переплёта разноцветны ромбы стёкол». Той веранды, чьи «деревянные ступени грустным голосом поют, ибо время всё бездушной, год от года, час от часа, перемалывает в пепел перепончатый уют»... Да и сами эти ступени, теперь уже давным-давно перемолотые в пепел и прах, виднеются в правом нижнем углу чёрно-белого отпечатка пятьдесят второго, незапамятного года.

*Кто там в платье светло-синем загорелыми руками  
над фамильною посудой рано утром ворожил?  
Кто входил, ступая грузно, великаньими шагами?  
Я один сегодня помню, кто до смерти в доме жил.  
Я один сегодня вижу те сосновые ступени,  
на веранде капли воска, брызги битого стекла...  
И в саду, давно ничейном, холодны дерев колени,  
и записка поминанья одинока и бела...*

Умер уже более сорока лет назад мой великодушный и сильный великан, мой Пётр Иванович, и почти сорок лет, как нет на свете его жены-спутницы, святой для меня Марфы Романовны. От их дома и сада не осталось ни следа, да и весь Участок одноэтажных домишек под «строим патриаршым седых тополей» снесён начисто бездушными строителями-ломателями. На этом месте уже двадцать с лишним лет стоит нечто неприглядно бетонное, безнадежно административное — ничьё и никакое. Единственное дерево из тех времён, показавшееся мне самым родным, встретило меня после десятилетий отсутствия на неузнаваемом пепелище, в странном вечернем воздухе какого-то фантазмагорического пространства, искореженного и словно бы вывернутого нутром наружу. Только один-единственный из прежних тополей-исполинов чудом выжил, тот, который рос уже снаружи, за железными воротами. Ворота, тяжеленные и крашенные-перекрашенные, отделяли наш Участок от пыльной Второй линии, протянутой во всю её длину вдоль глухого кирпичного забора луганского воензавода.

*Вернулся я, а тополи срубили.  
Как горек тополиный мёртвый рот!  
Один лишь брат, свидетель сна и были,  
остался жив, корявый, у ворот...*

Но, слава Богу, и в пространствах памяти, и на листах бумаги этих заметок я могу пока что вернуться в то лето пятьдесят седьмого года, которого касается мой нынешний рассказ. В то лето, когда ещё все патриархи-тополя Участка на Второй линии шелестели в полную силу и гомонили неисчислимыми колониями грачей и галок. Когда их исполинские кроны — полнолиственные и переливчатые, — дробили солнечный поток июля на невесомые обрывки светотени, рассыпались и дрожали живой взвесью в воздухе. В то самое лето, когда очередной мой приезд в незабываемые уголья Петра и Марфы начался с шальной краматорской побывки в чемерисовой вотчине.

Петя действительно, как и ожидалось, приехал к своим краматорчанам субботним вечером, и я остался ночевать у Коли-Яши-Любы, так, именно в такой устоявшейся очерёдности, отражающей реальность иерархии, именовалась троица моих глухонемых кровных родичей. Несмотря на редкость наших встреч, я сохранял к Коле, Яше и Любе вполне определённые родственные чувства. Во первых, потому, что и Пётр Иванович, старший брат, и Александра, самая младшая из восьми братьев и сестёр Шелковых, неизменно заботились о своей краматорской троице, поддерживая с ними переписку, регулярно посылая деньги, оплачивая переводчицу-опекуна.

Во вторых, явно не утончённые лица Коли, Яши и Любы, огрублённые врождённым недугом и теснотой урезанного бытия, озарялись такой радостью, такой живой мимикой почти детского восторга при встречах со мной, юным и обнадёживающим наследником громоздко-многотрудной семьи, что не ответить им своей встречной теплотой я попросту не мог. При этом они совсем не казались мне убогими и обделёнными судьбой. Напротив, их горячая стремительная жестикуляция, разговор порхающими пальцами и кистями рук на языке глухонемых, который непременно подкреплялся энергичным движением самых разных ли-

цевых мышц, множеством оттенков в выражении взгляда, прищёптыванием и прихлопыванием губ и, наконец, трогательно беспомощным, но напористым в своём порыве звуком-мычанием неумелой, почти болевой, гортани, — всё это вместе, складывалось в некий сиюминутный и причудливый экспромт музыки и пантомимы. Всё это придавало им, в моём восприятии, значительность и необычность и словно бы обозначало некие особые полномочия, полученные ими не от мира сего.

И всё-таки в другие, не столь оптимистические свои минуты, я не мог не ощущать и того, что, пожалуй, основным контрапунктом этого немого языка выступала нота отчаянного преодоления чего-то вязкого, неуступчивого, враждебно-гравитационного. И более всего это преодоление напоминало своей образной интонацией усилия борения, напряжённого ворочания корней в тесноте и темноте почвенных глубин.

Но и своеобразная музыка, как ни странно, оставалась и длилась. И сами мои глухонемые казались мне некими особо близкими к почвенной плоти, первоприродными существами, словно бы перенесёнными на краматорское скучно-пыльное подворье из прадавних, ещё безъязыких глубин человеческого детства. Может быть, как раз взгляд, родственный моему тогдашнему восприятию нечужой мне глухонемоты, подтолкнул когда-то моего любимца и земляка Арсения Тарковского к такому понятному и близкому для сердца-соучастника перечню реалий в его раннем просветлённо-именинном стихотворении:

*А если я не прав, тогда скажи, на что же  
мне тишина травы и дружба роц моих?  
И стрелы птичьих крыл, и плеск ручьёв, похожий  
на объяснение в любви глухонемых...*

Младший из троих моих краматорчан, Яков, внешне заметно отличался от остальных своих братьев и сестёр. В темноглазом и темнобровом его лице было что-то почти персианское, хотя в выражении взгляда улавливалось нечто кроткое, наследованное им от его матери, Анны Петровны, моей прабабки. Где и когда промелькнули персиане-огнепоклонники в родовом ге-

номе, одному Богу известно. Яша, как и мой родной дед Иван, его старший брат, долгие годы болел туберкулёзом и уже на моей памяти приезжал на лечение в Харьков, в тубдиспансер на улице Чернышевской. Здесь же, кстати, совсем рядом с диспансером, находилась и 82-ая школа, в которой учился до войны мой отец. Младший из троих краматорчан, Яша и умер первым из них. Уже в мои студенческие времена, промозглою стылой осенью, мне довелось приезжать на эти первые краматорские похороны, проходившие уже в сумерках, на раскисшей и мокрой глине какого-то безнадёжно дальнего погоста. Увы, и последующие панихиды не заставили себя ждать — скончалась через пару лет Люба, а очень скоро, через месяц после неё, умер и оставшийся в одиночестве, и сразу же ощутивший свою обречённость, Коля.

Но пока ещё, на этих страницах, продолжается лето 57-го, и до череды печальных проводов на нищем кладбище остаётся больше десятилетия. И, проснувшись тем июльским утром, после ночёвки на Красной Пушке, я сразу же замечаю обращённое ко мне лицо Коли, необычно оживлённое и радостное. Удалившись своим поспешным шаркающим шагом в предбанник, где хранился всяческий необходимый в натуральном хозяйстве инструмент, он тут же возвратился, чтобы торжественно протянуть мне, с широчайшей, совершенно детской улыбкой на лице, пару моей заметно изношенной обуви. Теперь причина колиного торжества мне ясна — на моих, вчера ещё истёртых до дырок шкарах, сияют чёрно-чистой резиной новые подошвы и каблуки-набойки. Издают запах свежести аккуратно вырезанные резиновые пластинки, посвёркивают серебром шляпки новёхоньких гвоздиков — не налюбуйешься на твою работу, Николай Иванович!

В молодости Коля и Яша ломали на пару горбы на чёрных работах в литейном цеху знаменитого Краматорского завода тяжёлого машиностроения, носившего стальное имя товарища Сталина. Попозже, когда их здоровье было отдано ни за грош большому делу производства красных пушек и прессов, оба обучились сапожному ремеслу и ремонтной работой зарабатывали свою копейку на более чем скромное житьё. Коля считался среди краматорских глухонемых большим искусником в сапожном деле. Да и в целом, отличался во всякой работе энергичностью

и сметливостью. К тому же он всегда оставался, вопреки всем трудностям и испытаниям, озорником и шутником.

Пять лет назад, в 52-ом, тем самым луганским летом, которое запечатлело нас с ним на пару в садовом фотокадре, он и меня скорее взбодрил, чем порадовал, одной из своих удачных шуток. Тогда, июльским утром, выбравшись со двора на тополиную аллею въезда, я сразу же обнаружил под одним из шершавых исполинских деревьев очередного выпавшего из гнезда галчонка. Гнёзда галок и грачей в ветвях и на верхушках тополиного хозяйства были тогда просто неисчислимы. Птенец устрашающе разевал свой клюв, окаймлённый полоской желтизны, показывая все глубины влажно-лилового зева и горла. При этом он посылал в моём направлении явно неприветливые сипящие звуки из самых недр своей ярко-лиловой гортани.

— Как же, очень я тебя испугался! — пробормотал я, уже не раз имевший дело с подобной живностью, найденной под теми же тополями, и ухватил клювастого покрепче двумя руками, прижимая его крылья к испуганно-горячо дышащим птичьим бокам. Стараясь уберечь руки от щипков острого и прыткого галочьего клюва и отталкиваясь от него, с переменным успехом, тыльными сторонами ладоней, я поспешил отнести своего пленника в дышащий на ладан сарайчик на нашем подворье.

За деревянной щелястой дверью тесной каморки на земляной пол был ссыпан мелкий уголь. Летом им топили кухонную печку, а зимой тем же углем ещё и обогревали домишко, ибо какого-либо иного отопления в жилище директора большого оборонного завода не существовало. Едва открыв дверцу сарая, я сразу же посадил боевитого галчонка на угольную кучу, чтобы поскорее растереть освободившимися наконец руками следы укусов и щипков галочьего клюва на своих запястьях и кистях.

Следующие несколько минут вознаградил меня за малоприятные подробности ловли. Растягивая удовольствие, я со сдержанной гордостью сообщил о своих успехах птицелова Мусе и Коле, а затем ещё и Галине, двоюродной сестре отца, которая тем летом тоже обитала в луганском доме, сдавая экзамены в тамошнем медицинском институте. С Колей мы даже заглянули вместе в сарай, убедившись, что мой пленник, чёрно-сизого

оперения, по-прежнему находится на месте. Кусачее создание уже успело нагадить в нескольких местах угольной кучи — белым по чёрному, то ли волнуясь, то ли спеша пометить новую территорию.

Охотничья удача почему-то особенно благоволила ко мне в тот день. Через пять минут, едва выйдя снова через дворовую деревянную калитку на простор «въезда из булыжного камня, взятого зелёным гнездовьем в полон», я тут же возвратился к своему угольному сараю со вторым, на этот раз грачиным, птенцом в руках. Однако, испытать двойное торжество мне всё таки не удалось. Вслед за вторым подряд ловчим успехом подкрался, совершенно неожиданно для меня, и неприятный сюрприз. Свою первую сегодняшнюю добычу, кусачего галчонка, я в развалюхе с углем не обнаружил. Напрасно я судорожно обшаривал угольные россыпи со всех сторон и чуть ли не ощупывал руками все углы тесной каморки. От первого пленника осталось лишь несколько жидко-известковых пятен, разбросанных, с художественным своеобразием, по антрацитовый насыпи.

Мои отчаянные попытки выяснить, куда же подевалась вредная птица, результата не принесли. Муся, занятая в кухне по хозяйству, была явно не в курсе дела. Коля же, загорелый по-пиратски дочерна, в голубой майке, удачно оттенявшей его плотный загар, удивлённо и, пожалуй, более, чем естественно, округлил глаза и что-то горячо и отрицающе лопотал, разводя руками в стороны, мол, ничего не видел, ничего не знаю. Однако, эти его пантомимы, — «я не я, и хата не моя», — исполненные на явном актёрском форсаже, исполненные к тому же раза три подряд, уже зародили во мне какие-то смутные подозрения. Слишком уж бодрыми, не в тональности с моей удручённостью, показались мне эти колины отнекивания. Ещё через несколько минут мой краматорский дедуган признался Мусе, что освобождение чёрно-сизого птенца — действительно его рук дело, что именно он собственноручно подбросил моего утреннего кусателя-клевателя к нижним веткам ближайшего тополя. Не мог, видите ли, не вернуть пленнику свободы!

Моё благородное возмущение коварством деда выплеснулось наружу со всей непосредственностью и страстью пятилет-

него возраста. Напористо и с жаркими обличениями я подступал к колиному закопчённому торсу и голубой майке. Однако, чем горячее звучали мои тирады, тем жизнерадостней, — что называется, от всей души, — хохотал Коля мне в ответ. От удовольствия он покачивал головой, издавал сдавленные звуки мычания и даже закатывал глаза. И так же широко, как при поисках пропавшей птицы, разводил в стороны свои большие ручищи, но теперь уже в ином, примирительном, смысле: мол, что поделаешь! Ну да, ты недоволен, внучек, но зато как живо и интересно проходит наше общение!

Выпустив наружу пар возмущения, я Колю через пяток-десяток минут простил. Тем более, что Муся и Галина утешали меня, как могли, и колено самочинство старались объяснить сугубо благородными побуждениями. Как же, он и впрямь дал пленнику свободу! А с охотником-добытчиком, с героем дня, стерпевшим все щипки нахального клюва, что — советоваться не надо?

Но простил я своего глухонемого деда довольно легко, попухтев и повозмущавшись совсем недолго. Можно сказать, простил охотно — и потому, что урон от его шутки был невелик, всё равно я своих пленников всякий раз в тот же день и отпускал, подбрасывая их к родительским тополиным веткам. Но ещё охотнее — по той причине, что уж больно жизнерадостно, с выражением едва ли не полного счастья на лице, подключился Коля к моим охотничьим и следопытским играшкам. Пускай и в роли самоуправного шутника, пусть и на грани ущемления моего пацанячьего суверенитета. Мир был заключён, и мы пожали друг другу руки. Коля снова улыбался своей широченной, до ушей, улыбкой.

И вот теперь, уже пять лет спустя, краматорским утром 57-го, с той же, знакомо-блаженной улыбкой на лице, он протянул мне пару моих изношенных штиблет, благоухавших свежим, — сказать бы, домашней выпечки, — ремонтом. Надев свою обувь, оживлённую мастеровитыми руками Николая Ивановича, я прошёлся по нескольким темноватым комнатам краматорского дома. Угол самой просторной из комнатушек был украшен иконами — образами Спаса, Богородицы, святого Моисея Угрина. Под образом Богородицы теплилась свечка в витой мельхиоровой лампадке. Три



цепочки из мельхиора, на которых держалась лампадка, выглядели довольно изношенными и чинились-поправлялись, видимо, не один раз, проволочными вставками. Попозже мне вспомнилось, что прадед мой носил имя Ивана Моисеевича, то бишь, Мусийовича, в украинском произношении, и подумалось о том, что икона с образом Моисея Угурина, скорее всего хранилась в семье ещё с прадедовских, а то и прапрадедовских времён.

Своё риторическое обещание дать по шее деду Чемерису, угостившему меня накануне каплей коньяку, Пётр Иванович выполнять, конечно, не стал. Хотя и превосходил раза в два размерами и массой мелкого прадеда-многоженца. Петя просто спросил меня тем же утром после завтрака

— Сынок, а не хотел бы ты поехать со мной сегодня в Луганск, к Мусе?

Ещё бы были у него сомнения! Наверняка, Петя и не сомневался. Скорей всего, такой деликатной формой обсуждения он лишь растягивал удовольствие от принятия предстоящего, радостного для нас обоих, решения. Около полудня мы заехали на Петиной светлой «Победе» на краматорскую окраину, к деду Чемерису, где я в два счёта собрал свои нехитрые походные пожитки, и двинулись в сторону Луганска.

## ПОД ВЕСЁЛОЙ ГОРОЙ

Три года назад, на этом же, крепко сколоченном командирском автомобиле, цвета кофе с молоком, мне уже довелось попасть в неожиданную дорожную историю. Тогда меня, семилетнего, вместе с Марфой Романовной и как-то затесавшимся в нашу компанию четырёхлетним братом Митькой, возил из Луганска в соседний Краснодон заводской водитель Петра Ивановича — пожилой мужик в серых тонах по имени Андреич. Поклонение гранитно-цокольному и бронзово-многофигурному монументу героев-молодогвардейцев не принесло мне тогда удачи. На обратном пути из Краснодона зазевавшийся водила Андреич умудрился зацепить правым эмалево-кофейным крылом «По-

беды» чумазый грузовик, бестолково стоявший у обочины. От неожиданного столкновения мне, сидевшему сзади, достался крепкий удар носом о спинку переднего сидения. Кровь долго не останавливалась и уже в своём, до сих пор неразлюбленном, луганском домишке я отлёживался, с мокрым полотенцем на носу, в Петинем кабинете — на чёрном туготелом диване. Как раз под обрамлённым гобеленом в золотистых тонах — с оленьими охотничьими угодьями на авансцене и силуэтами замковых башен на дальнем плане:

*А с утра — в прежней паре оленей  
там, в незыблемой комнате той,  
где рогач, опустясь на колени,  
воду пьёт, где охранные тени  
на семейном сошлись гобелене,  
где весь воздух — навек золотой...*

Водитель Андреич, пыльного колера, конечно, проявил себя в том происшествии зевакой и лопухом, но на светло-кофейную «Победу» я не был в обиде. По-прежнему радовали глаз её обтекаемые формы, словно бы одновременно и рыбьей, и дирижаблевой породы. По-прежнему веяло от неё ощущением силы и движения, даже какой-то устремлённостью в будущее. В том настоящем дне, полунищем и неустроенном, очень немногие предназначенные для человека вещи, вышедшие из недр бестолково-казённых заводов и фабрик, позволяли остановить на себе взгляд с благодарностью и без досады на их уродство. Сполна одаривало лишь то, что вырастало, колосясь и зеленея, из почвы или падало навстречу стеблям и веткам с небес — то золотом-теплынью солнцестояния, то озоном июльского ливня.

Но «Победа» представлялась мне вещью победительно складной. Именно её напористая аэродинамика, кефалевидная плавность корпуса сразу же вспомнилась мне при виде серебристой громадины аэроплана «Дуглас» на взлётном поле под Луганском. Тогда, в те же мои, дошкольные и благословенные, дни, мы вместе с Мусей провожали Петра Ивановича в московскую командировку, в министерство оборонной промышленности.

Настоящего аэродрома в Луганске, конечно, не существовало — ширился во все стороны, словно бы нигде не заканчиваясь, пустырь взлётно-посадочного поля, покрытый жёсткой короткой травой. «Дуглас» круто задирал вверх закруглённый серебряный нос, сигару его туловища кольцевали полосы металлической обшивки со множеством заклёпок. Высоченные стойки шасси двух передних колёс казались голенастыми лапами нездешней фантастической птицы. Заднее же колесо, под хвостом аэроплана, было совсем небольшим и посаженным на короткую стойку.

Петя, в неизменном своём тёмно-синем макинтоше, надеваемом в прохладную погоду, грузно поднимался к вырезу двери по высокому самолётному трапу. Уже откуда-то с трёхметровой высоты помахал нам рукой. Как-то эти два слова, «Дуглас» и макинтош, остались для меня со времени тех луганских проводов смутно мерцающими в единой сцепке — будто бы витая на фоне пустынного аэродрома и вечернего степного неба — на фоне смазанно-дождливом и почти инопланетном.

А в июльский день фестивального и радиобарабанного лета 57-го года светло-кофейная «Победа», словно на крыльях моего воодушевления, долетела от Краматорска до Луганска легко и без всяких дорожных приключений. Водила Андреич в присутствии сурового директора, — а командовал Петя на своём воензаводе всегда более, чем грозно, — не клевал носом и глядел в оба. К вечеру мы въезжали, через тёмно-решётчатые железные ворота, на брусчатку родной тополиной державы, на Участок Второй линии.

Может быть, это был последний момент в моей жизни, когда я почувствовал себя вполне счастливым. Солнце как раз садилось за домишком и за садом. Затенённая фигура самой родного на свете человека, Марфы Романовны, приближалась ко мне, выходя из густо-золотистого небесного фона, и на несколько секунд я ощутил состояние какого-то нездешнего и вневременного парения. Внешняя, почти физическая, невесомость быстро миновала, но внутри, в груди, наполнились томление и щемь, нарастала какая-то блаженная невыразимость. Теперь я мог бы, пожалуй, сказать, что странное то ощущение было похожим на предчувствие неминуемых и близких потерь. Но одновременно присутствовало

в моём душевном состоянии и нечто совсем другое, почти сакральное, близкое к счастью приятие полноты и самоценности всего сущего. Приятия бытия, в котором ты уже есть, и, где пребудешь всегда, как подсказывало внутреннее ощущение в ту минуту.

Наутро обнаружилось, что в родных луганских пенатах и вправду грядут существенные изменения. И нельзя сказать, что новости об этих переменах могли порадовать меня, крепко приросшего всем своим существом к здешним тополиным, смолодиным и крыжовниковым зарослям, к сложенным из глыб желтоватого известняка невысоким оградкам усадеб. Петру Ивановичу в декабре исполнялось шестьдесят семь лет. Муся, в паспорт которой вкралась ошибка с датой рождения, была по свидетельствам её родичей, ещё на год-два постарше. Жизнь в допотопном домишке на Участке, в жилище, хотя и уютно-обжитом, но не имеющем ни центрального отопления, ни горячей воды, становилась им явно не по силам. Носить всю зиму ведрами уголь к печке из развалюхи-сарая и постоянно подбрасывать его совком в топку — невеликая радость в возрасте под семьдесят.

Пётр Иванович собирался наконец выходить на пенсию, точнее, его как будто наконец-то отпускали в министерстве, и они с Мусей получали трёхкомнатную квартиру в четырёхэтажном доме из красного и белого кирпича на Красноармейской улице, в десяти минутах хода от Участка. Переезд намечался как раз на ближайшие дни. И ко всем событиям этого лета добавлялась ещё одна неожиданность — Петя купил путёвку для меня в заводской пионерлагерь, который находился под Луганском, на Северском Донце, в месте с бодрящим названием Весёлая Гора. Ехать на место нам следовало прямо завтра утром. В предыдущие луганские годы мне уже приходилось бывать в Весёлой Горе, хотя и кратко, — и с Петром Ивановичем, и с Марфой Романовной.

Весеннее наводнение 52-го года на Донце, затопившее большие площади именно под Весёлой Горой, застало меня как раз в Луганске. От двадцати лет общения с Петром Ивановичем, к сожалению, осталось у меня всего-навсего две фотки, где мы засняты на пару с Петей. И вот одна из них — как раз Веселогорская: разлив холодного мартовского Донца, серая вода до самого горизонта, и на узкой незатопленной косе возвышается тяжёлая

фигура директора воензавода Петра Ивановича Шелкового в суровом, уже упомянутом здесь, тёмно-синем макинтоше.

Озабоченный взгляд деда обращён, конечно, не к объективу, а к разлившейся реке. — Убывает ли вода, прибывает? Зато сам я, пятилетний пацан, в незабвенной «козлиной шапке грубияна-сына», в той самой, которая украшает на более поздних снимках уже голову моего младшего брата, улыбаюсь на переднем плане заводскому фотографу, призванному заснять разгул стихии. Улыбаюсь до самых ушей — и до своих собственных, и до ушей шапки, чёрно-меховых и лохматых. Ещё бы этому пятилетнему пацану не улыбаться! Далеко ведь не каждый день выпадает такое величественное и необычное зрелище: зеркало ледяной воды, в ряби морщин от влажного мартовского ветра, разлившийся до самого края земли строптивый Донец, десятки затопленных строений заводского пионерлагеря, служивые мужики-разведчики, подгребающие к окнам лагерных домишек на медленной зелёной лодке.

Под широченным разливом серой воды русло Донца различить невозможно. Но год назад, в тёплое летнее время, мне уже удалось соприкоснуться с напористым течением этой быстрой и светло-струйной речки. Петя привёз меня тогда на совершенно безлюдный и чистый песчаный берег. Вместе с нами, в одной машине, приехал его первый заместитель, фактурный и очень жёсткий на вид мужик, носивший совсем непростую и значительную фамилию Сибир. Наверное, очень подходящая фамилия для первого зама директора военного завода. И украинский вариант наименования Сибири-мачехи, приглушённый, без мягкого знака, звучал несомненно ближе к её нутряному символизму — к её глухо-кандальному, не то, чтобы перезвону, а скорее, тяжко-железному грюку. Да собственно, и переводил этот вариант южной фонетики злую-студёную мачеху-Сибирь в мужской род дядьки-Сибира — недобро косматого и угрожающе востроглазого каторжанина, то ли конвоира, то ли разбойника.

Так что приглянулось и запомнилось мне грозное звучание заместителя имени сразу же. Прильнул к моему слуху этот неслучайный концевой напор на твёрдый рык: «Сиби — ыrrr...» К тому же сам Сибир выглядел на все сто процентов соответственно своей суровой фамилии: пронзительно-острый, режу-

ший взгляд смоляных глаз, резко и уверенно очерченные рельефы лица, непреклонно-каменная складка твёрдых губ. В общем, вся его плакатно-безупречная фактура просто излучала волю и уверенность в окончательной победе военного коммунизма.

Пётр Иванович и Сибир уже вошли в Донец и проплыли метров по двадцать в светлой, как будто бы лёгкой, на глаз и на ощупь, воде, чуть желтоватой из-за отсвета песчаного дна. Я же оставался у самой кромки берега, войдя чуть больше, чем по щиколотку, в реку и осторожно ощупывая дно подошвой ноги, чтобы не порезаться о погружённые наполовину в песок крупные перловицы. Их раковины, вытянуто-овальной, с заострением, формы, отличались стойко-единым тёмно-серым, иногда до черноты, окрасом, с болотно-оливковыми продольными прожилками. Плавать в свои четыре года я ещё даже и не пытался, да и вообще овладел этим искусством, одним из трёх главных, по античному счёту, довольно поздно, лет около двенадцати, поскольку учиться мне на пловца, собственно, было негде.

Потому, как ни уговаривал меня выбравшийся на берег Петя войти подольше в воду, как ни придерживал сзади мои плечи, так я и не отважился погрузиться в тот первый раз в Донец глубже, чем до колен. Сильное течение, казалось, вот-вот столкнёт ноги с песчаного дна, унося на верную погибель — так ощутил я, четырёхлетний, при своём первом знакомстве эту сноровистую, князь-Игореvu и Кончакову, реку, ставшую мне впоследствии едва ли не самой родной.

Пётр Иванович и Сибир в мокрых после купания сатиновых трусах отошли к ближнему прибрежному кустарнику, дабы переодеться в запасные сухие лёли. О, эти чёрные и тёмно-синие, истинно советские, трусищи, широченные и длиною до колен, уже упомянутые здесь на фоне краматорских купаний! Освящённые какою-то неведомой сверхпатриотической догмой, эти изделия долгие десятилетия неизменно украшали всё, без исключения, мужское население страны Советов. И говоря по правде, они оказались, по совокупности заслуг, ничуть не менее трепетными знамёнами, не меньшими символами борьбы за пятилетку в четыре года и за мир во всём мире, чем бесовские кумачовые полотнища с картаво-ложивыми, никогда не осуществлёнными, лозунгами-посулами.

Нечаянно бросив в пол-оборота взгляд от своего берега на кусты ивняка и отошедших к ним купальщиков, я был несколько смущён неожиданным и колоритным зрелищем: Сибир как раз спустил свои мокрые трусы на прибрежный песок и наклонился за сменной сухой парой. При этом во всей откровенной красе и полувековой усталости высветились его розово-сизые направляющие яйца в обвисшей мошонке. В них уже не присутствовало ничего от той жёсткой повелительности, которую излучал взгляд его кинжальных и чёрно-смоляных глаз. Беззащитно покачивались над песком просто мокрые яйца пожилого купальщика, в полном согласии с наблюдением пронзительно-зоркого афориста Фридриха Ницше: «человеческое, слишком человеческое».

Родившись под знаком Воды, в самом конце месяца Рака, сказать бы, даже не на перепонках рачьего хвоста, а на лепестково-рулевых хвостовых перьях, я никогда не уставал любить воду во всех её ипостасях. Северский Донец стал воистину моей рекою. В нём течёт не только легчайше-сладковатая вода моего луганского первородства. Он продолжает нести и во внутреннем составе своих светлых струй, и на поверхности своих волн некий, навсегда протяжённый для меня во времени и пространстве, наследный, и более того, кровно-фамильный, завет:

*Ещё Петра кохаю и Ивана,  
холощовых братьев, крестников моих,  
что долго шли пешком от Иордана,  
чтоб на Донце вручить мне осень-стих...*

Недаром с крестильной воды Иордана началась необратимость Нового завета. Река, неудержимо утекающая, подобно времени, вычерчивающая причудливую линию возможного в трудном рельефе данной реальности, более человечна, более сплетена с нитью человеческой жизни, чем бескрайняя стихия океана. Океан — уже почти всевластная Вселенная. Река — одушевлена, и все её лодки и ладьи — колыбели человеческого движения, челноки непрерывного поиска.

Она, река-реченька, речёт, лепечет и баюкает. Прядёт свои водяные струи. И не пресекается плавная речь, родного русого

разлива, даже в тевтонском, чуть ужесточённом, варианте её имени — «рэде». А, праиранское ли, санскритское, имя «дон» означает просто-напросто воду, ту всеединую, что и в древнерусском говоре звучит ещё в мужском роде — «водар». Да и в германских речениях остаётся родственным и мужественным — «воттер, вассер»... И долгой протяжной песней, стекая на юг, сдвигаясь на закат, не отрекаются от материнской силы и отчего звучания Дон-непру, Дон-нестру, Дон-нау — нынешние Днепр, Днестр, Дунай. Дон-батя и Донец-молодец тем же отзвуком живут свои вод. И аукается мне издали, что даже кратко-ключевые слова «дно» и «дни», сами имена исчерпанного и длящегося бытия, вызревают и выплёскиваются из того же, первичного речного звучания.

В разные свои дни, приближаясь к новой реке, — к Дунаю ли в Будапеште, Регенсбурге, Братиславе, к Лаб-Эльбе ли в Майснесе, Дрездене, Магдебурге — я словно ощущал заново прикосновение, — и к невесомой мальчишеской плоти, и ко взрослеющей душе, — своего сакрального речного потока, своего Иордана-Донца. Луганск и Гайдары, Святогорье и Коробовы Хутора, Изюм и Старый Салтов, Эсхар и Мартовая — все эти берега, — тростниковые и ивовые, песчаные, глиняные и меловые, — благосклонно подпускали меня в разные годы к светлой и живой водиче Северского Донца.

Но самые первые, ещё насторожённые и пугливые, прикосновения к его быстрым струям — это купания вместе с Петром под той самой Весёлой Горой. И вот, юбилейный мой 57-ой год, совершив неожиданный маршрутный зигзаг в сторону от чеме-рисовых коровьих выпасов, снова привёл меня на тот же густо-зелёный луганский берег. В ту же местность со знакомым разгуляйским названием, где я бывал прежде не только с дедом, но и с бабушкой, и где Муся, хотя и ворча понемногу, всё же позволяла мне вскарабкиваться на могучие здешние дубы и клёны — в поисках восхитительных жуков-оленей. Правда, звали их в тамошнем обиходе попросту рогаками. Эти тёмно-вишнёвые, создания природы, — сложенные одновременно и атлетически, и изящно, — медлительные и словно светящиеся изнутри лаком хитина, в изобилии появлялись здесь на деревьях в удачные для их размножения годы. Очень жаль, но, похоже, что в нынешние времена они едва ли не совсем исчезли из виду.



*Убегу — за шершавым забором в лесу я уже не один.  
Там дубовую кровь пьют жуки, рогоносцы-олени.  
Атакующих лбов напряжён густо-красный хитин,  
что бодает ладонь и прохладою входит в колени.*

*Улечу и на лагерный час и на целую жизнь убегу —  
так хмельны эти соки в кленовых и вязовых жилах!  
Бык вишнёвый молчит, опьянев, — ни шу-шу, ни гу-гу...  
Только я-то всё знаю о взлётных подпочвенных силах.*

Лагерная смена в Весёлой Горе оказалась явно удачнее моего прошлогоднего дебюта в пионерлагере харьковского станкозавода, откуда меня, на третий день подхватившего скарлатину, увезли в больницу чуть ли не на месяц.

Приблатнённых песен под гитару про Мурку и «негра-красавца саженого роста» вожатые в Весёлой Горе не пели. Судя по всему, уровень идеологической и воспитательной работы при воензаводе Петра Ивановича оставался и на лоне лагерной природы — на должной высоте. Или же просто порядка в луганском пионерлагере было побольше, чем в аналогичном заведении от станкозавода имени Молотова-Косиора. На лесной поляне, на травянистом склоне, требующем немалых усилий от ягодич с-дока, чтобы удержаться и не скользить (и чего ради внутренняя моторика более полувека удерживает в памяти эти очень частные подробности?), отряд десятилетних и красногалстучных с большим воодушевлением поёт «Гимн демократической молодёжи». Форсированная партией и потому бесконечная радиориторика фестивального лета диктуют и здешний песенный репертуар:

*Дети разных народов,  
мы мечтаю о мире живём.  
В эти грозные годы  
мы за счастье бороться идём.  
В разных землях и странах,  
на морях, океанах,  
каждый, кто молод,  
стань с нами вместе!  
В наши ряды друзья!*

К этому незатейливому запеву тут же ловко прицепляется и соответствующий бодрячок-припевчик. Он, славный наш при-топ-прихлоп, начинаемый строкой «песню дружбы запевает молодёжь», венчается восхитительно точной рифмой «не убьёшь!». И это бодрое «не убьёшь!» повторяется решительно и ритмично аж три раза подряд — как будто бы брошенное со всей решимостью прямо в лицо мировому империализму. Приятно петь десятилетнему человеку такую простую и понятную, оптимистическую и складную песню. А молодёжь, которую «не задушишь, не убьёшь», так и продолжает бродить с тех пор, с подачи фестивального гимна, по самым разным контекстам народного творчества. Прижилась золотая строка в народной памяти.

Я и вправду пою вместе со всеми — с удовольствием и со всем возможным старанием. В 9-ой школе учительница музыки и пения Серафима Леонидовна Сокол уже записывала меня, третьеклассника, в состав школьного хора. Но этот её благой песенный замысел так и осталась неосуществлённым, поскольку хор ни разу не удосужился хотя бы собраться. Может быть, потому, что Сокол — не самая певучая птица... Во всяком случае, нынешнее песнопение на траве дарит мне немало новых ощущений. Во-первых, петь в хоре, совершенно не страшно, в отличие от сольного исполнения, когда все твои огрехи — сразу же заметны. Во-вторых, вплетаясь в общее, и вполне ладное, как в данном случае, звучание, и твой собственный голос начинает тебе казаться очень даже неплохим.

«Эту песню не задушишь, не убьёшь!» — поддаю я громкости, и мне самому — чего уж скрывать! — рождаемые мной песенные звуки нравятся. Хочется, чтобы и другие заметили и одобрили. Но, увы, никто не замечает — в отряде уже определилась пара признанных звонкоголосых солистов, и пионервожатые с заранее готовым одобрением кивают головами, не прерывая и своего пения, именно в направлении узаконенных фаворитов. Да и скорей всего, сам мой голос не настолько хорош, как это слышится мне изнутри. Не настолько, увы, неповторим, как мне бы самому того хотелось.

Ну, что же, классической истории о художнике и о капризах причудах его пути к признанию — уже не одна тысяча лет. Вся-

кий раз, одарив внешний мир очередной своей песней, в виде, например, ещё одного сборника рифм и метафор, я испытываю нечто очень похожее на ощущения того десятилетнего мальчика, голаящего на траве лесной поляны. Впрочем, у каждого из нас, художников, которых легко обидеть, остаётся, как минимум, право на надежду. Ею же, надо сказать, не долго думая, я и утешился тогда, на пионерской поляне под Весёлой Горой.

Что же касается бессмертного текста «Гимна демократической молодёжи», то теперь, уже постфактум, её трогательные пассажи о «детях разных народов», которые «в эти грозные годы», — наверняка по зову сердца и при поддержке всех людей доброй воли, — тесными, но стройными рядами «за счастье бороться идут», очень напомнили мне, с некоторой инверсией интонации, — от бодрости к угрюмой решимости, — другое, более позднее, произведение для хора. Эта новая «песнь песней» исполняется в фильме Бортко по булгаковскому «Собачьему сердцу» жёковским хоровым коллективом под руководством товарища Швондера:

*Суровые годы проходят  
в борьбе за свободу страны.  
За ними другие приходят —  
они будут тоже трудны!*

Впрочем, тогда, в 57-ом году, на тенистых дорожках между деревянными домиками-палатами и на чисто выметенной площадке для утренних пионерских линеек интонация барабанной бодрости присутствовала естественно и уверенно. Однозначно присутствовала — как определил бы ситуацию своим базарным голосом небезызвестный Вольфыч, чрезвычайно, кстати, напоминающий вживе выдуманного Булгаковым жёковца Швондера. Праздновался какой-то юбилей пионерлагеря, посылалось принятое единогласно на торжественном собрании приглашение самому «маршалу нашему Ворошилову Климу», уже престарелому тогда и занимавшему пост зитц-президента, главы парламента страны бесплатных Советов. На следующем, ещё более торжественном, собрании зачитывалась ответная телеграмма из Кремля,

в которой заслуженный старец Климентий Ефремыч объяснял, что при всём огромном желании принять личное участие в юбилее Весёлой Горы, он вынужден остаться в Москве из-за срочных дел государственной важности. Аплодировали кремлёвской телеграмме так же дружно, как и наемдни распевали «Гимн демократической молодёжи» на лесной поляне.

Ещё какие-то пионерско-языческие шалаши устраивались в другие дни в фанерной будке для культпросветработы, где глухие стены без окон украшались быстро вянущими ветками клёна и более стойкими сосновыми лапами, издающими запах свежей смолы. Нагота дощатого пола была припорошена свежим сеном — ну, сущая Троица нынешних дней, когда её наконец-то вернули пастве, наевшейся по горло пустыми и безбожными Советами. На скользкие-сухие стеблях травы усаживались, в индусских и турецких позах, внимательные лотосы-пионеры. Вожакий, ловя раскрытой книжкой свет от входной двери, зачитывал своим погружённым в тень подопечным «У Лукоморья дуб зелёный...» При всей надуманности действия, смесь ароматов разнотравья и сосновой хвои в тесно-душном, почти внутриутробном, уюте и ритмичные бормотанья чтеца-пушкинолюбца наполняли полумрак капища чем-то необычным и едва ли не шаманским.

Всё же самый памятный эпизод из времени двух моих веселогорских недель связан с последним лагерным днём, с историей синей птицы. В наших краях умеренной полосы среди множества птиц скромной расцветки есть несколько видов, отмеченных поразительной яркостью и самоцветностью оперения. Это и трогательные своим ладно-миниатюрным телосложением рыболовы-зимородки, несущие на перьях переливчатое смешение изумруда и лазури. Это и щурки, облитые по всему продолговатому хищному телу радужно-стоцветным оперением, которых природа наделила длинными загнутыми вниз клювами и назначила ловцами и пожирателями трудовых малосъедобных пчёл. И зимородки, и щурки порадовали меня несколькими живыми свиданиями в разные годы.

Зимородок, одинокий пикировщик, выцеливал свою мелкую добычу-рыбёшку с ветки прибрежного куста на Донце. Полная сонно-парная тишина стояла над водой в Коробовых хуторах,

когда я в предрассветном тумане пересекал реку, осторожно разматывая за своей лодкой длинную лесу для предстоящей ловли головля вперекидку.

Напротив, юркие летуны-щурки гомонили на тысячу голосов, ныряя в свои норы на меловой круче возле какого-то безымянного степного, кажется, донбасского, водоёма, где я оказался совсем ненадолго проездом. Помнится только, что некий безымянный подросток моих лет, пока взрослые, во главе с Петром Ивановичем, беседовали в доме, повёл меня мимо лопухов и желтушных кустов куриной слепоты, через развалы шлака и битого стекла, к заброшенному водоёму, чтобы с гордостью показать гостю эту колонию щурок, сверкавшую в летнем воздухе драгоценной россыпью своих неустомимо-резвых летучих обитателей. Через несколько десятилетий давняя прогулка по убитой местности, выглядевшей сродни пропащей сталкеровской зоне, с удивительной ясностью привиделась мне снова во сне. Райские птицы с загнутыми хищными клювами по-прежнему носились в горячем воздухе, с привкусом губительной химии-порчи, ныряя в норы мелового холма над котлованную воду.

Есть в ряду этих самоцветных птиц ещё и сизоворонки, вьющие гнёзда в дуплах деревьев, тоже щедро окрашенные лазурью от головы до хвоста и приглушившие только верха крыльев сдержанным кофейным колером. Они, к сожалению, на глаза мне так ни разу и не попадались. Но наиболее часто встречается из квартета пернатых видов, оживляющих миф о синей птице удаче, самая активная, крикливая, нахальная и склочная из них — сойка. Ей-то как раз синевы в наряде, по сравнению с зимородком, щуркой и сизоворонкой, досталось меньше всего. Лишь две небесные, светящиеся лазурью, поперечные полосы пересекают середины её крыльев. Но и остальная часть её оперения, с преобладанием кофейного, рыже-кирпичного, белого и чёрного колеров, выглядит довольно ярко и празднично. Несколько, правда, по-клоунски, подстать её скандальному, взбалмошному характеру. Особенно усиливается это сходство с птицей-шутком, когда, взъерепенившись и заходясь в трескучем крике, сойка топорщит и вздыбливает на затылке хохол возмущённых рыжих перьев. Видимо, благодаря своему боевому и победительному нраву, она

в изобилии встречается в городских парках и садах. Активность и пронируемость позволяют ей повсюду сыскать себе хлеб насущный:

*Две сойки прилетают в сад —  
летят на сладость виноградин.  
Земле скудеющей отраден  
их перьев радужный наряд.  
Слоится веером крыло,  
искрит лазурною полоской  
над жухлой осенью неброской,  
едва хранящею тепло...*

Пионерские посиделки, линейки с натужными горнами и трескучими барабанами и прочие мероприятия по охвату подрастающего поколения всё же не могли отнять у меня минут, а то и часов, моего собственного, принадлежащего только мне, времени. Именно такие минуты независимости и празднования возвращали моё внутреннее существо к первичному самоощущению — к состоянию непростому, малопонятному, нередко даже смутному, но уже необходимому и дающему всё новые толчки диалога с самим собой. Обычно эти уходы в себя принимали форму почти сомнамбулических перемещений по территории лагеря, окружённой забором из деревянных планок. Пейзажи отдалённых, заросших дикой зеленью, лагерных уголков становились объектом моих исследований под разными, в буквальном смысле, углами зрения.

И вот так же, наклонившись над окраинным клочком пустоши, сплошь покрытой разнотравьем, в последний лагерный день, нацелив ближнее зрение, почти параллельно земле, на воздушно-лиловый эфемер колокольца, неожиданно замечаю на дальнем плане свою сказочную птицу. Это сойка, сидящая на заострённой планке забора метрах в десяти от меня. Синяя птица упорхнула в завершающий день смены, воспользовавшись неразберихой и суетой сворачивания дел, из клетки здешнего самопального зверинца. Она, словно не решаясь продолжить побег дальше, за ограду, в гущу дубового леса, уселась на рубиконе

штaketника метровой высоты и, тоже заметив меня, поглядывает в мою сторону своим глуповато-круглым, как будто отлитым из стекла, светло-голубым глазком. Синяя птица с голубыми глазами, «птица счастья завтрашнего дня».

К тому моменту моего десятилетия научить меня молитве было просто некому. Только в прадедовском доме в Краматорске в затемнённом углу гостиной комнаты встречались мне старые образа, с мельхиоровой лампадкой под ними. Но то моё заклинание о синей птице, обращённое к неведомым силам: «Позволь, позволь мне взять её в руки!», тот концентрированный посыл страсти наружу, то как бы намагничивание ситуации детски-маломощной, но напряжённой до крайности, волей — все эти мои интуитивные пассы несомненно несли в себе признаки настоящей молитвы. Предельно осторожно, как можно медленнее, продвигался я, шаг за шагом, сквозь гущу травы, приближаясь к штaketнику. Гипнотически вперял взгляд в кругло-фарфоровые голубые гляделки синей птицы, прямо в маленькие чёрные точки её зрачков. И даже побрякивал время от времени тем скрипучим противным голосом, который, по моему разумению, мог быть родственным и понятным сойке.

Птица с радужно-светящимися полосками лазури на крыльях отрывисто, как бы пунктирно, поддёргивала в ответ ладной головкой, стараясь поточнее нацелить на меня свой глуповато-хитрый глазок, переминалась коготками лап на заострённой деревяшке забора и... — не улетала! Да, совершенно невероятно, но в награду за моё неистовое желание, за стихийные экспромты гипнотических жестов и заклинаний сойка так и не упорхнула в совсем уже близкую полутьму дубовых угодий и позволила мне взять себя в руки.

Бережно и крепко прихватив вожаемую добычу с двух чудесно-перистых на ощупь боков, я прижал её к своему тоще-ребристому торсу, к обнажённой по-летнему коже. Наверное, синяя птица вплотную ощутила счастливое сердцебиение в моей охотничьей и сталкерской груди. «Сердце — одинокий охотник»... По крайней мере, сойка, в отличие от моих пленников пятилетней давности, грачиных и галочьих птенцов, даже и не пыталась

тюкнуть мои запястья и ладони своим изящно и боевито вылепленным клювом.

Пять минут движения к расположенному в тенистом закутке лагерному зверинцу были минутами тихого, но всеобъемлющего торжества. Кажется, тогда же возникло, само по себе, не претендуя на мораль притчи, очень острое поначалу, хотя и заглушённое вскоре спамом напластований, ощущение того, что страсть, чистосердечная и бескорыстная, способна на многое, порой на невозможное.

Пожалуй, второй раз подобное ощущение отчётливо вспыхнуло во мне лишь летом 84-го года в телефонной будке на берегу Днепра, как раз напротив киевского речного вокзала. Пока десяток студентов из Магдебурга, гостей Политеха, вверенных моим заботам, и либерализму долговязого добряка-коллеги Ульриха Габберта, дожидались на причале днепровского прогулочного теплохода, я на минуту позвонил из уличного автомата в Харьков, чтобы кратко сообщить домашним о своём скором возвращении. Взявшая трубку мать совершенно неожиданно сообщила, что из Москвы пришла на моё имя телеграмма от издательства «Молодая гвардия». И в ней, — хоть верь, хоть не верь, — высказывалось намерение издательского партийно-комсомольского монстра, к которому обычно ни на какой поэтической козе не подъедешь, выпустить книжку моих стихов.

В голосе матушки, как всегда, не ощущалось никакой радости, но звучал некоторый отголосок любопытства, впрочем, тоже довольно вялого и низкотемпературного. Для меня же неожиданная телеграфная весть из престольного града прозвучала, как гром благодатного ливня среди истомлённого зноем июльского неба. Ведь речь шла о моей первой книжке. И этот сборник-первенец «Всадник-май» действительно вышел вскоре, в начале следующего 85-го года, пусть в конвалюте, в кассете, в «братской могиле», — с барско-хозяйского партийно-комсомольского плеча, — но вышел, без всяких глупостей о коммунизмах-социализмах, о лениных-сталиных, вышел в свет и был прочитан теми, кто этого хотел.

Ещё и доньше не жалеют для «Всадника-мая» доброго слова иные из его читателей-доброжелателей. Такие, например, как



мой московский знакомец 80-ых годов Лёня Колганов, который до сих пор пишет свои русские стихи посреди своих же теперь, ветхозаветных, обморочно-знойных, песков, сползающих к воде Мёртвого моря. В этих его стихах по-прежнему почётное место занимают живые реалии заснеженной декабрьской Москвы 85-го года, улицы и переулки вблизи Бауманской станции метро и Елоховского собора, отсветы и отзвуки молодой пиитической и питейной дружбы — с автором «Всадника-мая», с Леонидом Губановым и Сергеем Касьяновым.

Хотя мне и было вполне понятно, что внезапное решение о «Всаднике-мае» определили конкретные люди, редакторы Галина Рой и Станислав Рыбас, увидевшие нечто в моих творениях, отданных в альманах «Истоки», но всё равно ту летнюю шальную телеграмму из Москвы я воспринял как редкостный и щедрый подарок судьбы. Вот с тем же самым ощущением щедрой улыбки небес, подаренной мне охотно-быстро, без обычной житейской скопидомской тяготины, торговли и предварительных условий, с чувством, испытанным тогда впервые, поспешал я, десятилетний, к лагерному зверинцу Весёлой горы. Блаженно и осторожно-бережно сжимал я двумя руками свою символическую синюю птицу. Пожалуй, и интуитивная надежда на стратегическую силу притч-символов уже покалывала душу десятилетнего отрока. И ещё совсем робко, но поднимались на поверхность из взвеси сознания некие предчувствия будущего.

Старший пионервожатый, неутомимо-бодрый активист лагерного движения, как раз стоял с озабоченным лицом у затянутого металлической сеткой тенисто-сыроватого закутка «зоопарка», где обречённо ожидали предстоящего сворачивания красногалстучных дел пара невозмутимых черепах, чета скучноватых ежей и чернявка-ворона. Правофланговый пионери с любопытством посмотрел на меня, словно открывая в моей персоне нечто неожиданное и новое для себя, и сдержанно похвалил мои способности птицелова.

— Может быть, даже получится Вам её, беглую, отдать, — уверенно добавил вожатый к своей похвале. — Когда Ваш дедушка за Вами приедет... — уточнил он совсем уже почтительно. — Он ведь приедет сегодня? — ударение в его вопросе явно выпада-

ло на последнее слово «сегодня». Видимо, не особенно надеясь, он всё же был бы не прочь оттянуть приезд сурового директора и получить лишний день на свои хлопоты по сворачиванию лагерных дел.

— Сегодня, — ответил я, хотя и не зная наверняка, но заключая логически, что вряд ли Петя оставит меня скучать лишние сутки в отходной лагерной неразберихе вместе с черепахами и ежами.

Когда же, ближе к вечеру, светло-кофейная директорская «Победа» подрулила поближе к моему отрядному павильону, и вышедший из неё Пётр Иванович стал со строгим лицом выслушивать рапорт начальника пионерлагеря, обнаружить старшего пионервожатого ни возле живого уголка, ни где-либо ещё мне так и не удалось. Неотложные заботы напрочь увели его из моего поля зрения. Да и сойки с переливчатой лазурью на крыльях в пионерской клетке не оказалось. Куда-то её, судя по всему, уже успели пристроить.

Разочарование почти и не затронуло меня. Может быть, только совсем лёгкое и по касательной. Нечто, вроде быстро промелькнувшей тени. К своим десяти годам я уже вполне представлял себе, что обещания, особенно данные неохотно и через силу, нередко не выполняются. Десять лет мне исполнилось около месяца назад, и теперь, после возвращения из лагеря в Весёлой Горе, Петя, соблюдая установленную им самим традицию внимания к наследнику фамилии, вручил мне именинный подарок — три тома Николая Островского в коричнево-вишнёвых коленкорových переплётах. Дарственная надпись деда на развороте первого тома датирована 20-ым августа 57-го года. А на форзаце первой книжки четырёхтомника Гайдара, выпущенного в чудесно-оптимистических светло-салатовых обложках, с многофигурным роскошно-золотым тиснением, начертана, чуть пораньше, той же рукой Петра Ивановича, точная дата моего дня восьмилетия: 21 июля 55-го года.

И не отыскать мне, видит Бог, во всём моём полустолетии с гаком, пролетевшим вослед тому фестивальному лету, более памятных подарков, чем эти семь отроческих увесистых томов, чем эта седмица читанных-перечитанных книг, вручённых

мне в заветные июльские дни моим луганским дедом Петром, в крупнокалиберной натуре которого уживались две очень разные ипостаси — жёсткий и суровый командир номерного воензавода и неизменно добрый и внимательный к своим домашним, по-настоящему родной мне, человек.

И ещё один именинный дар деда хранится у меня до сих пор, украшая одну из верхних книжных полок стеллажей. Это вырезанная из дерева неизвестным карпатским умельцем фигурка — орёл взметнул мощные вертикальные крылья и нацелил клюв на пробегающую под ним лисицу. Традиционное изделие выкрашено красноватой морилкой, чей тон всё больше и больше коричневеет с каждым годом — от шума и от пыли времени. Темнеет деревянный орёл, но метафизический взор его как будто бы по-прежнему светел. Петя привёз эту ясеневую штучку из Трускавца, куда ездил лечить водой «нафтусей» свои больные почки, не раз уже оперированные раньше на предмет удаления камней.

Нет, не отпускаю из своего поля зрения ключевые дары из тех времён и пространств. Не отдаю никому предметы, чьё дыхание, по обыденным законам и понятиям, уже давным-давно должно сойти на нет, но которые в более тонких и очеловеченных координатах до сих пор остаются живыми и дают душе всё новые толчки живительной силы. Семь книжек — колера переспелой вишни и цвета юного июньского яблока. И «с ними золотой орёл небесный, чей так светел взор незабываемый». — «Нужно ль больше мне? Или от меня?..» Вслед за БГ и самого себя, совсем ещё зеленоватого, июньски-яблочного, цитирую-напеваю.

Не будь этих Петровых даров, моя ниша для именинных вещиц-символов «на память» зияла бы удручающей пустотой. Отец с неизменным упорством, по причинам, понятным лишь ему одному, никогда не дарил мне, ни в детстве, ни в юности, никаких подарков ко дню рождения. Трудно припомнить и его устные или письменные поздравления с днём 21 июля, по крайней мере, в первые лет тридцать моих жизненных борений. Увы, причины подобного отношения, казавшегося мне лично, как минимум, пренебрежением, заключались далеко не только в том, что обычно в середине лета я отсутствовал в Харькове.

Главная причина состояла всё-таки в редкостно тяжёлом характере родителя, в том, что Константин Иванович, сам по себе, всегда был очень большим «подарком» для окружающих и особенно, к сожалению, для своих близких-домашних. Какие уж тут именинные подарки! Матери и мне доставалось от его «ндрава» больше всех. Как ни хотелось бы мне об этих обстоятельствах промолчать, но из песни слов не выбросишь, а вся наша семейная хоровая песня долгие годы строилась именно на его хозяйском слове — деспотичном и непререкаемом.

Кроме неодолимой властности и сокрушительной вспыльчивости в его характере несомненно присутствовал и некий своеобразный артистизм. В детстве баба Анна и Ванчик учили его, кажется, недолго, игре на скрипке. В возрасте двадцати с небольшим лет он даже написал своё первое и последнее, сказать бы анкетно-нумералогическое стихотворение, в котором и я сам имел честь фигурировать в качестве одного из трёх главных героев:

*Двадцать первого родился,  
двадцать первого женился.  
Двадцать первого числа  
жена сына родила...*

Первая дата в этом опусе — 21 апреля 1926-го года, день рождения отца в Харькове, в старинном больничном здании на нынешней улице имени доктора Тринклера. Вторая дата, 21 марта 47-го года, счастливый день заключения брака с Валею Денисовой, кажется, где-то в ЗАГСе на Рымарской улице. И наконец, третье по счёту двадцать первое число в отцовской частушке — это уже мой кровный июльский день рождения, дата трудного появления на свет, ещё одного жизнелюбца и стихотворца в здешнем не лучшем, но, наверняка, и в не самом худшем из миров. 21 июля того же, 1947 года. Разница всего в четыре месяца между двадцать первыми числами марта и июля говорит в данном случае о многом. В момент моего рождения отцу только что исполнился двадцать один год. Ну, прямо хоть прибавляй ещё одно, четвёртое, число-очко к его бодрому околоанкетному катрену! И, конечно, у него, ясного сокола, не было никакого желания связы-

вать себя узами и вервиями брака в таком нежно-молодом и счастливо-гульливом возрасте.

Константин Иванович, Котя, Котик, как называли его с детства родители, а вслед за ними и моя мать, был к тому времени уже не по годам тёртым и бывалым калачом. До моего появления на свет отец успел обзавестись сыном в Москве, где ему пришлось учиться три года в Бауманском техническом училище с 43-го по 46-ой год. До возраста своих двадцати шести лет я ничего не слышал об этой московской истории. Только в январе 83-го года, в Луганске, куда я приехал хоронить мою Марфу Романовну, тамошние Мусины родственники рассказали мне об этих семейных подробностях, до того момента для меня совершенно секретных.

Ребёнка, родившегося у Котика в Москве, назвали Петром. Наверняка в честь нашего луганского Петра Ивановича, который приходился дядькой моему отцу, а мне стал любимым дедом. Петя в те годы как раз директорствовал на номерном заводе в подмосковном Подольске и, чем мог, содействовал оказавшемуся рядом студенту-племяннику. Семья тогда в Москве, по неизвестным мне причинам, у отца не состоялась. Но можно предположить, что становиться кормильцем и главой семьи в 19 лет он не особенно стремился. В 46-ом году Котя перевёлся из МВТУ после трёх курсов обучения в группе Е-61 артиллерийского факультета в Харьковский машиностроительный институт, который именовался ранее, да и теперь снова называется машиностроительным факультетом Харьковского политеха. Вполне вероятно, что появление на свет неузаконенного младенца Петра Константиновича подтолкнуло студента-бауманца и, кроме того, бравого нападающего волейбольной команды МВТУ, к возвращению в Харьков.

Выходит, что с осени 46-го года по 21 марта 47-го отец с матерью, не без моего молчаливого, внутриутробного, участия, усиленно, и наверняка болезненно, судили-рядили, как быть с нашим общим семейным будущим. Как быть и с моим, в частности, хотя бы каким-нибудь вообще, будущим. Лихого шармёра Константина Ивановича, так же, как и в московском случае, наверняка не привлекала перспектива утраты личной свободы. Собственно, и некоторые отголоски реального существования той трудной дилеммы звучали пару раз в высказываниях отца в его, уже

последние, годы. Скорее всего, в родительском решении — всё же оставить меня на свете — существенную роль сыграл и тот факт, что в годы сталинского правления аборт был законодательно запрещен. Всё же после пяти месяцев тревожной неопределённости, и ровно за четыре до моего рождения, запись о вступлении в брак моих юных родителей была сделана — да, да, где-то именно там, на Рымарской улице.

Так что, при всей сложности и неоднозначности моих отношений с отцом, важность исходных обстоятельств для меня несомненна — в давнем моём появлении на свет заслуга Константин Ивановича должна быть оценена вдвойне. Во-первых, пусть и не долго думая, зачал меня, с налёта, с наскока. А во-вторых, чрезвычайно нелёгким усилием воли, переступив через собственное полнокровное эго, решился не казнить, а миловать вцепившегося в жизнь незапланированного младенца и даже принять его под отцовское крыло. Стало быть, сам я имею все основания праздновать события того 47-го года как своё первое спасение. Как минимум, ещё дважды в моей дальнейшей биографии, через десятилетие и через два с половиной десятка лет после того первичного «подвига» отца 47-го года, ему было суждено снова, вольно или невольно, сыграть роль моего ангела-охранителя.

## ГАРИК-ЧЕМПИОН

Летом 58-го года отец взял меня с собой в поездку в живописнейшие холмисто-лесные Гайдары, куда его пригласил на воскресенье давний коллега Целовальников, в тот момент уже заменивший прежнего отцовского шефа Панкова на посту директора станкозавода. Василий Кузьмич, отец моего приятеля Игоря Целовальникова, отдыхал там в рыбацкой палатке прямо на берегу Донца, как раз вместе со своим младшим сыном, то есть с Гариком. Оба они были слегка разукрашены приставшей к коже мелкой серебристой чешуёй и выглядели закоренелыми рыболовами. И повсюду, рядом с их палаткой, путались под ногами незатейливые рыболовецкие причандалы — лески, удилища, подсаки, катушки и рогульки-подставки для удочек-закидушек.

Великолепное, полное света, июльское утро, обилие кислорода, романтический вид рыбацкой поляны под одним из густозелёных береговых склонов Гайдар — всё это разом хлынуло мне в грудь и в голову волной восторга, всколыхнулось ощущением, что отныне и навсегда этот мир пребудет прекрасным. И потеряв голову сначала вдохновенно-метафорически, я тут же едва не утратил её в самом лобовом, прямолинейном смысле слова. Плавать в свои одиннадцать я всё ещё не умел. Просто-напросто негде было научиться. Бассейнов в те суровые годы неустанной борьбы за мир во всём мире практически не существовало, по крайней мере, в доступной мне части Харькова, и никто мне даже не сообщал о их существовании. Прошлым летом в луганской Весёлой Горе одно-единственное купание на мелководье Донца продолжалось, от силы, десять минут. И всё, что можно было себе тогда позволить, — это пронырнуть несколько раз вдоль берега в оголенной купальне, где глубина не превышала полуметра.

И вот, тот юный «хомо луденс», человек играющий, охваченный приливом восторга от полновоздушия и полноцветья июля, вызревшего на лоне зелёных Гайдар, и сиганул, нырнул с размаху, со всей дури, от берега в сторону могучей фигуры отца, который уже стоял по грудь в прохладной воде Донца. Вынырнув, я уже не ощутил дна под ногами. Гибельный испуг мгновенно ударил по каждой клетке организма, и дыхание от шока полностью перехватило. Ни вдохнуть, ни крикнуть что-то не удавалось. Помню только, что отчаянно отталкивая ногами тянущую ко дну пустоту, я смог удерживать несколько секунд над поверхностью воды судорожно раскрытый рот, которым никак не мог ухватить ни глотка воздуха.

Повезло мне, видимо, и в том, что я не успел нахлебаться и уйти под воду, и в том, что отец, стоявший неподалёку, довольно быстро заметил моё положение. Не говоря ни слова, он тут же подхватил меня огромной левой ручищей и правой в ту же секунду отвесил мне с размаху спасительную затрещину. Прямолинейный силовой подход на этот раз возымел действие — дыхание восстановилось, шок миновал и я смог наконец вдохнуть в себя новую порцию воздуха.

Не знаю, понял ли отец, что, повернись он ко мне несколькими секундами позже, всё закончилось бы, наверняка, фатально. Похоже было, что он не снизошёл до определения этой ситуа-

ции как смертельно-опасной для меня, тем более, что выглядел занятым своими собственными мыслями — к Целовальникову он приехал всё же, как я уловил, не просто на пикник, но с намерением обсудить в непринуждённой, тёплой обстановке некие насущно-производственные нужды. Как бы там ни было, склоняюсь к ощущению, к догадке, что эту его вторую спасительную миссию, на сей раз как бы совсем мимолётную, судьба подбросила ему, да и мне тоже, не без важного умысла. Никогда не декларируемое, но реально данное единство между нами этим эпизодом радикально укрепилось. Нечто важное, уже подвергнутое ранее множеству психологически разрушительных атак, срослось и склеилось тогда по живому. Как минимум, этот его секундный жест спасения, — пусть почти небрежного, пусть в духе его норова, почти с барского плеча, — но жест абсолютно весомый и свершившийся, — был, конечно, зачтён ему свыше. И, не сомневаюсь, что зачёт этот не имеет срока давности.

По крайней мере, мне то июльское происшествие наверняка добавило душевных сил, чтобы вытерпеть всю родительскую «сумму психологии», всё множество вспышек и выплесков почти постоянно дурного отцовского настроения, его нередко грубые, и порой ничем не объяснимые выходки. Вынести всё это с внешним смирением и сыновьей учтивостью — вплоть до третьего спасения Исаака, выпавшего на моё двадцатипятилетие, и вплоть до самого упора — до ухода отца из жизни в 96-ом году. В тот день на Донце мы ни словом не стали обсуждать случившегося. Целовальниковы, по-моему, и вовсе ничего не заметили, настолько стремительно те, притчевые для меня, события и начались, и закончились. А мне и сегодня страшно вообразить себе, что только-только засветившийся тогда след моего существа и сознания так и мог оборваться в тот день в Гайдарах, внезапно и бессмысленно.

*В чёрно-белом кино тонет крейсер «Варяг»,  
сквозь сучки отщепенства и нищенства гул  
в дежавю вседержавия целится враг...  
И в июльский Донец я с разгона нырнул,  
дабы, вынырнув, вспомнить, как поздно теперь  
на одном лишь отчаянье к берегу плыть...*



*Где отцова ладонь, что тяжка, словно дверь?  
Где волошки и крестики, матушки нить?  
В отщепенстве моём — доживать мне без них.  
Вспоминает душа, солонеют глаза.  
По любви от заката зачавшая стих,  
багрянеет фамильной реки полоса...*

Эту окрашенную и багрцом, и золотом закатного солнца вечернюю ленту Северского Донца я в полной красе мог созерцать много позже с меловых откосов Святогорья. Что-то разом и близко-родственное, и окликающее незапамятные, почти утерянные, времена-имена, таилось в переливах темнеющего багрца на живой ряби воды, в извивах уходящего вдаль русла фамильной реки. И в то же время нечто явно язычески-жертвенное проступало в багровом тоне закатного Донца.

Да, мне посчастливилось в том, что рядом оказался мой атлетичный и ловкий отец, данный мне свыше казнитель и хранитель. А Вова Цыбаненко, любимый племянник Марфы Романовны, отец моей луганской сверстницы Галки, погиб, купаясь в той же реке. Сын Андрея Романовича, младшего брата Муси, молодой лейтенант милиции, распахнутоглазый и ничуть не похожий почти детским лицом на мента, это именно он сделал множество бесценных для меня фотоснимков в том самом саду, где «деревянные ступени» веранды «грустным голосом поют». Навсегда памятных снимков — вместе с Петей и Колей, вместе с Марфой Романовной и Галкой. И утонул он в жертволюбивом Донце, совсем молодым, не достигнув даже тридцатилетия.

Донец забрал и Валеру Бархата, симпатичного, слегка приклатнённого парня, спортсмена и моего давнего знакомца по посёлку станкозавода. Он неожиданно встретился мне снова через шесть лет после моего переселения с окраины в центр, оказавшись физруком заводского пионерлагеря, куда я с великой неохотой отправился в августе после окончания промежуточно-выпускного восьмого класса и после возвращения из своего первого, июльского, путешествия к Чёрному морю.

Физрук Валера тогда, помнится, очень вовремя вытащил меня, одобрительно посмеиваясь, из лаокооновой троицы тел, на-

мертво сцепившихся на траве в финальной стадии выяснения отношений. Двое в той лежащей скульптурной композиции, которая возникла при переходе в цугцванг рукопашной стычки, были моими оппонентами, а третий — я сам, уже явно уставший удерживать в клинче здоровенного лба Лисицкого с жёлтыми чингизовыми глазами и одновременно его густо-конопатого приспешника-слабака, имени которого уже не берусь припомнить. Утонул Валера Бархат в быстрой и светлой реке, играющей, однако, тёмными мыслями в своих глубинах, тоже жестоко-рано, едва перешагнув своё двадцатилетие.

Но долго размышлять тогда в Гайдарах о случившемся у меня не было времени. Едва сумел я отдышаться и опомниться, а Гарик Целовальников, успевший собрать удочки и наживку, уже уводил меня на лесное озеро, в километре выше по течению реки, — ловить окуней. Вдвоём с Гарюном мы снова пошли, теперь уже в обратном направлении, по скользкой глинистой тропе вдоль самой кромки Донца, по той самой дороге, которою всего час-полтора назад пробирался я вслед за отцом, когда он только ещё высматривал рыбацкий бивак Целовальниковых. Плотно-сочные шершавые листья осоки доставали до груди, а копьеобразные стебли камыша расступались и снова сходились над моей головой. Солнце ярко просвечивало сквозь полнокровную зелень, и идти этой дорогой хотелось вечно.

Лесное озеро, к которому уверенно привёл меня Гарик, располагалось в девственном сосновом бору, и стволы сосен вспыхивали при движении то здесь, то там ярчайшим розово-золотым колером, отражая солнце лоскутками своей коры. Озеро густо заросло по берегам осокой, и забрасывать удочки было довольно неудобно, но зато окуни клевали с ходу, с лёту, заглатывая крючок с дождевым червяком сразу же, как только он успевал коснуться воды. То была моя первая в жизни ловля, и новая волна восторга, как и перед недавним прыжком в Донец, охватила меня. Что-то абсолютное по чистоте и силе чувства, что-то исконно первобытное, охотничье просыпалось внутри, когда левой ладонью я ухватывал и сжимал выдернутого из озера окунька. Осязательное ощущение от зажатой в руке добычи, влажной, трепещущей, царапающей ладонь шершавым наждаком чешуи и колкими

перьями плавников, обдаёт первозданной свежестью и азартом и до сих пор. И словно шевелилось в том варварском охотничьем восторге, губительном для радужно-полосатых окуньков, нечто от сакрально-жестокого языческого песнопения:

*Когда врага пронзит твой нож,  
ты улыбнёшься: «День хорош!»*

Ловили мы с Гариком каждый одновременно на две удочки, и порой приходилось выдёргивать из озера двух разноцветных колючих красавцев одновременно. Увы, земляные червяки, накопанные моим старшим напарником, вскоре закончились. Накопать новую наживку в песчаной почве соснового бора не удалось, и, нагруженные доброй сотней пойманных рыбёшек, мы возвратились к Донцу, на поляну с палаткой. Слаще, вкуснее той жаренной на сковороде свежепойманной рыбы, да ещё и выловленной собственными руками, мне не приходилось пробовать ни раньше того дня, ни в будущем. Пожалуй, ещё только ядрёные бычки, надёрганные мной леской с пирса на Азове, в Кирилловке, несколькими годами попозже, запомнились тем же несравненным вкусом.

Константин Иванович и Василий Кузьмич с удовлетворением на лицах содрали станиолевую шляпку-крышку с бутылки «Московской» водки, принесённой моим отцом. Её зеленоватое стекло и бело-салатовая, аскетическая по дизайну этикетка, её непоколебимая цена «два восемьдесят семь» долгие годы, — и под хрущовскую крикливую болтовню, и под тоскливое брежневское бормотанье, — символизировали в тот период полную стабильность на одной шестой части земной суши. Так же, собственно, как являлось символом неподвижности-стабильности и само название продукта «Московская», ибо первопрестольная Москва оставалась всегда и всему головой. В том числе и головой — маленькой станиолевой головке бутылки водяры, всенародной и счастливо доступной по цене. Все наиважнейшие, стратегические вещи, — и бывшие проспекты Сталина, и любимый всем людям-народом напиток для сугреву, — именовались Московскими.

Отец Целовальников был большим и заслуженным любителем выпивки. Эта страсть неизменно сопровождала Кузьмича

в течение всей его жизни, несмотря на исполнение им ответственных руководящих обязанностей, вроде руководства станкозаводом имени Молотова-Косиора. А может быть, и даже вероятнее всего, сопровождала в естественной связке с начальнической работой. Ибо хорошо известно, в частности, с каким злобным подозрением относился генсек товарищ Сталин к тем, кто пытался уклониться от опрокидывания в себя бокалов на его вельзевуловых пирах, на полночно-вурдалачьих партсборищах высшего звена.

Это только бравому донецкому шахтёру Засядько простил лучший друг физкультурников его принципиальность, когда на кавказской дачной встрече со Сталиным отважный хохол-углекоп после четырёх выпитых стаканов водяры накрыл гранчак заскорузлой ладонью и твёрдо отказал вождю: «Усё! Засядько норму знае!» Простил тогда мудрый пахан засядькину дерзость. Простил за твёрдость и решительность донбасского работягу и тут же по прибытии в Москву назначил правильного шахтёра министром угольной промышленности СССР.

Наверное, Василий Кузьмич свою норму тоже, более или менее, знал, поскольку бухал, как и великое множество других советских людей самого разного статуса, долгие годы — охотно и постоянно, плавно и без рывков. К несчастью, передал он эту свою предрасположенность к змию зелёного колера и обоим своим сыновьям. Старший сын Целовальникова, Владик, повторил, почти один к одному, Василия Кузьмича — и лицом, и фигурой, то есть, удался таким же длинно-тощим, унылолицым и склонным к раннему облысению. Каждый вечер Владик, возвращаясь с какой-то своей инженерной работы домой, к четвёртому подъезду, пересекал двор нашего общего дома на Московском проспекте в одной и той же, зыбко-заторможенной кинематике. При этом основная линия его движения включала в себя, как бы совсем естественно, некие, уже вполне отработанные, килевые и боковые покачивания с умеренной амплитудой. Пересекал он дворовое пространство всегда без эксцессов, совершенно беззвучно, так и не произнеся за долгие годы ни единого звука.

Гарик Целовальников, младший из двух братьев, с самого детства занимался, в предельно-напряжённом режиме вело-

спортом. Упирался, на моих глазах, ещё со времён посёлка, упрямо-набыченным лбом в пространство и время, во все препоны, твёрдо нацелившись добиться своего. Ему и удалось достичь желанных спортивных побед. Сначала выигрывал первенства Союза по велотреку, всякий раз отчаянно сражаясь на самом финише с гранитными бёдрами и икрами грузина Омари Пхакадзе. Стал наконец первым советским олимпийским чемпионом в трековых гонках, добыв в 72-ом году в Мюнхене, в паре с одесситом Семенцом, золотую медаль в заездах тандемов. Так что, в свои лучшие, по-настоящему славные спортивные годы, Гарик и подумать не мог о наследственной тяге к матушке-водяре.

Всё изменилось к худшему после Мюнхена. Гарик в свои двадцать восемь лет, уже обзаведясь симпатичной женой-блондинкой и двумя пацанами-погодками, тоже светлоголовыми и складными, совсем в маму, продолжал тесниться в той же квартире, на четвёртом этаже и в четвёртом подъезде нашего дома, где жили его родители и проблемный старший брат с супругой. Итого, их там, в трёх небольших комнатах, проживало, — простых граждан, красных директоров и советских чемпионов-олимпийцев, — восемь человек. Наверняка, умываться по утрам им, восьмерым, было непросто. Гарик на вдохновенной волне олимпийской победы рискнул было поправить своё материальное положение — совсем никакое, как и у прочих законопослушных граждан Страны Советов. Рискнул откликнуться на предложение неких баварских коллекционеров спортивных редкостей и продать свой-несвой, — державный, по самому большому счёту! — золотой олимпийский велосипед-тандем. Лишил, выходит, Гарюн свою советскую родину уникального экземпляра спортивного инвентаря.

Попало Игорю Васильевичу от строгих блюстителей нравственности по первое число. Вплоть до того, что в наказание он остался без ордена Трудового Красного знамени, которым родина отметила его партнёра по тандему Семенца. Ну, и наверняка прозвучало указание компетентных органов взять Целовальникова покрепче за жизненно важные части тела и притормозить в дальнейшем его неумеренно самостоятельные движения. Вскоре Гарик оставил велоспорт и был определён родным ментовско-ди-

намовским спортобществом на работу преподавателя спортивной кафедры в военно-воздушной академии Крылова, для начала в капитанском чине. После десятка лет напряжённой борьбы на спортивных высотах делать ему на кафедральных подмостках было явно не фиг, ловить и ожидать, кроме майорской звезды, — тем более нечего, и Гарик основательно и конкретно запил. То есть, начал бухать, как выяснилось, раз и навсегда, без каких-либо перерывов, по образу и подобию отца и старшего брата.

Академия имени Крылова, где нашёл пристанище бывший чемпион-олимпиец, располагалась на углу Сумской и Динамовской улиц, в полусотне шагов от моего жилища на Чернышевской. По этой причине в конце семидесятых годов мы стали снова частенько пересекаться с Гариком, впервые, пожалуй, с 70-го года, когда я после смерти Ванчика, моего деда Ивана Ивановича, перебрался с Московского проспекта к бабе Анне, в старое фамильное гнездо на Чернышевской улице. Из этой квартиры в своё время, в возрасте двух лет, я уже был выкурен, вместе с родителями, на городскую окраину её же, Анны свет Алексеевны, фокусами, тем самым её тяжким нравом, который она в полной мере передала и моему отцу. И вот, в семидесятом, — теперь уже в известной мере по собственному выбору, — я переместился, подальше от отцовских вспышек деспотии, в обратном направлении, к бабе Анне, осиротевшей и растерявшей за двадцать лет основную часть своей нетерпимости. Надо сказать, что мы с ней вполне ужились и даже смогли не отощать, пробавляясь по началу моей стипендией и её пенсией, а через год и моей инженерной зарплатой, которая составляла в течение нескольких лет аж целых восемьдесят семь советских рублей — сто рублей ставки минус тринадцать налога.

С Гариком мы обычно встречались в те последние семидесятые годы на трамвайной остановке «Улица Маяковского», откуда 5-ый и 20-ый номера жёлто-красных трамваев могли довести нас до площади Руднева. Более или менее регулярно я родителей навещал. За эти несколько лет Гарюн, в плотно сидящей на его могучем торсе военной форме, сначала с капитанскими, а потом и майорскими погонами, так ни разу и не повстречался мне не поддатым. Ну, не страшно, даже наоборот — состояние внутрен-

него подогрева и благодушия всякий раз при этих спонтанных встречах подталкивало его к дружелюбному и улыбчивому разговору по всей дистанции трамвайного маршрута. При этом содержание его тепло интонированных речей неизменно оставалось туманным и невразумительным. Само собой, я терпеливо слушал всю дорогу старого товарища, ничем не мешая течению его сбивчивой мысли, густо смешанной с алкогольными парами.

Закончилось всё быстро, неожиданно и трагически. В одно из воскресений Гарик вышел из дому в магазин и возвратился в квартиру на Московском проспекте с новой порцией пива. За столом он внезапно подавился куском мяса, и ни присутствовавшая при этом жена, ни кто-либо ещё не смогли ему помочь. Говорят, что он, огромный и могучий, метался по кухне, бился своим большим упрямым лбом о батарею, но задохнулся, и приехавшая скорая помощь уже не пыталась его реанимировать. И лет ему было к тому жестокому и поспешно-судному моменту всего-то тридцать с копейками, под сорок, — жить бы ещё целую вторую половину жизни.

Равнодушный, лишь изредка проявляющий куцее любопытство, мир других людей может при случае припомнить Игоря Васильевича Целовальникова как олимпийского чемпиона уже далёкого 72-го года. Для меня же он в первую очередь остался близким товарищем многих и разных моих лет, большелобым, крепко сколоченным, упрямым, независимым, и в то же время легко улыбчивым и обаятельным, парнем. Приятелем, с которым мы азартно стучали медными пятаками и трёшками-алтынами о краснокирпичную кладку железнодорожной поликлиники, то есть, об одну из стен нашего двора. Дружком, с которым мы, с ещё большим азартом, заколачивали шайбу в деревянный магазинный ящик у той же стены, гоняя резиновый кругляш клюшками по горбатому обледеленному асфальту нашего кособокого дворового квадрата. То был очень народный и беспородный хоккей — сражение один на один, с беготнёй на подошвах, без всяких там излишних коньков. Но игра эта явно доставляла нам обоим неподдельную радость и понемногу открывала, вслед за полнозвучным хохотом и крепко-добротным комментарием, новое, более сильное дыхание.

Но подлиннее всего, в самом справедливом, светлом и полно-воздушном, пространстве-астрале, видится мне Гарик — ещё четырнадцатилетним, раздвигающим высоченные камыши и осоки на тропе вдоль июльского Донца 58-го года, в Гайдарах, залитых солнцем и трепетом зелёной листвы. Он несёт на крепком плече четыре удилища из побегов орешника и уверенно ведёт меня к сосновому бору, к окунёвому озеру, самому лучшему озеру в моей жизни. Вот несколько моих строчек о друге, написанные через полвека, но ведущие мою верную память о нём по живому следу:

*Гарик Целовальников — как Оскар Уайльд.  
Светятся, на выкате-вылупе, глаза.  
Помнится, на велике, третьеклассник-чайльд,  
нездоровой местности первенцы-друзья.  
Как плечища мощные, — железобетон, —  
в домовину втиснул ты — я не увидал..  
Как «в пристенок» резались, кореш-чемпион,  
это помню! — Звонкий наш медный капитал*

*с Гарюном делили мы, о кирпич-торец  
ударяя — с воплями! — пятаком-гербом.  
И гербу, с колосьями, с лентами, — копец,  
и уплыл от площади Фейербаха дом  
к незнакомой пустоши, к музыке чужой..  
Прошное охрупчилось, хрустнула педаль.  
Лишь сияет в Мюнхене, на груди большой  
олимпийца-гонщика, золото-медаль.*

*Глория, виктория! А и не попрёшь  
против факта — фак его! — сторговал Гарюн  
велик героический за германский грош!  
На зеро нарезался Игорёк-игрун..  
Завертелось спицами, под гору пошло —  
не у дел динамовец, из бетона куб!  
Целовал целебное цельное бухло  
Гарик Целовальников, аж до сини губ.*



*Руль держал, пикировал — лет до сорока,  
до нелепой гибели — нет, не просыхал.  
Проводы поспешные, смытая строка...  
Но не ящик вижу я — школьника пенал!  
Но на икрах бронзовых, вздутых, — чем не он?  
По двору промёрзлому, с клюшкой, без коньков?  
Гарик Целовальников, братец-чемпион!  
Так мы и представимся — там, средь облаков...*

И всё-таки ещё несколько слов об отце. Теперь уже плотную — и благодарней, и больней, и почтительней, и несмирненней. И с безрассудной, идущей из глубин моего естества, любовью. И с чем-то, очень похожим на отголоски давних, но никак не сходящих на нет, чувств обиды, горечи и даже, — в иные из минут, — гнева-ненависти. Императорское имя и замашки безжалостного деспота, величие породистого облика и обидные выплески эгоцентризма, до сих пор не позволяющие мне смириться с прошлым, — всё это он, отец, Константин Иванович.

«Чти отца своего, и пребудешь в долголетии твоём...» Не забываю, чту — воистину по внутреннему завету. Но и читаю столь же истово его Константиновы, отнюдь неканонические, послания. Всё ведь, написанное родственным пером и не вырубленное топором, по-прежнему остаётся перед глазами — нацарапано кирпичом и мелом на асфальте, растеклось мазутными и дождевыми потёками по скудной городской почве. И всё это, незабытое, высвечено в летних небесах гадательными силуэтами закатных облаков, татуировано по воздуху иероглифами стрижиных крыльев.

Тот случай со спазмом дыхания на июльском Донце я вправе числить своим вторым спасением. Вторым эпизодом, когда мне была подарена, — без всякого преувеличения, — моя жизнь, вторым ключевым моментом, к которому снова, — вольно или невольно, но решительно и решаяще, — приложил свою могучую ручищу мой отец-удалец. Свою мощную и тяжёлую десницу, которую он сам нередко с гордостью называл «лёгкой рукой» — счастливой едва ли не во всех начинаниях.

## ВРЕМЯ СУЧЬЕГО ВЫМЕНИ

Небесам было угодно, — и я усматриваю в этом намного больше, чем очередную случайность, — чтобы и к эпизоду моего третьего спасения мой цезареликий отец приложил свою тяжеленную, и лёгкую на подъём, руку. Ту самую мощную воинскую лапищу, напоминающую обводы морской звезды, которую, кстати, он щедро передал мне в наследство. Подарил в оригинале — удивительно точно повторённую и формой, и размером, и тяжеловесностью, и склонностью к стремительно-взрывному движению.

Эта третья картина житейского триптиха о константиновом сыне, — не то, чтобы блудном, но всё ещё не оставившем блужданий по невнятным пространствам-временам, — точнее говоря, третья, центральная и цветная, доска складня имеет существенные отличия от первых двух, сказать бы, вводных, сюжетов. Отличия проявляются и в существенно более позднем времени событий, и в объёме-протяжённости испытаний, и в большем разнообразии деталей разветвлённой и многомерной аллегории.

Ко времени тех событий мне уже натикало почти двадцать пять лет. Больше двух лет прошло с мая 70-го года, когда умер мой дед Иван Иванович, добрый, заботливый и всегда деликатный Ванчик. Тогда я и перебрался от родителей на Чернышевскую улицу к бабе Анне, которая осталась одна в двух комнатах обширной запущенной коммуналки, в доме постройки двадцатых годов. К тем событиям, как уже упоминалось, Анна Алексеевна Чемерис-Шелковая уже утратила большую часть своей прежней властности и совсем не хотела оставаться в одиночестве в двух опустевших огромных комнатах. Меня же нетерпимость отца выталкивала с Московского проспекта точно так же, как двадцать один год назад фанаберия бабки-турчанки, его матери, выжила и его самого, — вместе со мною, двухлетним, заодно, — с улицы Чернышевской на окраинные «просторы родины чудесной». Что-то я вспоминаю, в который уже раз, о этих встречах переселениях, так похожих на побег... «Но строк постыдных не смываю».

Турчанкой я именую бабу Анну опять же лишь условно. Никаких конкретных свидетельств о её турчанстве или иных горячих кровях у меня нет. Разве что, их унесла с собою в мир иной

Мария Зазимко, моя прабабка, так жутко покончившая с собой в начале прошлого века. Но ощущение врождённого магнетизма густой, одновременно и враждебной, и родственной, крови нередко возникало у меня при взгляде на Анну Тёмную, мою бабу. Не оставляет оно меня и до сих пор. Вспомню ли её собственный, цвета яркого чернослива, выкат анатолийских очей. Или же оживлю, — с ещё большим эффектом! — свирепо округлённые, вспыхивающие с пол-оборота бешеным огнём каре-зелёные глаза её единокровного сына Котика, моего отца. Как бы там ни было, но мы, вдвоём со смягчившейся к этому часу Анной Алексеевной, начиная с 70-го года, нашли общий язык, ужившись в старом семейном гнезде вполне мирно и родственно.

В апреле 71-го года, когда, закончив инженерно-физический факультет Политеха, я уже приступил, — надо сказать, без особого желания, — к научной работе, за жалкие гроши, на родимой кафедре динамики и прочности машин, догнала меня первая, звонковая неприятность этого опасно-переходного периода, этого натужного вставания в совершенно бесперспективную, на мой взгляд, батрацки-нищенскую жизнь советского инженера.

На кой хрен нужно было учиться пять с половиной лет, долго и нудно, на самом «умном», по общему мнению, факультете — на инфизе? Зачем надо было, семестр за семестром, сдавать пять-шесть экзаменов в каждую сессию, сдавать по привычке самоутверждения на отлично? Затем ли, чтобы теперь, вручив свои батрацкие восемьдесят семь рублей месячной зарплаты искуснице бабе Анне, нахваливать её капустные котлеты и свекольную икру? Ни на что другое, помимо скудного прокорма, средств от постыдных институтских заработков не оставалось.

Но отсутствие денег и соответственно неких благ меня в общем-то мало удручало. Тем более, что каких-либо радостей жизни, которые возможно было бы купить за наличные, вокруг, вплоть до горизонта, принципиально не просматривалось. По крайней мере, возвращённый отцом в условиях материального аскетизма и примата понятия «надо», я не стремился в те специфические круги, вроде взбрыкнувшей в конце 50-х годов в Харькове группы «Голубая лошадь», где озвучивались и пробовались на ощупь чуждые советскому человеку радости и ценности.

Намного больше удручало меня то, что в тот момент никаких, ну абсолютно никаких, перспектив в своей инженерной работе я не видел. Точнее говоря, даже не пытался, упорно не хотел их искать по своему казённому адресу — улица Фрунзе, 21, ХПИ имени В.И. Ленина. Получив инфизовский диплом с солидной формулировкой специальности «инженер-механик-исследователь», я снова, после пяти лет перерыва, возвратился к сочинению стихов. Смутно и, по фамильному обыкновению, весьма страстно нарастало влечение к неким литературным свершениям. Однако осмыслить эту линию движения яснее мне не удавалось, ибо, к сожалению, не появлялся в моём поле зрения сколько-нибудь стоящий собеседник или советчик, связанный с писательским делом, или хотя бы просто человек гуманитарного душевного строя.

С момента февральской защиты диплома по апрель состояние внутренней напряжённости и смятения никак не оставляло меня. Ощущение того, что меня бесцеремонно, раз и навсегда, затолкали в чужие сани, не давало покоя. Добавляло дрянного привкуса и понимание того, что и сам я довольно крепко помог себе оказаться не в своих и не туда несущихся санях. В общем, жёсткий и поучительный ответ внешнего мира на состояние моего внутреннего раскола не заставил себя долго ждать. Ибо не смеет дом, тем более внутренний душевный дом человека, разделяться в себе самом, если надеется устоять. Разве что такую урочную цитату-притчу оставалось мне извлечь из довольно жестокого поучения апреля 71-го года.

В тот вечер, в середине уже повеявшего теплом месяца Аврелия, я условился с бабой Анной о недолгих приятельских посиделках у нас на Чернышевской. Естественно, пригласил к себе непременно участника подобных мероприятий «дедушку Коломака», моего соученика и ближайшего приятеля, и напротив, как-то неестественно, — совсем непонятным, шальным образом, — позвал Милю Зарецкого, жившего со мной в одном доме. Миля был труднопереносимым в общении трепачом, циником и похабником. Когда он начинал, как всегда, с огромным энтузиазмом, травить очередную из бесчисленных историй о собственных бравых похождениях, ни остановить его, ни вклиниться

в его тираду хотя бы единым словом было совершенно невозможно. Ныне он уже долгие годы является гражданином Соединённых Штатов мистером Сэмом Зарецки. Тогда же он всего-навсего проживал в соседнем, торцевом, подъезде и числился куда более близким знакомым Валеры Коломака, чем моим. Кроме двух приятелей, ошастливила нашу скромную вечеринку своим приходом и томно-волоокая, статно-высокая красавица Тоня Байбак, обитавшая по соседству со мной на Московском проспекте, в доме над речкой, перед самым Харьковским мостом. На этом самом асфальтово-чугунном, юбилейно-узорчатом мосту мне, собственно, и удалось познакомиться с яркоглазой и нежнолицей Тоней за пару лет до несчастливых апрельских посиделок. В событиях же того вечера ей удалось, вполне успешно, хотя и невольно, сыграть для меня классическую роль поучительницы-Иудифи.

Проводив ягодногубую Антонину, вослед нашей с нею невинной и какой-то бестолково-спонтанной размолвке за столом, к трамвайной остановке «пятёрки» на угол Мироносицкой и Маяковского, я возвращался к оставшимся в доме двум собеседникам по улице Жён Мироносиц. И ходу-то предстояло мне по ней, носившей тогда, конечно, имя железного Феликса, метров сто, не больше. Я уже приблизился к перекрёстку улиц Дзержинской и Правды, к тому самому, на который выходил и серый 93-й дом Пироговых и Александры Ивановны, где четверть века назад встретились мои родители. Да и моё нынешнее жилище на Чернышевской находилось уже совсем рядом, на расстоянии какой-то сотни шагов. Наверное, и от расслабляющей близости мемориальных, давно уже совсем своих, каменных точек опоры умудрился я утратить в тот момент здоровое чувство осторожности.

Но главной причиной потери бдительности, точнее, чувства суровой реальности, было, конечно, то общее фоновое состояние неопределённости и растерянности, из которого я не мог выбраться последние несколько месяцев. Длилось витание в облаках, без руля и без ветрил, в полуразобранном виде. Скомканное сознание не переставало ни на минуту рифмовать внутри меня нечто невинное и вяло-одурманенно тянулось к ожиданию, что наконец-то в моей тупиковой жизни произойдёт что-то значительное.

Оно и произошло. Нечистая сила оказалась тут как тут, привлечённая моим душевным вакуумом. Метрах в десяти за моей спиной, из подворотни углового дома по Дзержинской, вышло пятеро корешей приблатнённого вида, окрашенных в одинаковый невнятно-серый цвет уже загустевшими сумерками апреля. Кто-то из шайки цыкал зубом, кто-то крайне озабоченно хлопал себя по карманам в поисках курева.

— Эй, паренёк, подожди! — окликнул меня один из пятерых, примерно моего роста, жилистый и стриженный коротко, почти под ноль. Сдуру, и пребывая во вселенской своей прострации, паренёк подождал. На свою же умную голову, на свою беду.

— Закурить не найдётся? — выдал жилистый традиционный вопрос вместе с тяжёлой порцией перегара, подойдя ко мне вплотную. Сколько уже раз на тёмных и гиблых харьковских улицах мне удавалось так или иначе ускользать от таких же блатняцких прикуриваний, счастливо просачиваться сквозь трещины пространства, проскакивать мимо шпаны быстрым шагом, отнекиваясь на ходу. Удавалось раньше, но не в этот вечер.

— Да нет, не курю — сам удивляясь, будто бы со стороны, глупой беспечности и какой-то совершенно неуместной весёлости своего ответа. А ещё больше удивляясь тому, что я вообще остался стоять на углу, поджидая явно опасную шоблу, сгорбившую все пять волчье-серых спин, компанию, наверняка только что засосавшую в тёмном дворе по бутылке спиртной бодяги на брата.

— Ну, так я тебе дам прикурить! — услышал я сдавленный голос жилистого, замечая, ещё до удара, блеск железяки кастета в его руке. Удар бандитского оружия обрушился слева прямо на середину кости носа. Коротко ахнув, я присел почти до асфальта. Приподнявшись, тут же попытался нащупать раздробленный нос на его обычном месте, посередине лица, но рука находила там только пустоту. Только где-то у правого уха нащупал я его — с немым, заторможенным удивлением, ещё не успевшим перейти в фазу испуга и отчаянья. Да собственно, отчаянья и не наступило. Уже не раз приходилось мне ловить себя на том, что именно в самые критические минуты приходит на помощь некое неожиданно-спасительное, — и логичное, и парадоксальное од-

новременно, — спокойствие, далеко не всегда свойственное мне в обычные минуты. словно некое реликтовое сгущение и удвоение сил поднимается из глубин варварской, терпеливой и привычной к жестокости, генетической памяти.

В квартире на Чернышевской, подбежав к зеркалу, я увидел подтверждение пугающих разрушений — нос был полностью снесён кастетом далеко на правую сторону лица. Миля Зарецкий, засуетившись мелкими телодвижениями, тотчас же ретировался от стола недоеденных яств. «Ну, я пошёл, уже пошёл» — невнятно бормотал мудрый Самуил, совсем не собираясь дожидаться реализации державинского сценария: «где стол был яств, там гроб стоит»... Кстати, отрывистой маршевой ритмикой этого двустипшия Гаврила Романыч намного опередил Владимира Маяковского с его: «дней бык пег, наш бог — бег» и прочими чеканно-барабанными декламациями.

Хитро-мудрый Самуил Зарецкий исчез из нашей коммуналки бесшумной тенью. Но старый товарищ по студенческим сходкам и походам «дедушка Коломак» был слеплен из иного, гораздо более качественного теста. Он с неподдельным сочувствием вглядывался в мой жестоко покалеченный фейс и озабоченно твердил, что надо как можно скорее добираться до 30-й больницы, именуемой в народе «ухо-горло-нос». Она располагалась недалеко от нас, на улице Гуданова. Ни о каких деньгах на такси речи, конечно, не было. Совсем небогатые, сугубо пешие времена влачили нас по течению, по середине третьего десятка лет нашей очень правильной жизни.

Ходу от Чернышевской до Гуданова, к больнице, было около километра: половина пути — косяком, по диагонали, через старое, безбожно заросшее кустарником, городское кладбище, до «Гиганта» — общаги нашего Политеха. Потом ещё половина — по улице Пушкинской до поворота на улицу героя Гуданова. Прикрывая рукой внезапно доставшееся мне уродство, с головою, гудящей от нарастающей боли и досады, я вприпрыжку, полубегом, добрался вместе с верным товарищем до 30-й больницы.

Оперировали меня на следующее утро, под общим наркозом. Долбили сломанную перегородку и стенки носа, сдвигая их на прежнее место. Как-то отреставрировали, подлатали, не идеаль-

но, конечно. Но тридцать восемь лет, прошедшие с тех пор, дышу, хотя, увы, и не настолько полной грудью, как хотелось бы. Правый дыхательный канал почти полностью закрыт искривлённой, даже после операции, носовой перегородкой. Однако же, времена испытаний на излом, опасная игра в «быть или не быть» для меня с этим ударом кастета на Мироносицкой-Дзержинской, как оказалось, лишь стартовали. И время после болезненного нокаута апреля 71-го притормозить даже не подумало — отряхнувшись, побежало, зашпешило, выстраивая в моём житье-бытьё поначалу нервную и тревожную, а к лету 72-го года и вовсе смертельно опасную и драматическую коллизию.

Доблестная отечественная медицина, вернув покалеченный нос начинающего инженера на более или менее законную позицию, всё же не преминула наградить меня попутной инфекцией — при операции или переливании крови. Организм мой, и без того уже ослабленный нервотрёпкой последних месяцев, тупиковыми и изматывающими попытками самоидентификации, стал заметно сдавать. Весь год с весны 71-го по лето 72-го меня изводили болезненные нарывы-фурункулы, возникающие то здесь, то там на коже.

Отпускное лето на море, в Малом Маяке, Кучук-Ламбате, было безнадёжно испорчено одним таким, особенно долгим и мучительным, нарывом. А возвращение к служебным обязанностям на кафедре представлялось и вовсе беспросветно тоскливым, так как сроки сдачи висящего на мне персонально хоздоговора с Запорожским авиамоторным заводом неумолимо приближались. Программу для работавших тогда по всей стране ЭВМ М-220 вместе с расчётами динамики авиационных двигателей, мне предстояло сдать уже через несколько месяцев.

При этом организация сей сверхважной научно-исследовательской работы была, как водится, архи-никакой. Программу мне предстояло сотворить на чуждом нашей действительности языке Фортран, которым на кафедре никто не занимался и, стало быть, не мог дать никакого дельного совета.

Но ещё хуже было то, что системно-программного обеспечения для враждебного нам американского Фортрана нигде на доступных вычислительных центрах не существовало. И прихо-



дилось мне день за днём таскать на своём молодом, горбу пять здоровенных жестяных коробок с фортрановским системным хозяйством. Эти незабвенные коробушки, сантиметров по сорок в диаметре и толщиной сантиметров по семь-восемь, сплошь заполнялись мотками мерцающе-коричневой магнитной ленты с составными частями системно-языкового обеспечения. Вся эта очень нужная науке хрень наверняка затягивала килограмм на десять-двенадцать общего веса. И всякий раз пять громоздких мотков лент предстояло запустить в работу перед отладкой и счётом. Немецкие ленты фирмы БАСФ вставлялись каждый раз заново в пять громоздких советских шкафов-магнитофонов, которые, как издревле повелось на Руси, сбоили, сминая ленту, и нередко своими заеданиями-зажёвываниями съедали всё драгоценно-дефицитное, с большим трудом добытое, машинное время.

Помимо того, при особо жестоких повреждениях лент, требовалось переписывать на них заново всю информацию, что тоже являлось непростой задачей. Ибо фортрановское обеспечение невозможно было отыскать в Харькове ещё где-то, кроме вычислительного центра ТЭПа, «Теплоэлектропроекта», находившегося на углу Московского проспекта и переулка Короленко. Приходилось не раз ходить и кланяться тамошним монопольным умельцам ради очередного восстановления магнитных лент с их незабвенными секретными наименованиями — «Монитор», «Дэбагг» и прочие, иже с ними.

Учитывая то, что машинное время политехнический институт в ТЭПе всё же иногда заказывал и оплачивал, звезда тамошнего ВЦ Фрумкин в конце концов, после многозначительной паузы, ленты «Монитор» или «Дэбагг» мне милостиво перезаписывал. Основное же время для счёта, практически на каждый день, добывалось на ВЦ Турбинного завода, к которому от ХПИ менее, чем за час трамвайной езды, добраться никак не удавалось. В лучшем случае — час с копейками тратился на дорогу, и то при условии, что железные, жёлто-красные и нещадно дребезжащие, вагоны появлялись на остановках своевременно и тащились далее в своём обычном ритме. В общем ежедневно приходилось бороться с десятиглавой гидрой организационного идиотизма,

а для чего, — по большому счёту, — мне в тот момент было совершенно непонятно. Скорее всего для того, чтобы жизнь мёдом не казалась.

Да и по мизерному сиюминутному раскладу обстоятельств, совершал я эти изматывающие телодвижения, конечно, не ради восьмидесяти семи советских рублей, которые ежемесячно выдавались мне державой на бедность в качестве так называемой заработной платы. Внешней действующей силой являлось несомненно отсутствие в тот момент иных вариантов деятельности для меня, втиснутого в железный механизм тогдашнего общественного уклада. Иди, куда говорят, копай от забора до обеда, жуй, что дают!

Причиной же внутренней, побуждавшей меня отчаянно преодолевать долгую цепь помех и препон, была, — данная ли от рождения, привитая ли жёстким воспитанием, — но, думаю, несомненно присущая моей натуре обязательность, ответственность за данное слово. Взятся, пообещал — должен сделать во что бы то ни стало. Скорее всего, и военный коммунизм, организованный для меня на долгие годы Константином Ивановичем, и весомый ряд тружеников-предков, дедов-прадедов, наделивших меня упорными хромосомами, — оба эти обстоятельства, каждое по-своему, — сыграли свою роль в решимости не сдаваться. Не ударить лицом в грязь, справиться, не взирая ни на что, с этими чёртовыми фортранами и модальными спектрами запорожских железяк — становилось для меня просто вопросом принципа.

И вот, не желая в те дни утратить лица, в итоге я был брошен ходом событий не просто фейсом об тейбл или в грязцу, но брошен с полного размаха в дурную реальность кроваво-гнойного разлива. В реальность месяцев антонова огня, то есть, сепсиса или общего заражения крови. И едва-едва удалось мне, в самые последние часы перед фатальным исходом, ухватиться за подброшенную кем-то соломинку на поверхности строптивой и своенравной жизненной реки.

К началу лета 72-го года ситуация с хоздоговором для КБ «Мотор-Сичь» вымотала меня до крайности. Отладка тормозилась, машинное время на «турбинке» или не давали, или пре-

доставляли только на ночь, а сроки окончания работ близились с угрожающим ускорением. В самом конце июня, возвращаясь после очередного изматывающего дня домой, я попал под настоящий летний ливень, размашистый и обильный, и промок насквозь, до малой нитки, что само по себе меня, давнего приверженца летних дождей, ничуть не озадачило. Всё бы и ничего, но в унисон нагнетанию пагубной ситуации, прозвучала новая угрожающая нота. На следующее утро под мышкой правой руки обнаружилось болезненное воспаление железы. То, что в обиходе народная речь именует «сучьим выменем», и то, что медицина называет латинизированным термином «гидроаденит».

Воспаление под рукой разрасталось, набухало и становилось всё болезненнее день ото дня. А дни эти, как на зло, были без остатка посвящены отчаянным попыткам, разбившись в лепёшку, сдать в плановые сроки хоздоговор с Запорожьем — во славу родины, науки, кафедры ДПМ и собственной, по большому счёту, глупости-наивности. Несмотря на мучительные, дёргающие боли в нарыве, который достиг уже размеров куриного яйца, честный дурень, инженер-механик-исследователь продолжал упорствовать и урывками спать ночами на канцелярских столах вычислительного центра «Турбоатома», поскольку выходить на отладку программы приходилось в единственно доступные, ночные, смены.

Вся эта совершенно идиотская жертвенность, за которую мне так нигде и никогда не пришлось услышать ни полслова благодарности, обернулась для меня тогда крайне плохо. Терпеть боль в жарко пульсирующем «сучьем вымени» под рукой мне стало окончательно невмогуту, и пришлось идти и сдаваться, как ни надеялся я избежать процедуры операции — а вдруг всё же нарыв сам собой рассосётся! Медицинский пункт политехнического института размещался в огромном сером здании общежития «Гигант», в крыле, примыкающем к старому кладбищу, тогда ещё не снесённому, а заполонённому дикими зарослями кустарника. Теперь, после всех последовавших за тем визитом несчастий, я почти уверен, что не случайно обосновались косорукие и безголовые эскулапы ХПИ имени товарища Ленина как раз на самых подступах к мрачному погосту.

Заправляла этой институтской медконторой мама Зина, мать моего одноклассника и приятеля Валерки Хавина, и это обстоятельство почему-то казалось мне, хоть и смутным, но всё же неким доводом в пользу прихода именно в этот здравпункт, трясца его матери. Разрезали нарыв, судя по всему, по-мясницки, внаглуую-небрежно, болезненно-жестоко. И главное, разрезали грязно — с немедленными тяжёлыми последствиями. Началось ли общее заражение крови уже тогда вечером, после кое-как сделанной операции, когда, преодолевая острейшую боль под мышкой вслед отходящему новокаину, я на последнем пределе сил преодолел километр пути от «Гиганта» до своего гнезда на Чернышевской? Или же брызнул гнилой антонов огонь в мою кровь наступившей ночью, когда меня в кошмарном, близком к безумию полусне-забытии, разорванном, панически не сводящем концы с концами, перевернуло, переломало, перемололо, едва не расщепило на части — и физически, и психически? Очнулся я на утро с ощущением того, что внутри меня произошло нечто непоправимое...

Что именно случилось внутри моей телесной оболочки, выяснялось ещё очень долго, тягостно, нудно-бестолково. Недельку с лишним, ощущая самой печёнкой, глубинной подсознательной чуйкой некую внутреннюю порчу, поселившуюся и растущую во мне, температура, недомогая, передвигаясь заторможено и вяло, я ходил от одного казённого здания поликлиники к другому — от буро-кирпичного к оштукатуренному тоскливо-серым цементным раствором. Отчаянно надеялся узнать о своём положении что-то путное и способное помочь, но ни одного толкового слова так и не услышал.

Повсюду выражения глаз и лиц врачей разного пошиба были очень схожими, скучно-тоскливыми и говорили они беззвучно, но почти открытым текстом: «И без тебя забот хватает, уходил бы ты поскорее и подальше». По поводу диагноза бормоталось что-то формальное и невразумительное — мол, шрам под рукой затягивается, и всё у Вас со здоровьем просто замечательно. В конце концов, после всех моих бессмысленных и угнетающих походов в поликлиники, пришлось мне искать спасения в стационаре — в больнице, занимавшей старое облупленное здание на Рымарской улице Больничное здание впритык сосед-

ствовало с купольным, тоже старой дореволюционной постройки, сооружением драматического театра имени Шевченко. Окна моей переполненной палаты как раз и выходили на разукрашенную потёками ржавчины и причудливо изогнутую на нескольких уровнях крышу этого храма Мельпомены.

В палате хирургических больных теснилось десятков, или чуть больше, коек. Они не только тянулись вдоль всех стен комнаты в форме нестандартного многоугольника, но и занимали всё свободное срединное пространство. Расстояния между кроватями позволяли больным, с трудом, но всё же протискиваться к своим лежбищам, но о прогулках по пропитанному всеми мыслимыми запахами помещению мечтать уже не приходилось. Обстановка в лечебном заведении оставалась постоянно тягостной. Речь даже не столько об убогости истёртых до дыр серых простыней и наволочек, не столько о скученности и тесноте, о духоте и зловонии гнойно-хирургической палаты. Стоны и жалобы прооперированных и ждущих ампутации гангренозных больных, иные из которых уже обречённо ждали неизбежного конца, — вот что по-настоящему угнетало и травмировало сознание. Тем более, что и моё собственное положение становилось всё более тревожным и неопределённым.

В этой обстановке наступил день моего двадцатипятилетия, 21 июля 72-го года. Отец и Виталий Михайлович Буклер, его заместитель и верный оруженосец, всегда и по всякому поводу выражавший шефу свою преданность, принесли в палату гладиолусы. Точнее, принёс цветы и поставил на тумбочку Буклер, хотя появились с визитом главный инженер «Оргстанкинпрома» и его зам, — конечно же, очень занятые люди, — вдвоём, ненадолго, минут на пять. За 37 лет, миновавших с того дня, фокус юбилейной мизансцены мог, впрочем, и несколько смазаться — не исключено, что пришёл с цветами один только Буклер и передал поздравление от отца. Пожалуй, пятьдесят на пятьдесят могу поставить теперь, для точности, на эти два варианта празднования моей юбилейной невесёлой даты. Но букет на больничной тумбочке, в трёхлитровой банке с водой, возникает перед глазами очень ясно — пять стеблей шпажника, моего кровного и излюбленного июльского гладиолуса:

*И всегда гладиолусы в праздничный день —  
то лиловое, то нежно-алое пламя...  
Отзвонит и удвоится дня дребедень —  
и, вечерние гости, я сызнова с вами...*

Впрочем, встреча с «вечерними гостями» на этот раз у меня никак не складывалось. Да и порадоваться или даже сколько-нибудь определённо улыбнуться своим июльским квиткам-меченосцам, сил у меня уже попросту не хватало. Помню до сих пор и то своё беспомощное состояние, и осознание его тогда же — не столько с огорчением, сколько с недоумением: за что, за какие грехи и почему же именно в этот день?

Буклер, пробормотав, довольно скомкано и поспешно, обычные слова поздравления, поспешил направить свои стопы на выход — наверняка поближе к делу организации отечественной станкостроительной промышленности. И я снова остался один на один с собственными, совершенно не сулящими ничего доброго, перспективами, со своей, всё острее ноющей где-то в груди тревогой.

С приближением каждого вечера, в палате нарастали стоны небольшого мужичка с перебинтованной культей на ближайшей ко мне перпендикулярной койке. И пожалуй, усилия сознания, направленные на то, чтобы эти предгибельные, надрывные стечения выслушать и вытерпеть, не завыв им в унисон, даже как-то отвлекали меня, хотя бы урывками, от нагнетания собственных тоскливых раздумий.

Всякий раз, когда речь заходит об одном из реальных персонажей, уже давно превратившихся в тень, а некогда живых и промелькнувших рядом со мной, мне начинает казаться, что эти заметки я пишу не всуе и не понапрасну. Может быть, душа того самого, уже наверняка почти четыре десятка лет назад ушедшего из жизни человека, того маленького, израненного и надрывно стоющего мужичка с соседней койки на Рымарской улице, откликнется на мою живую память о нём из неопознанных ещё измерений. Откликнется, пусть и беззвучно, но с узнаванием и с облегчением — всё же сейчас ему наверняка спокойней и уютней, чем в той смертной палате, в его нынешних-нездешних координатах безмерного Общего Замысла.

В любом случае, сам я ощущаю благодатное душевное волнение, называя здесь по именам или по иным, едва сохранившимся, признакам ещё кого-то из тех, кого уже давным-давно нет среди живых. И, чем незаметней и скромней, чем малопамятней видится тот давний мимолётный персонаж, едва коснувшийся моего пути, тем справедливей и правильней представляется мне это воспоминание о нём, это негромкое окливание его тени. Именно его, безымянного, окрашенного в дымно-серые тона времени, помяни по-человечески и по-божески, не оставь беспмятству и впусти в рукописи, которые, быть может, и не горят. Хотя скорее всего, не горят письма — ничуть не больше, чем слово, не записанное, но прозвучавшее, чем поступок, не озвученный, но совершённый.

В небольших тёмных глазках доктора Минкина, который присматривал за мной, — иным, более веским, словом его функции и не определишь, — постоянно пошевеливалось что-то угрюмо-насторожённое, а порою и нечто почти свирепое. А кем ещё можно быть, курируя гнойную хирургическую палату? Или самоотверженным ангелом во плоти, или мрачным мизантропом с прозекторским выражением лица. Или же, что ближе к реальности, непредсказуемой смесью первой и второй ипостасей. При нечастых наших встречах палатный доктор Минкин всякий раз стремился как можно скорее удалиться от моих вопросов и меня самого, ибо ответить по существу ему было нечего. Температура, хотя и не слишком высокая, постоянно держалась, несмотря на глотаемые мной россыпи выписанных таблеток, и это было доктору Минкину непонятно и явно неприятно. Мне же добрый доктор постоянно подбрасывал на ходу одну и ту же мысль — не следует суетиться и нервничать, поскольку всё непременно будет в порядке. Да оно-то и теперь, считай, всё в порядке — лихо сквозила между его слов смелая и интересная мысль. Отцу же он, в моё отсутствие, и вовсе выражал своё глубоко-профессиональное мнение о том, что здесь имеет место некий клинический случай симуляции.

Версия о симуляции испарилась, когда одним прекрасным утром, в конце июля, в больничном сортире вместе с обычной утренней струёй из меня обильно хлынула кровь. Минкин встрепе-

нулся, засуетился, и в лице его, вместе с лёгкой озабоченностью, засветилось и явное удовлетворение от возникших на горизонте новых перспектив. Веские основания сбить меня с рук у него теперь несомненно появились — не наш больной, почечный. В нефрологию его, во Вторую Совбольницу! Коня ему, железного коня, то бишь, «Рафик»-перевозчик, и поскорее!

Вторая Совбольница со множеством разнокалиберных корпусов занимала обширную территорию с намёком на парк, расположенную вдоль Московского проспекта, совсем неподалёку от «Турбоатома». Оформили меня в нефрологическое отделение на третий этаж старого корпуса, который выглядел как бы заглавно-парадным, выходя своим представительным фасадом на траверз проспекта. Благо, что от асфальтовой артерии, переполненной транспортом и отравленной его выхлопами, окна корпуса отделялись всё же метрами тридцатью территории, затенённой каштановыми кронами. Эта защита зелёными насаждениями, хотя и уже устало пожухлыми, пришлась как нельзя более кстати в том июле и августе, поскольку лето выдалось необычно знойным и душливым:

*Чадил ущерб больного лета  
неимоверной духоты,  
и солнца пыльные таблетки  
глотали рам оконных рты...*

Руководил почечным отделением некто Иван Васильевич, довольно симпатичный и моложаво-подтянутый врач. К тому же, в отличие от явно мизантропской мины на физиономии гнойного хирурга Минкина, на лице заведующего нефрологией вдруг обнаружилось выражение сочувствия и приветливости. И это случилось, пожалуй, впервые за месяц моего мыканья по самым разным эскулапам. Похоже было даже на то, что участливость и доброжелательность являлись натуральными чертами характера заведующего отделением, по крайней мере, сочувствие, отражённое на его лице, казалось естественным и ненарочитым. Скорей всего, и отец, который приехал со мной в «Рафике» на новое место, уже успел направить на Ивана Васильевича свои по-



зитивные организаторские импульсы. В этот день, отец по сути впервые принял участие в моих невесёлых делах, убедившись наконец, что его старший сын и впрямь попал в очень серьёзную передрагу.

В палату нефрологического отделения каждое утро сёстры приносили мне горсть разнокалиберных таблеток. По несколько раз в день вводили внутривенно антибиотики. Что ни день брали из обеих рук, исколотых уже до синяков на внутренних сторонах локтевых сгибов, анализы крови на РОЭ, на уровень эритроцитов — белых кровяных телец. Судя по озабоченному лицу Ивана Васильевича и по его невнятно-уклончивым ответам на мои вопрошания-взывания, дела на улучшение никак не шли. Это было понятно мне и без лекарской цифири скрываемых от меня анализов, хотя бы по неизменно повышенным утренним температурам, никак не желавшим идти на убыль, несмотря на уже влитые в меня несчётные литры всяческих патентованных медикаментов. Несмотря на то, что периодически сменяемые антибиотики становились всё импортнее и дороже, всё экзотичней по наименованиям, а дозы уколов всё нещадней — вплоть до того, что медсёстры уже и среди ночи врубали по два раза свет в палате, чтобы разрядить в мои истерзанные вены очередной устрашающих размеров шприц. А вены приходилось уже отыскивать и на запястьях, и на ногах, и ещё невесть где.

Улучшения не наступало даже и после двух, почти панически организованных Иваном Васильевичем форсированных переливаний крови. Одного из доноров, широкоплечего коренастого мужика лет тридцати, даже привели ко мне в палату, чтобы я, лёжа под капельницей с его свежей кровью, высказал ему своё вялое и совсем нерадостное «спасибо». Психологическое моё состояние становилось всё тревожней, поскольку уже несколько недель кряду ситуация только ухудшалась и просветления в прогнозе явно не возникало.

Термин «сепсис», как ни старался помалкивать и отнекиваться, щадя меня, Иван Васильевич, пробивался наружу стараниями то одного, то другого из приглашаемых консультантов. Произносил каждый из них «сепсис» со своей интонацией. По тону одного эскулапа вполне можно было уловить в этом тер-

мине окончательный приговор, иной же из докторов, словно бы бодрясь и подмигивая, озвучивал диагноз «сепсис» в примирительной и добродушной интонации — да ничего, мол, особенно-го, дело-то житейское...

Иван Васильевич всё-таки проговорился, что посев на этот самый сепсис, то есть, на общее заражение крови, уже был взят у меня одним из постоянных отсасываний крови из вконец измочаленных вен. Пудрил ли он мне мозги или нет, так и осталось для меня неясным, однако Васильич упорно стоял в объяснениях со мной на том, что этот анализ занимает долгие недели, едва ли не месяцы. И потому надо тихо ждать и надеяться.

Палата во 2-ой Совбольнице, где всеми силами помогали мне постепенно, но уверенно отдавать концы, выглядела существенно добротней, чем переполненная до отказа гнойная хирургия на Рымарской, у доброго Минкина. Вдоль двух длинных стен, с панелями, сине-масляными, очень больничными на вид, стояли четыре кровати. Но занятыми были лишь две, поближе к входной двери. На противоположной от меня койке кручинился и время от времени молча плакал высокий и подтянутый мужчина, лет пятидесяти, с породистым лицом, хорошего европейского образца. Фамилия его была, кажется, Роменский. Своим благообразным обликом он напоминал мне одновременно и цивилизованного прибалта, и немца-германца, и моего школьного учителя физики, строгого и взыскательного Ивана Петровича Бакая.

У Роменского, как с бесконечной печалью в голосе рассказал он сам, этим летом во время поездки в крымский отпуск совершенно отказались работать почки. Врачи ему ничего хорошего не обещали, и, как помочь ему, было так же неясно, как и в моей ситуации. Печалился изо дня в день и он сам, тихо плакала, пряча в ладони простое и некрасивое лицо, и его жена, небольшого роста, мягкая и добрая на вид. Она неизменно приходила в палату каждым утром и, сидя у постели, изо всех сил, неотрывно вглядывалась в лицо мужа влюблёнными глазами, расширенными от страха и отчаянья.

Дней через десять Роменского перевели в другую палату, скорей всего, оттого, что дела его совсем ухудшились — уж слишком безнадежными и предгибельными выглядели в последние дни

слёзы и сетования обоих, очень симпатичных, супругов. Я пытался что-то узнать о судьбе исчезнувшего соседа, но Иван Васильевич, как всегда, с партизанской стойкостью утаивал информацию, а настаивать на расспросах, чтобы получить наконец печальный ответ, у меня самого уже не оставалось сил.

На смену Роменскому через несколько дней койку напротив занял новый, и совершенно необычный на вид, пациент. То был коренастый и ещё довольно молодой человек с тёмно-коричневой кожей, оказавшийся аспирантом Харьковского медицинского института, родом, — чего на свете не бывает! — с тропического острова Маврикий. Звали его тоже экзотически и не просто — Раджив Рахмапутаран. Его крупная голова, несмотря на всего только тридцатилетний возраст Раджива, уже изрядно облысела, но на круглом шоколадном лице с яркими индусскими глазами легко возникала широченная белозубая улыбка, замтно приглушённая, правда, нынешней его почечной болезнью.

Вооруженный аспирантскими знаниями, Раджив сразу же стал подробно излагать что-то осмысленно-профессиональное о своём нефрологическом недуге, но потом как-то сразу оборвал рассказ, добравшись до вывода, что ничего особо хорошего ожидать ему не приходится. Впрочем, меня самого он неизменно пытался ободрять в течение тех нескольких дней, пока мы делили с ним больничную палату с синими масляными панелями. И очень охотно, оживляясь, вспоминал о своём Маврикии в ответ на моё любопытство, пусть и звучавшее довольно вяло в этой не лучшей для нас обеих ситуации. Больше, чем от Раджива, слов ободрения во 2-ой Совбольнице, досталось мне только от восемнадцатилетней медсестры Тани Мезенцевой, обаятельной девушки родом из Обояни Курской области — ободрений на уровне эмоций и заклинаний: «Всё обязательно будет хорошо! Вот увидишь...»

Моё собственное состояние, между тем, изматывало и угнетало меня всё больше и больше. Днём ещё можно было беззвучно, изо всех сил, молиться о спасении, но знойные и удушливые ночи становились всё невыносимей и кошмарней. Нормального сна, по моему представлению, не было в течение всего месяца, а те фантазмагорические ощущения, которые охватывали меня

в мутном и невнятном забытьи могут быть определены лишь унылым набором синонимов разрушения — переворачивание, перекручивание, переламывание и перемалывание всей физической и психической сущности. Похоже, что всё это было предчувствием скорого и неизбежного распада на хаос молекул и атомов. Предчувствием гибели пока ещё живого существа. И отчаянным протестом, безмолвным воплем несогласия. Подозреваю, что так же обречённо и безнадёжно, мнутся и мучатся неприканные души в самой геенне огненной.

Виделось ещё в этих ночных кошмарах, с высоты птичьего полёта или отлетающей души, как по узкому и длинному быстрому потоку несётся длинная, вроде индейской пироги, лодка, в которую втиснуто моё собственное тело. Тесно обмотанный длинной лентой ткани с головы до ног, превращённый в некий кокон, в полуфабрикат мумии, я не мог ни пошевелиться в этой упаковке, ни издать даже малого крика, чтобы хоть как-то выдохнуть необъятность своего внутреннего ужаса.

Собственно, и все мои августовские судные ночи, заполненные гнойным пыланием антонова огня, и все эти долгие истязания, были ничем иным, как ожиданием высшего решения в предбаннике ада, который лишь по случайному стечению обстоятельств, лишь невесомо-условно назывался нефрологией 2-ой Совбольницы. И, видимо, отказа в прощении, подобно заброшенным в ад душам, я всё же тогда не заслуживал. Вот и допущен к рассуждениям о своём лете 72-го года, сейчас 37 лет спустя, хотя долго, очень долго оттягивал эти воспоминания, несомненно и теперь очень тягостные.

Но не могу не видеть в тех событиях и иного — обещания-просветления, дарения-оживления и, стало быть, выданного мне наперёд щедрого напутствия. Господь услышал тогда мои молитвы и одарил меня Своим помилованием. Но не легко, не сразу. — Весь август был мучительным и тревожным приближением к гибели, и только конец месяца и лета разрешил ситуацию на очень тонкой грани между «да» и «нет». И сдвигка неких частных человеческих движений всего на день-два, а может быть, и на несколько минут, определила бы для меня совершенно иной исход тех испытаний.

Анализы по поводу кровящего воспаления почек, «септического пиелонефрита», — такое возникало красивое, вначале без уточняющего эпитета, наименование, — довольно скоро стали лучше. Почки перестали кровоточить, их мне Иван Васильевич своими уколами и таблетками промыл — и это было, за долгое время, единственным позитивом, приятной прохладной мелочью, на фоне общего нарастания воспаления-огня. Здесь же, в нефрологической палате, обнаружилось и новое обстоятельство — поначалу только ноющая в бедре и колене левая нога всё более набухала, дубела и становилась малоподвижной. Согнуть её в колене я уже не мог и в последние дни августа с неимоверными усилиями, обливаясь потом, добредал по необходимости до коридорных удобств. Помню, что желтушная казённая рубашонка после возвращения из больничного умывальника была насквозь мокрой, и, сев на кровать, совершенно без сил, я ещё несколько минут собирал остатки энергии, чтобы сдернуть с себя рубашку через голову.

Получалось так, что тот взмах карающего гнойно-септического бича 72-го года рассёк меня, — уж за какие грехи или во имя чего? — наискось по диагонали, от «сучьего вымени» правой подмышки до левого бедра, подобно тому, как разваливали лихие рубаки на заре истории своего противника мощным сабельным взмахом — до самого седла, до поясницы. Правда, в моём случае поясница, с септическим нефритом, была лишь промежуточным отрезком траектории, хотя и поближе к завершению зигзага — к огромной нарывающей флегмоне в глубине мышц левого бедра.

Подозрения по поводу флегмоны у почечника Ивана Васильевича присутствовали, но поставить определённый диагноз он так и не смог. Собирались пару раз по его просьбам врачебные консилиумы, с умным видом осматривали меня с головы до пят, стоящего обнажённым, — руки вниз, — сгибающего, точнее, уже почти не способного согнуть ногу, вслед их многоучёным просьбам. Результатом, увы, как и на Рымарской, были только невнятные бормотания-предположения эскулаповой братии, например, остеомиелит ли, не остеомиелит... Наконец, уже в последней декаде августа, Васильич решил, что необходимо сделать

пункцию, то есть точечный прокол моего бедра. Процедура эта может сравниться лишь с реализацией тех околоадских экзекуций, которые, приходя в ночные кошмары, мучили меня уже целый месяц на новом месте, в нефрологии Совбольницы.

Делала пункцию довольно приятная с виду женщина-врач, с которой мне раньше не приходилось встречаться. И упаси Бог и меня, и кого-либо ещё от подобных встреч с ней — когда бы то ни было! Три прокола толстенной и длиннющей пункционной иглой умелица сделала прямо на фронтальной поверхности бедра, вгоняя своё варварское орудие до самой кости. Несмотря на новокаиновую блокаду, ощущение было жесточайшим, и нога, — в ужасе и панике от наглости насилия, — стала колотиться и подпрыгивать в конвульсиях на хирургическом столе. Ну, да ладно, был бы от тёткиных палаческих упражнений какой-то толк! Так нет же, миловидная безголовая курица от хирургии умудрилась продырявить меня трижды до кости, сумев при этом не попасть в обширнейшую флегмону, которая занимала чуть ли не весь боковой объём бедра и находилась всего в нескольких сантиметрах от фронтальной части.

Видимо, на самом верху, над вялыми августовскими облаками, над пережжённым и гудящим от зноя Московским проспектом, принципиальный вопрос о моём будущем ещё не был решён окончательно. Последовавшие за вопиюще-бездарной пункцией ноги три-четыре дня вполне, как выяснилось вскоре, могли стать для меня завершающими и фатальными.

В предпоследнюю субботу того августа 72-го года в Совбольнице внезапно появился, всего на часок, после собственной болезни, «вчера лишь отгуляв инфаркт, хирург Ефим Ароныч Брызкин, наичистейшей пробы фарт...» Он был заведующим хирургическим отделением, расположенным на втором этаже, под нефрологией, и пришёл лишь затем, чтобы взглянуть на завершение косметического ремонта своего хозяйства.

Как раз в этот момент решение о моей участи в Господних высотах над городами и весями было, скорей всего, уже вынесено, и Иван Васильевич, перехватив в коридорах больничного корпуса Брызкина, — в оперативности и бодрой подвижности слабому диагносту Васильичу никак нельзя было отказать, —

привёл его на смотрины в мою палату. Огромная разница, великая пропасть существует между человеком на своём месте, при своём кровном деле и прочей околoproфессиональной шушерой, суевающейся кое-как возле не своего, и значит, чуждого ей по сути, дела. Брызкин, оглядев меня, поставленного снова в позу «руки вниз», и как-то совсем бегло ощупав бедро, но так, что от тычка его пальцев мне пришлось болезненно ойкнуть, произнёс:

— Ну, конечно, тут есть... Вот же оно, вот...

И добавил, посмотрев в лицо Ивана Васильевича снизу вверх как-то предельно серьёзно и значительно, скорей даже с приглушённым упрёком и жёсткостью:

— Так вы его, со своими консилиумами, совсем угробите...

В чистых васильковых глазах милейшего Ивана Васильевича промелькнуло явное смущение. О, эти смущённо-добрые и почти всегда, по множеству причин, жестоко недорабатывающие люди на пути нашей единственной для каждого земной юдоли!

Осмотр Брызкина продолжался две-три минуты. Он явно торопился по своим делам и, дабы не оказаться в этой истории безупречным героем, сказал в завершение:

— Так, сегодня у нас суббота. В понедельник я выхожу на работу и сам его в хирургии разрежу. Побежал, пока.

Не уверен, что я бы смог дожждаться обещанного Ефимом Ароновичем понедельника. Нога ощущалась уже совершенно задубевшей, и флегмона созрела до взрывоопасного состояния. Лопни в течение этих двух дней под давлением нарыва серьёзный сосуд в бедре, и исход был бы предрешён.

Хирург удалился маленькими поспешными шажками. Но Господь в эту знойную удушливую субботу послал мне в качестве спасителя не только маленького Ефима Ароныча Брызкина, ослабленного и встревоженного недавним инфарктом, но и архангела совсем иной фактуры — высокого и плечистого красавца-воина, в полном цвету и соку его тогдашнего 46-летия, моего отца Константина Ивановича.

Отец как раз минут за десять до неожиданного появления Брызкина ушёл из моей палаты после очередного недолгого визита. И судьбе понадобилось так разложить решающие минуты и секунды, метры и сантиметры шагов, чтобы уже опаздываю-

щий по своим делам Ефим Ароныч обратился с просьбой «подвезти-подбросить» именно к стартующему отцовскому «Рафику». В микроавтобусе Брызкин и отец познакомились и перемолвились несколькими словами, вследствие чего мой больничный статус принципиально изменился. Из случайного пациента без имени и определенных перспектив, из человека с улицы, добываемого вялыми и бездарными консилиумами, я превратился в сына уважаемого и ответственного человека, оказавшего хоть и небольшую, но своевременную услугу доктору Ефиму Ароновичу Брызкину. Наверняка, и неотразимая харизма телесной мощи и обаяния, уверенности и властности, отцового облика, достигшая к тому времени, пожалуй, своего оптимума, добавила маленькому хирургу толику участия в моей очень невесёлой на тот момент ситуации.

Брызкин пообещал отцу вернуться в Совбольницу через пару часов после своих срочных дел и прооперировать меня уже сегодня. Он и выполнил своё попутное, совершенно неожиданно возникшее, обещание — хвала Всевышнему и двум Его столь непохожим посланникам. Прямо в нефрологии, уложив меня в кабинете осмотров на белый металлический стол, Ефим Ароныч принялся за дело. При первом же подготовительном уколе новокаина в мышцу — гной с кровью под давлением резко хлынул из бедра. Ударил сквозь полую иглу шприца навстречу раствору анестезии, заполнив бурыми разводами стекляшку цилиндрической ёмкости. Отравная субстанция моей гибели брызнула навстречу Брызкину. Выстрелила извивами ядовитого, грязно-бурого дракона, явно всполошённого своим обидным промахом по близкой цели.

— Ну вот, я же говорил! — возбуждённо и даже азартно пробормотал Ароныч и, быстро заполняя шприц всё новыми дозами новокаина, такими же, шустро-ловкими, движениями продолжал обкалывать всю боковую поверхность моего бедра обезболивающим раствором.

И разве же его движения не были магическими пассажами истинного художника, разве не были они вдохновенной работой подлинного творца!? Острым скальпелем Брызкин сделал надрез в пять-шесть сантиметров поближе к верхней части бедра.



Я, приподняв голову, с каким-то совершенно спокойным вниманием, вернее, уже с предчувствием спасительности происходящего, следил за его действиями. Задубевшая от новокаина плоть ноги улавливала прикосновение режущего ножа, но боли решительно не ощущала. Гнойная масса в изобилии лилась из флегмоны наружу, и Ароньч едва успевал подставлять под это извержение нечисти, одну за другой, эмалированные плоские ёмкости, выполненные почему-то с изгибами — то ли в виде почки, в честь нефрологического профиля отделения, то ли в форме человеческого эмбриона, которого, по сути, и выкликал сейчас заново к жизни Ароньч своими поспешными и импульсивными, но ловкими и точными, кистевыми манипуляциями.

Только когда маленькая хирургическая рука в резиновой перчатке почти полностью протиснулась во внутренность бедра, освобождённого от первых литров гнойно-кровяной смеси, я почувствовал что-то похожее на боль и запротестовал, пытаюсь отстраниться от напористого вторжения спасителя- эскулапа:

— Больно так...

— Ну, подожди, подожди, дорогой. Я же должен тут тебя как следует почистить, — скороговоркой парировал Брызкин, продолжая без остановки разрывать внутри моего бедра какие-то остаточные перегородки и перепонки гнилого мяса. И добротная эта прочистка удавалась ему с немалыми усилиями, поскольку размеры поражённой внутренней плоти были куда как велики. Настолько велики, что миниатюрно-жёсткие хирургически-резиновые пальцы Ароньча едва дотягивались и до нижнего, в направлении колена, и до верхнего края огромной полости нарыва. Как можно было двумя днями раньше не попасть пункционной иглой лошадиных размеров в обширную область поражения, практически в половину бедренной мышцы, на это вряд ли бы ответила и сама исполнительница пункции, особа в белом маскировочном халате. Да, именно в маскировочном, ибо миловидная курица-не-птица представлялась мне в тот момент метафизических противоборств очевидным посланцем совсем не светлых сил и инстанций...

Возбуждённый, и даже взъерошенный, Ефим Ароньч наконец закончил выскабливать рукой дырищу в моём бедре и раз

за разом промывал полость горчично-жёлтым раствором фурацилина. Выражение его лица после того, как он установил все марлевые и резиновые дренажи в растерзанной мышце и вывел наружу концы пластиковых трубок, было усталым и, пожалуй, торжественным. Явное облегчение вырисовывалось и на благообразной физиономии Ивана Васильевича, наблюдавшего за операцией.

Несколько последующих дней я не отваживался даже на единый звук внутреннего ликования, боясь спугнуть эту, пожалуй, главную в моей жизни удачу. Пока ещё оставалось неясным, как поведут себя флегмона и её злобный вдохновитель сепсис, с одной стороны, и весь мой страдалец-организм, отравляемый уже почти два месяца изнутри гнойной нечистью, со второй, противоположной стороны. Но важнейшие изменения уже произошли, и моё сознание тихо и осторожно, словно бы на вытянутых руках, держало в запасе мысль-надежду, что после субботней операции шансы на спасение, похоже, были благосклонно ниспосланы мне свыше. К тому же после двух месяцев ночных кошмаров, в которых я всё чаще видел себя самого уже в неживом и нездешнем мире, я стал по-настоящему спать, не мучаясь дурными предчувствиями. Эти, совсем нового качества, часы ночного отдыха, и сами по себе уже приносили невероятное физическое облегчение, и крепили предчувствие общего доброго исхода, надежду, не загрязняемую пока что никакими лишними словами.

Я стал, впервые за долгое время, ложиться на левый бок, и днём, и на ночь, и было почти сладко ощущать, как бедро, к которому ранее уже нельзя было прикоснуться, теперь охотно выдерживало тяжесть тела, не отвечая прежней угрожающей болью, а напротив, благодарно откликаясь новыми встречными толчками кровообращения и выталкивая из себя наружу остатки септической дряни — через разрез в бедре и дренажные трубки. В первые два послеоперационные дня Иван Васильевич вдвое уменьшил количество литрами вливаемых в меня антибиотиков, а затем отважный главный нефролог и вовсе лихо приказал все уколы отменить, полагаясь на силу инстинктов и рефлексов жизнелюбия своего 25-летнего пациента. Старая песня о главном «Организм — молодой, справится!», которую я слышал и ранее

из слабых уст обречённого соседа по палате Роменского, зазвучала теперь с новой силой, бодро повторяемая при каждом утреннем осмотре Иваном Васильевичем.

Ко всеобщей, и что ни день крепчающей, радости всех больных септического больного, — отца, бабки Анны Алексеевны, Ивана Васильевича и восемнадцатилетней Тани Мезенцевой, круглолицей с нежными веснушками медсестры, родом из курской Обояни, — молодой мой организм и вправду стал справляться с самоочищением и восстановлением. Теперь, благодаря спасительному разрезу на бедре, температура больного, даже и без накачивания антибиотиками, заметно пошла на убыль. Доволен был и Ефим Аронович — и нашим, общим с ним, прогрессом, и тем, что его хирургическое отделение на втором этаже открывалось в эти последние дни лета после ремонта.

На почин и на удачу он вознамерился торжественно внести меня первым пациентом-новосёлом в своё посвежевшее хирургическое хозяйство и уже договорился о моём переселении с нефрологом Иваном Васильевичем. В один из последних дней августа, с утра пораньше, два крупногабаритных санитара спустили меня, возлежащего на спине в носилках, по двум ширококаменным, старинного образца, лестничным пролётам 2-ой Совбольницы, — из нефрологии в хирургию, с третьего этажа на второй:

*Фетишем, талисманом или  
почином будущего дня,  
но, как портрет царя, влачили  
в носилках с лестницы меня...*

Прошло ещё около недели, и третьего сентября 72-го года меня выписали из больницы, с незашитым, зарастающим изнутри, шрамом на бедре, с почти ещё не гнущимся левым коленом, с остаточными опасениями по поводу температуры, так и не захотевшей упасть до уровня 36,6 градуса, но главное — вполне живого, вполне на своём ходу. Сознание всё ещё оставалось наполовину опустошённым и как бы приглушённым двумя месяцами мытарств — между жизнью и гибелью. Однако и страстное

желание жить заново, вслед новому рождению, крепло внутри и заполняло всё новые объёмы странно ощущаемого пространства — и безмерного, и начинающегося где-то сразу за грудиной.

Не будь отца и его неожиданной встречи с Брызкиным в предпоследнюю субботу того удушливо-знойного августа, не выбрать-ся бы мне, скорей всего, из дохлого нутра советско-языческой лечебницы-богодельни, — равнодушной, безрукой и безголовой, — сгинуть бы в её душной мышеловке привычного идиотизма ни за понюх табаку. Такова вкратце правдивая история моего третьего, позднего, спасения отцом, вослед эпизодам 47-го и 57-го года, история сохранения растрёпанной юной души архангельским крылом, отнюдь не белоснежным, но сильным и быстрым. Крылом пятнистого, по-ястребиному, окраса. Осмысленно или же на иной, метафизической, волне удалось тогда отцу сыграть его спасительную роль, для меня не столь важно. Главное, что он сумел быть неподалёку, в отличие от большинства других моих родичей, и оказался совсем рядом, при полном своём архангельском вооружении, в последний и решающий для меня момент.

## ТЁМНОЕ-СВЕТЛОЕ

Увы, и мать, и матриарх-старейшина рода, почти семидесятилетняя, но ещё полная тогда сил, Александра Ивановна, баба Шура, появившись по одному разу за два месяца в больничной палате, — мама Валентина уже после операции, — излучали при этих своих вымученных визитах явную эманацию раздражённости, без малейшего намёка на сочувствие и доброжелательность. Обе строили, каждая по-своему, унылые козы лица, поджимали губы и с заметным нетерпением поторапливались на выход. Бывший декан фармацевтического института баба Шура и вовсе покрикивала своим командным голосом на внука, уже совсем слабого дней за пять до операции, советуя не придуриваться, подобно другому недавнему советчику, столь же душевному целителю с Рымарской, гнойному хирургу Минкину. Разве что Господь им всем судья, но совсем не я, и сам слабый и грешный.

Стараюсь поменьше об этих человеческих и в общем совершенно обычных подробностях вспоминать, если уж по собственному несовершенству — не в силах окончательно простить. А скорее всего, и простил уже — давным-давно.

К тому же гораздо важней для меня память об иных обстоятельствах — о том, как проявился в те смутные дни моего ожидания казни другой человек, как высветился он в своём, совершенно неожиданном и щедром, великодушии:

*Там, на краю, сквозь антонов тот чад,  
некая лёгкость являлась мне странно —  
из всей семьи, изо всех её чад,  
слёз не жалела лишь Тёмная Анна.  
Кто ещё плакал когда обо мне —  
раньше, потом? Не смогу, не припомню.  
Ибо в не помнящей страха стране  
я не сыщу тебе, горлица, ровню...*

Тёмная, черноглазая «турчанка» баба Анна, мать моего отца, оказалась в те сумрачные дни светлей и светимей всех прочих родичей, украшенных моей знаменосной, трепещущей на ветру, фамилией. Каждый день, без единого пропуска, с самого раннего утра совершала она путь длительностью в полтора часа — от Чернышевской до Совбольницы, практически повторяя мой маршрут последнего года к вычислительному центру Турбинного завода. Приносила какую-то домашнюю, конечно, копечную, но ещё тёплую еду. И, что ещё важнее, оставалась со мной в палате не на минуту, а на час-два, иногда и на большее время, хлопоча вокруг кровати с терпеливым и тихо-скорбным выражением лица. Конечно, от проявления крайних эмоций в больнице она удерживалась, но, приходя домой в наше, уже два года общее с ней, коммунальное гнездо, — по её же более поздним признаниям, — и глядя на глупые мои шкафы, до отказа набитые книгами, тех самых слёз удержать не могла.

Властная и вспыльчивая в прошлом, Анна Тёмная за два года, прожитые после смерти деда Ивана в тандеме с внуком, похоже, ощутила всё же родственное тяготение к молодому инженеру-па-

харю, неустанно полнящему всё новыми книжками и прежние книжные шкафы, и даже захваченный для этих целей сервант морёного дерева из румынского гарнитура. Этот изысканно-торжественный по тем временам набор мебели из девяти предметов, шесть из которых, правда, составляли лишь стулья с гнутыми спинками, Иван и Анна купили, помнится, в 59-ом. Как раз тогда они выбрались оба на пенсию и позволили себе наконец приобрести, вместе с полудюжиной стульев, эти два щедро остеклённых предмета обстановки, сервант и буфет, с овальным столом впридачу, — некие символы новой пристойной жизни, те самые, которые и до сих пор стоят в моём жилище на Чернышевской, символизируя теперь, однако, времена, давно минувшие.

Тогда же, в конце 59-го, они, оба в первый и последний раз в своей жизни, съездили по турпутёвке за границу. Социалистическая Чехословакия была тогда для законопослушных, и никуда-никогда невыездных, советских граждан пределом мечтаний. Дед Ванчик нащёлкал в той поездке в Праге множество бестолковых, но всё же заграничных, невиданных доселе в нашей семье, фотографий. Наверное, стойкое чувство влюблённости в пражское метафизическое пространство, в это волшебное нагромождение береговых круч и острокаменных соборов, чувство, не оставляющее меня и до сих пор, возникло уже тогда, в двенадцать лет, пробуждённое маленькими и трудночитаемыми чёрно-белыми отпечатками моего деда Ванчика. Из Праги же Иван и Анна привезли тогда дюжину бокалов цветного богемского хрусталя. Шесть пар больших и маленьких сосудов, изысканно-простой формы и огранки, светилась своими неповторимыми, и сегодня ещё непотускневшими, колерами.

*А только помню: Анна и Иван  
под новый снег, под год шестидесятый,  
шесть чаш богемских выделки богатой  
достали, рассупонив чемодан.*

*За пятьдесят потом прошедших лет  
разбились: золотой бокал, лиловый  
и изумрудный. А легенды новой,  
с огранкой, столь же совершенной, нет...*

*Шесть раз я ездил в королевский град  
на поиски, и дочь моя Елена  
искала в Праге тот же вдохновенный,  
полвека осветивший, цветоряд...*

Кстати, только сейчас ловлю себя и хронологию событий на наблюдении, что именно в конце того декабря 59-го года появился на свет мой первый, — напрасно или нет — но записанный на бумаге, стихотворный опус...

Прошло десять с половиной лет, и в мае 70-го года деда Ивана не стало. А в 72-ом и со мной приключилась поучительная история с «сучьим выменем» и «антоновым огнём». Так что слёзы моя Тёмная Анна роняла не только обо мне, безвременно рассечённым по диагонали бесовским гибельно-гнилостным бичом. Роняла она их, конечно, и о муже, совсем недавно ушедшем и в предсмертной агонии бормотавшем: «Лопаты, уберите лопаты... Аня, прощай, ухожу жить в могилу...», и о себе самой, уже ходившей своими мелкими, словно бы деликатными, шажками у близкого склона жизни. О себе, уже никому по сути не нужной, — не сыну же своему родному, так явно похожему на неё, прежнюю, взрывной свирепостью и воспламеняемостью нрава...

Нужной, разве что мне, последние два года делившему с нею стол и кров, обитавшему в родовом гнезде без прописки и сумевшему, неожиданно для всех, ужиться с нею, тёмной, цыгановато-турковатой, прежде всегда трудной, — ужиться, можно сказать, душа в душу. Слава Богу, мне удалось в какой-то мере вернуть ей свой долг, уже в 83-ем году.

Тем летним днём, как всегда, семидесятидевятiletняя Анна Алексеевна, редкостно-упорная труженица, направляясь на работу в семейный сад на Салтовке, спустилась с лестницы дома на Чернышевской. На выходе из подъезда, во дворе, с ней случился удар — к счастью, не инсульт, но лишь гипертонический криз. Теперь уже я в белом «Рафике» скорой помощи, совершенно таком же, как и отвозивший меня в 72-ом в Совбольницу, сопровождал свою Анну в ближайшую лечебницу — на улице Дарвина. Там её недовольно уложили в торце старого и затемнённого ко-

ридора, поскольку мест в палатах, как и всех прочих нестратегических благ, в родной сверхдержаве в последние полвека, неизменно и почти для всех не хватало.

И тут же над моей немолодой турчанкой, не приходившей уже около часа в сознание, услышав о её преклонном возрасте, стала вовсю голосить, насквозь фальшивым голосом, очередная сердобольная целительница в условно-белом халате: «Ну всё, мы её теряем, теряем. Смотрите, смотрите, руки уже совсем холодные...»

Отвратительно-лживая интонация этих причитаний, уже хорошо знакомая мне во множестве вариаций по моей собственной истории болезни, снова звучала невыносимо бесстыже. С большим трудом я удержал себя от резких движений. «Сбыть с рук, сбегать подальше обузу, смыться поскорей, бежать от забот и от ответа» — вот то, что в обыденно-привычном ключе звучало в причитаниях очередного медицинского работника, раз и навсегда утомлённого нарзаном отечественной атмосферы. Такая же ленивая и бездушная бестия, существо с милым женским лицом, прокалывала меня одиннадцать лет назад во 2-ой Совбольнице пункционной иглой. Пронзала насквозь иглой, толщиной в строительную арматуру, до самой берцовой кости. Протыкала бес-смысленно и бес-пощадно, вычерчивая в чёрно-гиблом астрале свои-несвой магические пассы, чьи определения неизменно начинаются словечком «бес»...

Коротко рывкнув на тётку в серо-белом халате: «Хоронить не спешите, а лучше сделайте что-нибудь!», я взбежал на второй этаж к заведующей и там, уже сдержанней и на полтона ниже, повторил призыв, чуть, ближе к диагнозу: «А можно, вместо приговора, хотя бы сделать укол от гипертонического криза?» Заведующая неожиданно кротко согласилась, и сразу же вслед за инъекцией, буквально через считанные минуты, моя Анна ожила и на глазах у изумлённого больничного персонала сходу двинулась на улучшение — «як диты в школу»! Для подстраховки я ещё проторчал в тёмном больничном коридоре до рассвета, устроившись в углу на шатком и скрипучем стуле, неподалёку от мирно уснувшей Анны Алексеевны Чемерис-Шелковой. Баба Анна прожила после эпизода на улице Дарвина ещё целых



шесть лет, благополучно перенеся за это время операцию по удалению жёлчного пузыря, — кстати, в той же 2-ой Совбольнице — и прожила бы наверняка ещё больше, если бы не заблудилась однажды ночью в коридорах нашей бывшей обширной коммуналки. Если бы не упала в темноте в углу возле входной двери и не сломала при этом, фатально по тем временам, шейку бедра.

Не только светлое и молодое старится и темнеет — от времени и усталости, от холода и пустоты. И тёмное способно просветлеть — так день приходит на смену ночи, а обморок зимы сменяется новым вдохновением лета. И Анна Тёмная, некогда гневливая баба Бабариха, вдруг высвечивается в самую опасную и трудную минуту всей бесценной полнотой своей человечности. Вопреки всем линейным причинно-следственным связям реализма меня и до сих пор продолжают время от времени посещать неэвклидовы сны о свободных высотных полётах — без гравитации и без неуклюжей помощи технических придумок. Ощущение очень близкое к чувству такого свободного полёта осталось у меня и после совсем недавнего моего сновидения. В этом сне-намёке приходят ко мне отец и мать, которых уже несколько лет нет на свете, входят с миром и просветлением на родных лицах — таких поразительно-бесценных в самый первый миг узнавания. Без звонка и стука, без звука от ключа в замке они открывают дверь нашего прежнего общего жилища — в двадцатой квартире дома на Московском проспекте. Почему-то впереди обоих родителей появляется и останавливается посреди прихожей троица маленьких детей. Кажется, все трое — мальчики в возрасте лет до семи.

Из глубины прихожей я сам тороплюсь навстречу детям, которых, как будто бы и не узнав в самую первую секунду, тут же ощущаю совершенно родными и своими, и расцеловываю всех по очереди в яблочно-свежие щёки. При этом моё сознание где-то на заднем плане всё же продолжает гадать, пытаюсь уловить точный статус детворы — я ли сам прежний, первый? Дочь ли моя, Елена, девочка с мальчишескими замашками, вторая? Мой ли нынешний любимец-наследник Мирослав, Лены

сынок, свет мой и мир, третий в той детской стайке посреди прихожей?

Мама Валентина, уже успев войти, стоит на пороге родительской комнаты слева от входа, с несколько отстранённым, как всегда наяву, и даже чуть обиженным лицом. Но и первично-спокойный свет этого сна несомненно смягчает её лицо. Улыбнувшись на ходу матери, устремляюсь с некоторой запинкой навстречу отцу, ставшему на пороге входной двери и как бы прикрывшему собой всю троицу детей. С той же полусекундной запинкой, оказавшись лицом к лицу с отцом, целую его сжатые твёрдые губы. Задеваю на миг и отцовский уверенно-классический, патрицианский, нос — задеваю то ли своими губами, то ли собственным, более простонародным, носом. Ощущение теплоты от этих поспешных и неловких касаний не уходит до самого конца сна и остаётся послевкусием вслед за пробуждением. И всю первую половину дня не оставляет меня чувство лёгкости, словно от омовения в невесомом и светоносном веществе. Греет душу тихая догадка о некой не потерянной ещё справедливости, наверное, даже посетившей меня только что, в этом, может быть, вешем, сне.

Всё же возвращусь к школьнику 60-х годов — к основному времени этих заметок, от которого я, собственно, совсем не намеревался отступать, но из которого увлекли меня довольно сильно вперёд, в другие, не милые мне, годы, подробности третьего по счёту подвига отца-хранителя и отзвуки моих собственных испытаний. Возвращусь к тому, казалось бы, вполне благополучному ученику-отличнику 9-ой школы на Гражданской улице, который по внутреннему ощущению, однако, уже тогда всё более и более полнится мятежностью и неустроенностью. И уже в те дни всё опасней впадает в грехи рифмований-мечтаний и прочих полётов во сне и наяву. Возвращусь, чтобы тут же, через пару страниц, с ним на этот раз попрощаться и расстаться — до новых всплесков текстуры, до следующих, может быть, мемуарных попыток.

Подозреваю, что это отдалённое от меня во времени и пространстве существо, которым как будто бы и был я сам полвека назад, но в оболочки которого меня, нынешнего, ни реально, ни

метафизически втиснуть уже невозможно, всё же не оставит меня без новых выходов на связь — по множеству разнообразных причин. Ну хотя бы потому, что до сих пор между нами остаётся очень много общего. И то, чем занят я сейчас, — и протяжно, год за годом, и в данный конкретный момент, — выкликание из небытия неких слов-кодов, фраз-ключей, которые почему-то всё ещё представляются мне важными, затевалось как раз теми, неуклюжими, но до сих пор берущими меня за живое, усилиями 12-летнего отрока, начиналось именно тогда, в сером городском декабре 59-го года:

*То было зимой, и по городу ель пронесла  
декабрьского леса тяжёлые хвойные ветки.  
В квартире, сквозь сумрак, парили окон зеркала,  
и таял терьер за стеною у левой соседки.*

*За стенкою справа невидимый Карпов-сосед  
хрипуче-надсадно боролся с вечернею астмой.  
И вспыхнула фраза! — И хода обратного нет  
ни в ясные дни, ни в века канители ненастной.*

*Минута, секунда... Но разве длиннее судьба?  
Тавро золотое на серой обыденной шкуре!  
Еловая песня в снегу... Набухают хлеба —  
замешаны здесь, а на Рейне хрустят, на Амуре!*

И время, и место, и обстоятельства действия указаны в этих строчках вполне точно — вплоть до соседства кашляющего на разрыв дыхательных путей старшего Карпова, отца Саши. Хотя и можно было бы уточнить, что астматические хрипы ветерана доносились до школьника, склонённого над столом, не только с правой стороны, но и снизу вверх, по диагонали, — с третьего этажа на четвёртый. А опус, не то чтобы созданный трудами пера в тот зимне-серый вечер, но вполне спонтанно возникший сам по себе, никогда мною за миновавшие полвека не воспроизводился — в силу его явной неуклюжести и наивной неумелости. Разве что рискну сейчас припомнить, что первая строка про-

изведения 59-го года звучала вполне в акынско-джамбульском ключе:

*Пришла зима, пришла зима...*

Несколько последующих строчек следует оставить совершенно без цитирований и комментариев. А ещё дальше возникло нечто карнавально-маскарадное с явными переборами ритма:

*Костюмы к ёлкам-декабристам:  
здесь волк, глазастая сова,  
лиса с хвостом пушистым  
и два гривастых льва...*

Число и многообразие персонажей миновавшего вслед за тем декабрём полувекового карнавала безудержно и ежечасно возрастало: гоблины и хоббиты, лилово-зелёные мутанты и пришельцы-гуманоиды, Бэтмэны и Спайдермэны, Берлускони и Дерипаски, Ленноны и Батистуты, талибы и шахида, родимокровные менты-потрошители, продажные судьи и президенты-чекисты. Невиданные ранее львиноголовые кролики распушают абрикосовые гривы, а пёсеголовые прямоходящие особи, новые хозяева старой жизни, с истинно древнеегипетским хладнокровием, точнее говоря, мертвотокровием, кромсают и пожирают на своём автогенном пути всё и вся, что препятствует их инстинкту максимального поглощения.

И весь этот нечистый блеск, вся эта самовосхищённая нежить сливаются в темноте зимы и ночи в единое, опасно-шевелиющееся и тысячеглазое, существо, невнятный облик которого, по ощущению, — зол и безнадёжно-губителен. И вот некто с необъяснимым и алогичным упорством, подобно тому двенадцатилетнему отроку-неофиту, прозрачному на просвет всей своею плотью, продолжает вслушиваться в слабеющий, но всё ещё не достигший абсолютного нуля, трепет слова-ключа, звука-имени, — и в свой собственный, и в возлюбленно-найденный, долегающий от широт Праги, Питера или Воронежа:

*И вот ещё: «от ведьмы, от судьбы...» —  
Как пристально, как нестерпимо точно  
о дне теперешнем, бесстрашно и бессрочно,  
промолвлено! Есть близь — не подходи!*

.....

*Так в звуке, в имени — полмира спасено  
иль продана душа навеки чёрту.  
Так пастью красной к чёрному аборт  
зверь рвётся и, ощеривая морду,  
глотает плод с последом заодно...*

Скользит рядом уныло вытянутая физиономия, накопившая в последней смуте, всеми кривдами и неправдами, изворотливостью мелкого ума немалый капитал и кисло, косноязычно изрекает вслед товарищу многих прежних десятилетий, рано покидающему бессмысленную пьянку-гулянку: «Что, Серёжа, опять пошёл к своим стишкам?» Да нет, просто-напросто в сторону отшатнулся от всех этих, поспешно мутировавших в зобатые нувориши, отпрысков вчерашних советских цеховиков и мясников, тюремщиков и адвокатов, холопов и стукачей.

По самому главному счёту остаюсь всё там же, в ещё не зачернённых цинизмом времени пространствах, в первородных июлях вольнодышащей мальчишеской надежды. «Сердцем помню только детство, остальное — не моё...» — готов повторить вслед за очень близким мне по душевному строю Иваном Буниным. Да, и повторяю, как могу, — строкой и страницей, ежедневной молитвой и ежечасной, ежеминутной стойкостью.

И ещё один мальчуган, самое дорогое для меня сегодня человеческое существо, самая большая боль и радость одновременно, десятилетний сынок моей дочери, смотрит на меня сейчас теми же, давними, очень узнаваемыми глазами. Услышишь ли ты мои молитвы о нём, Господи? Услышь, Превеликий! Откликнись, Всеблагой! Лишь на тебя, усталый наш Родитель, и смею уповать, ибо на кого же ещё в здешнем миру, жестоком и несуразном, эгоистичном и бездушном, могу понадеяться?

Завершаю эти третьи по счёту заметки о своём первом жизненном десятилетии, накануне уже близкой зеленоглазой Троицы. Пишу за полночь, когда часовая стрелка только-только перебралась из 31 мая в первое июня, и повторяю уже не о себе, но о сегодняшнем моём десятилетнем мальчике, повторяю всё упорней и безоглядней, произношу всё более сквозь тревогу, чем сквозь надежду:

*И яблоко в ладони всё круглей,  
всё тяжелее и правдоподобней,  
а вольный дух июньских тополей  
любим ноздрями, вмятен кости лобной.*

*И пальцы в шрамах — быстрая рука  
при ярком свете так неосторожна!  
А ночь — близка, нежна... И у виска  
всё шепчет, шепчет: «Жизнь твоя возможна...»*

2008–2009 гг.

# На улице Пушкинской...

эссе о русской поэзии





## «НЕИСПРАВИМЫЙ ЗВУКОЛЮБ» — ЗАМЕТКИ О МЕТАФОРИЗМЕ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

---

Творчество Осипа Мандельштама — замечательное явление в русской и в мировой поэзии XX века. Анна Ахматова говорила, что стихи Мандельштама появились как будто бы из ничего, не имея прямых литературных предшественников. В этих словах есть доля преувеличения. Творческая родословная Мандельштама не лежит на поверхности, ее рассмотрение требует влюбленной напряженности взора. Тогда и проявляются явственные генетические линии мандельштамовской поэзии, строгий узор ее отправных и опорных точек. Но сказанное Ахматовой в основе своей рационально, и говорит она о неповторимой мощи и оригинальности поэтического мира Мандельштама. Может быть, даже о несравнимости этого обреченного на долгую жизнь мира — «не сравнивай: живущий не сравним...»

«Язык пространства, сжатого до точки», сплавление воедино, без признаков отторжения, наследий отдаленных разноразрядных культур, внутренне «аввакумовская», спокойно готовая к жертве, убежденность в своей поэтической правоте — вот признаки самоценного духовного явления по имени Осип Мандельштам. «Hier stehe ich — ich kann nicht anders...» — «Здесь я стою — и не могу иначе...», — имел право повторить вслед за Мартином Лютером поэт. Миссия духовной суверенности была дана ему свыше, и он принял ее на себя, ответив всей полнотой своего дара, всей трагичностью земной судьбы. — «Я должен жить, хотя я дважды умер...».

Откровения в его поэзии начинаются на очень раннем — на звуковом уровне. Уже здесь зарождается упругая мускулистость того образного поля, которое для читателя явится единством всех его восприятий — рационального, чувственного, интуитивного. В настоящей музыке не бывает ни единой фальшивой ноты. В поэзии Мандельштама не только каждый звук, но его оттенки, расслоения, ворсинки, гребни и впадины звуковых волн предчувствуют счастье и ответственность включения в общий клавір. Этот звук, предваряя слово и фразу, уже несет в себе страсть и энергию зачинаемой образности. Вслушаемся, потянемся к истоку возникающего образа — и тогда не может не прийти ощущение, догадка, мысль о неслучайности, о историчности фонетики Мандельштама. Все его звуки небезродны, они из толковых, работающих семей. Они — разных, но уважающих себя фамилий. У этих речевых зерен, гласных и согласных, крепка не только близкая и далекая память, но не утеряна и прапрапамять. Вот, словно «золотистого меда струя», льется настоявшаяся, спелая густовоздушная плоть русской речи. И в ней нередко можно услышать отголосок торжественной ноты гомеровских гекзаметров. Вот слышен шорох нездешнего жарко-колючего песка, слышен шелест трав, куда более жестких, пряных, желто-горячих, чем влажные царскосельские зелени...

Слово у Мандельштама может родиться по-разному. Иногда оно по щедрому наитию, сразу же и легко, выдыхается в мир той предсловесной, предстиховой музыкой, внутренний томящий приход которой у истинного поэта всегда предшествует сгущению словесной ткани. Иногда же роды стиха есть ступенчато-затрудненное:

*...появление ткани,  
Когда после двух или трех,  
А то четырех задыханий  
Придет выпрямительный вздох...*

Но слово это всегда положено на его, поэта, и свою, уже самого слова, внутреннюю музыку. И вместе с тем (здесь очень редкое и счастливое, в родах, разрешение противоречия) это слово предельно сгущено, уплотнено. Его духовная, пропитанная энергией плоть настолько сжата, настолько самодостаточна, что

единственная беда этих стихов — невозможность равноценного перевода на другие языки. Здесь, при попытке переложения поэтической речи, как и в другом случае, оплаканном Мандельштамом, — в запретной любви к чужому наречию, — возможен был бы лишь один болезненный результат — «уксусная губка для изменнических губ». Непереводаемость, неполнота ответной любви чужого наречия есть плата за внутреннюю полноту языка, за приближение его к совершенству. Это, увы, справедливо и для итальянской «Божественной комедии» Данта XIV века, и для русский философской лирики Мандельштама века XX-го.

Язык Мандельштама обладает ярко выраженной индивидуальностью. Его речь помечена не просто полудетскостью новизны, но скорее свежей зрелостью и глубиной человеческого возраста «акмэ». Язык Мандельштама — в известной степени более русский, чем когда-либо и у кого-либо раньше. Это верно прежде всего не в смысле формального изобретательства, но в смысле выявления поэтом речевых богатств, добытых им из глубин, из внутреннего потенциала самого русского языка.

*Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,  
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.  
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна  
и сладима,  
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками  
звезда.*

*И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,  
Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье, —  
Обещаю построить такие дремучие срубы,  
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье...*

В 1931 году, когда написаны эти строки, когда к поэту вернулось после пятилетия молчания, второе, полное мощи и откровения, творческое дыхание, Мандельштам уже многое понимал. Понимал, какие глубоко вгрызшиеся в почву русского языка поэтические срубы способен он выстроить. В эти колодцы воистину можно не только «опускать князей на бадье». Из их прозрачно-ледяных глубей, из почвенных недр подняты поэтом на



енному на авторскую тональность. Известно, что при волевом выклипании из плоского изображения стереоскопического объекта требуется особое расслабление-напряжение, сферическое разбегание зрения, как бы включение его всеохватности. И тогда желаемая материализация трехмерного мира, вырастание его из плоскости бумажного листа сбывается неизбежно и почти легко. Каждый новый раз все легче и легче, чище и глубинней. Такое же соавторское включение и наращивание многомерности восприятия обязательно и при чтении Мандельштама — обязательно не только для зрительных и слуховых, но и для всех иных человеческих рецепторов. Для определенных научно, анатомически и для не вполне опознанных, предполагаемых способов чувствования. При таком творческом, соавторском прочтении не одни лишь вчерашние Петербург и Москва, Крым и Воронеж поэта, но и давний Иерусалим его предков, и древнегреческий «высокий Приамов скворечник» становятся близкими к материализации, выпукло-ощутимыми:

*Я сказал: виноград, как старинная битва живет,  
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке.  
В каменистой Тавриде наука Эллады — и вот  
Золотых десятин благородные ржавые грядки.*

Определение этой необычной поэтической ткани как трехслойной, конечно, схематизировано и загроулено. Это определение — лишь обозримая модель сложнейшей многоуровневой структуры. И все же названы основные образующие и несущие слои, взаимопроникающие, но и не лишенные своего внутреннего порядка приоритетов. Исторические связи трех различных миропониманий — своенравны, прерывисты, часто непредсказуемы.

То бурное, дионисийским духом отмеченное, язычество-тысячебожие аукнется в колористической ереси православной иконы, в ее перенаселенности персонажами, в прямоугольном окаймлении мифами-эпизодами живописного поля житий-досок. То вдруг иудаизм, оставивший в наследие гонимому и непризнанному им христианству свой Ветхий Завет, вложит в уста русского поэта свой изощренный стоколенчатый метафоризм, многознач-

ность почти талмудического толка. Даром, что в детстве заброшена в пыль нижней полки шкафа пугающая рыжая Тора. Но и недаром непрочитана тяжелоглинянная книга, поскольку всегда, даже в самой сложной, сгущенной, казалось бы затемненной, метафоре Мандельштама, проступает при верно взятом угле зрения ясность и прозрачность речки Нерли, прорастает девичья белизна лугового, домашнего храма над этой рекою.

Уточним некоторые смысловые акценты. Речь вовсе не идет о Мандельштаме как о религиозном поэте. Дмитрий Мережковский в глубокой и оригинальной статье «Пушкин» заметил о первом русском поэте: «Христианство Пушкина чуждо всякой теологии, оно естественно и бессознательно». То же может быть сказано и о мироощущении и о поэтической интонации Мандельштама — его христианство, и прежде всего присущая ему целомудренная этика христианства, никогда не довлеет над его мыслью, чувством и словом. И примат духовности, свойственный христианскому канону, и его мораль, и его просветленная эстетика, — нередко с православным оттенком (хотя формально Мандельштам православия не принимал, крестившись в 20 лет в методистской церкви), — чаще всего присутствуют незримо в литературной ткани, как бы пропитывая ее и овеивая ее живительным воздухом. Но в случаях, когда свойственный Мандельштаму дар лирика-философа сливается с напором личностного переживания, когда трепет русского лона резонирует с трепетом русской идеи, возможно и прямое, и чистосердечное обращение к реалиям заснеженного православия:

*В разноголосице девического хора  
Все церкви нежные поют на голос свой,  
И в дугах каменных Успенского собора  
Мне брови чудятся, высокие, дугой.*

*И с укрепленного архангелами вала  
Я город озираю на чудной высоте.  
В стенах Акрополя печаль меня снедала  
По русскому имени и русской красоте.*

*Не диво ль дивное, что вертоград им снится,  
Где голуби в горячей синеве,  
Что православные крюки поет черница:  
Успенье нежное — Флоренция в Москве.*

*И пятиглавые московские соборы  
С их итальянскою и русскою душой  
Напоминают мне явление Авроры,  
Но с русским именем и в шубке меховой.*

Стихи посвящены Марине Цветаевой, тем встречам с ней в 1916 году, ради которых Мандельштам приезжал из Петербурга в первую российскую столицу. В те «чудесные дни с февраля по июнь 1916 г., — вспоминает сама М. Цветаева, — я дарила ему Москву». Пожалуй, в этих стихах 25-летнего поэта еще не изжит эллинизм не «мандельштамовский», не внутренний, а полученный в наследство от почитаемого, но не очень близкого Вячеслава Иванова, от любимого и духовно близкого Иннокентия Анненского (да что там, почти от всего поэтического XIX века). Акрополь и Аврора здесь не так убедительны, как простой образ чуть ранее цитированных крымских, алуштинских стихов, где виноградные «ржавые грядки» Тавриды тянутся живым удвоением «золотых десяти» Эллады.

В эллинизме поверхностном — холодные атрибуты, в эллинизме внутреннем — шершавые, теплые «предметы утвари». А вот звучание имени Флоренции, повторяющее итальянским эхом самое имя Цветаевой, это уже Мандельштам с его сверхчувственным инстинктом звуколюбия.

И еще запомним впервые прозвучавший здесь рядом с «русским именем» шепот «шубки меховой». От этого совсем неслучайного, ключевого заговора-зашептывания нам не удастся избавиться вплоть до прощального шелеста последней мандельштамовской страницы.... Не уходя далеко, прочтем уже следующее стихотворение из «Tristia», тоже навеянное московскими встречами с Цветаевой, но отмеченное уже не благостным, а болезненным, напряженным, «более русским» историческим контекстом:

*На розвальнях, уложенных соломой,  
Едва прикрытые рогожей роковой,  
От Воробьевых гор до церковки знакомой  
Мы ехали огромною Москвой.*

*А в Угличе играют дети в бабки  
И пахнет хлеб, оставленный в печи.  
По улицам везут меня без шапки,  
И теплятся в часовне три свечи.*

*Не три свечи горели, а три встречи —  
Одну из них сам Бог благословил...*

Здесь, в первых строках, вместо женственного шепота меха, руна предшествующей цитаты, появляется более жесткая модификация звука — соломенный, рогожный шорох, тревожно нарастающий. И потерянная шапка этих стихов — уже не меховая, она валяется где-то в дорожной жиже, косматая, дранно-шкурная. Параллельное преломление звука и фактуры образа оправдано здесь дурной совестью исторической подоплеки стихов — углическим «царедетоубийством». Последние строки стихотворения коробятся и ежатся еще более напряженным, жужжащим звуком рыжего поджога, жалящего сожжения:

*Царевича везут, не имеет страшно тело —  
И рыжую солому подожгли.*

Тут я хотел бы начать разговор об особенностях мандельштамовского звуколюбия, о некоем звуковом, музыкальном шаманстве, которое — на мой слух — в его стихах объективно обитает.

В пятидесятые годы в 9-й средней школе темно-рыжая и млечнокожая учительница русского языка, тучная еврейская женщина с грузинской, по мужу, фамилией Наникошвили, научили меня, пятиклассника, полезным грамматическим стихам. Эта считалка и до сих пор отбивает во мне ритм время от времени:

*эс-тэ-пэ-ка,  
ха-че-ша-ща,  
цэ-эф!*



Она посвящена перечню глухих согласных русского алфавита. Мандельштам писал, что согласные звуки — мускулатура языка, согласными ветвится и коренится язык. Для него самого — самые частые и неслучайные — именно эти глухие согласные, особенно звуки второй и третьей строк школьной считалки: ха, че, ша, ща, цэ, эф. Самые частые не по абсолютной частоте, а по частоте появления в ключевых, стратегических точках звучащей фразы. Сергей Аверинцев в зорком, аналитичном очерке, предваряющем юбилейный, еще советский, двухтомник Мандельштама, справедливо подмечает матовость, стускленность мандельштамовского образа, его раннего стиха в целом. Хочу уточнить, что более, чем сдержанность образа, лексики, колорита (этот арсенал, особенно в более поздних стихах, нередко ударно-ярок), устойчива у поэта именно приглушенность звука, интонации:

*Звук осторожный и глухой  
Плода, сорвавшегося с древа  
Среди немолчного напева  
Глубокой тишины лесной.*

Эти стихи, открывающие первое издание «Камня», написаны 16-летним Мандельштамом. Ключевой звук назван отчетливо, по имени, в первой строке первого стихотворения первой книги. Вернее, назван по фамилии, по семейной принадлежности — «звук осторожный и глухой». Внутренняя суть, родовой признак этого звукового клана — повышенная способность к фонетическому ветвлению и слоению, к образному прорастанию. Это звуки — на грани тишины и нетишины, молчания и немолчания, бытия и небытия:

*Быть может, прежде губ уже родился шепот  
И в бездревесности кружились листья,  
И те, кому мы посвящаем опыт,  
До опыта приобрели черты.*

Поэту хорошо известен ответ на его полувопрос, полудогадку. И в тишине, и в молчании уже таится шепот. И русские имена понятий «тишина» и «молчание» очень чутко отзываются на

камертон глубинной сути: в их звуковой сердцевине — все те же, еще не отпущенные тишью, «ш» и «ч»... Неслучайность. Недаром другое понятие нашей речи, — казалось бы, почти синоним к «тишине» в бытовом, поверхностном смысле, но непримиримый антогонист к ней в смысле глубинном, философском, — понятие «немота» опирается своим фонетическим ядром на совсем иное полуглухонемое в данном контексте, безъязыко, одними лишь губами, рождаемое «м». Там, где у Мандельштама аллитерации, россыпи зерен звука и фонетическое ветвление слов, там чаще всего — роение и расслоение названных глухих согласных:

*Ты равнодушно волны пенишь  
И несговорчиво поешь,  
Но ты полюбишь, ты оценишь  
Ненужной раковины ложь.*

Строфа взята из стихотворения «Раковина» II-го года, которое по первичному замыслу должно было дать название первой книге.

И в 36-м году в воронежской ссылке уже совсем не тот, не 20-летний, но обреченный на гибель, предсмертно горько-мудрый Мандельштам, то ли давая отдых, то ли просто доверяя своему «мыслящему, бессмертному рту», не чурался почти невесомого шепота, птичьего чоканья:

*Когда щегол в воздушной сдобе  
Вдруг затрясется, сердцевит, —  
Ученый плащик перчит злорада,  
А чепчик — черным красовит.*

Несомненно, это пристрастие в мандельштамовской фонетике — ненарочито и не задано, но естественно и интуитивно. Он пишет по слуху, он работает с голоса и не устанавливает для своего внутреннего слуха неуклюжих канонов. Так появляются исключения, подтверждающие правило глухосогласного звукового ряда: появляется озвонченное «ж» — более яркий и интенсивный аналог исходного «ш» или «з» — такое же форсирование

первичного «с». Аналогия слишком явная, чтобы не проявиться в звуковой музыке Мандельштама. Так скудные песчаные и глиняные охры, почти аскетические почвы армянских нагорий сгущаются в абрикосовые и апельсиновые колера пейзажей Сарьяна, озвонченные избыточно-щедрым темпераментом художника. Так появляются звуки «золотой заботы»:

*Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы.  
Медуницы и осы тяжелую розу сосут.  
Человек умирает. Песок остывает согретый,  
И вчерашнее солнце на черных носилках несут.*

*Ах, тяжелые соты и нежные сети,  
Легче камень поднять, чем имя твое повторить!  
У меня остается одна забота на свете:  
Золотая забота, как времени бремя избыть.*

*Словно темную воду, я пью помутившийся воздух.  
Время вспахано плугом, и роза землею была.  
В медленном водовороте тяжелые, нежные розы,  
Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела!*

Слышащий — услышит. Для склонного к иным аргументам не поленюсь посчитать: в трех строфах этого стихотворения взвешено в воздухе 46 звучащих в одном ключе «ш»-«ж» и «с»-«з». Кроме них в этих строках — еще 59 других глухих согласных. Освещенные античной образностью, зовущие своими «воздушными прогулами» недосказанности к философским послесловиям, эти стихи только дополнительно выигрывают от того, что эффект оживления ткани в них достигнут. Тяжесть и нежность душистых розовых зарослей, жужжанье, снование в зное золотистых пчел и «узких ос» — все это оживленно фонетическим даром, точным настроем поэтического голоса на свою первородную, нутром чуемую, как образную, так и звуковую, клавиатуру.

Все же среди названных здесь и лишь на миг пробужденных цитатами «звуков осторожных и глухих» особое место фонетика Мандельштама отводит звуку «ш». Это одни из важнейших зву-

ковых ключей поэта, звук, стоящий у начала глухого звукоряда, звук, непосредственно граничащий с тишиной. Вполне закономерно, что он же помогает опознать имена из некоего семейства метафорообразующих фактур, тканей, столь же особо выделяемых и предпочитаемых поэтом.

Порою кажется почти неодолимым его желание прикоснуться физически, словно к зарождению первичного шепота, к этим, вобравшим в себя звук и запах, ворсисто-воздушным фактурам: меха, овчины, руна, шерсти, бархата. К их более скудным и угрюмым родичам — соломе, рогоже, мешковине, холсту, жесткотравью, сухой древесине... Множества шуб, шапок, «бобровых митр», медвежьих полостей в мандельштамовских образах трудноисчислимы: «И Шуберта в шубе застыл талисман», «Там хоть вороньей шубою на вешалке висеть» — это только строки, которые у всех на слуху. Мандельштама нужно очень внимательно слушать. О том, насколько это, казалось бы, частное необязательное пристрастие только к одному из возможных типов фактур кровно связано с глубинным психологическими и философскими состояниями поэта, способна сказать даже одна его строфа:

*Тихонько гладить шерсть и ворошить солому,  
Как яблоня зимой, в рогоже голодать,  
Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому,  
И шарить в темноте и терпеливо ждать.*

Толчки к зарождению взрослых пристрастий нередко можно обнаружить в реалиях младенчества: «...лапчатые шкурки лайки, раскиданные по полу, и живые, как пальцы отростки пухлой замши — все это, и мещанский письменный стол с мраморным календариком, плавает в табачном дыму и обкурено кожами. А в черстовой обстановке торговой комнаты — стеклянный книжный шкафчик, задернутый зеленой тафтой.... Книжный шкаф раннего детства — спутник человека на всю жизнь».

Это мандельштамовское описание кабинета отца. Похоже, что не только книжный шкаф этой обстановки оказался

способен на шепот, шорох и скрипы, которых чуткому уху достаточно для подсказки даже сквозь рыхлую толщу времени. Отец Мандельштама, по свидетельству этой же прозы «Шум времени», был человеком, у которого «совсем не было языка, это было косноязычие и безъязычие... Совершенно отвлеченный придуманный язык, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы, причудливый синтаксис талмудиста». Такие предметные и речевые реалии встретили Мандельштама в самом начале пути. И судьбе было угодно, чтобы прививка отцовского страстного косноязычия породила необыкновенный, почти всесильный, голос единственного в своем роде поэта. А прививка бытовой, купеческой утвари-фактуры, как будто даже коробившей своей утилитарностью, породила символический образ, сходный по фактуре, но легко входящий уже во многие измерения. Ветвление этого образа, этой рыхло-воздушной и одновременно упорно-роговой, хитиновой фактуры (здесь тоже редкая по лаконизму реализация сцепки противоречий) захватывает целые пучки координат. Часто это ветвление включено у Мандельштама в характерный для него исторический контекст:

*О временах простых и грубых  
Копыта конские твердят.  
И дворники в тяжелых шубах  
На деревянных лавках спят.*

*На стук в железные ворота  
Привратник, царственно ленив,  
Встал, и звериная зевота  
Напомнила твой образ, скиф!*

*Когда с дряхлеющей любовью  
Мешая в песнях Рим и снег,  
Овидий пел арбу воловью  
В походе варварских телег.*

Я бы сказал даже не об историософии, как принято обычно определять одну из основных линий Мандельштама, но о его историофилии. Чувство, эмоция, как у истинного поэта, взлетают у него выше и размашистей логики. Цепи, пунктиры, вее-ры метафор и образов возникают несравненно чаще по ассоциации звуковой, осязательно-фактурной и иной чувственной, чем по принципу логической связи. В приведенном стихотворении 1914 года, пожалуй, впервые звучит метафора о «тяжелых шубах», умножаемая и варьируемая далее многими другими стихами. Испытывающие тяготение к «тяжелым шубам» «копыта конские», «деревянные лавки», «арба воловья», «варварские телеги» и даже «звериная зевота» составляют единый образный ряд, выстроенный по фактурному признаку. Внутри этого физически ощутимого пространства оживление «времен простых и грубых» и «дряхлающей любви Овидия» происходит почти естественно. Недаром несколько позже в статье о природе русской речи руками другого русского поэта Мандельштам «с нежностью» возлагает «звериную шкуру» на «плечи зябнувшего Овидия». Заветный, сквозной во времени образ. Опять отмечу в приведенных стихах двоение «ш-ж» в ведущей метафоре — в «тяжелых шубах». Звуковой заговор-шепот дает в этом случае камертон не сплошной аллитерации, но общей для всего стихотворения словесной плоти — шершавой, шерстистой, щетинистой, таящей внутри себя скрипы, шорохи, шуршания.

Предложенное здесь определение «историофилия» точнее совпадает и с известным самоопределением Мандельштама. Однажды, объясняя значение термина «акмеизм», он произнес: «тоска по мировой культуре». В задачу поэзии вряд ли входит логический анализ. Убедительную мысль порождает в настоящих стихах живой, сильный образ. Для Мандельштама, особенно в зрелый его период, характерно почти полное отсутствие стихов, написанных «на тему», «задуманных». Его поэтическое слово — ведомо интонацией, звуковым или образным настроением. Поэтому его «историофилия» есть именно тоскующая любовь к мировой культуре во множестве ее временных и языковых ипостасей.

Десятки различных реализаций знакомого образа, одновременно и фонетического, и фактурного, встречаются в поэзии и прозе Мандельштама. Один из первых очерков поэта так и зовется «Шуба». Вот небольшой, но вдохновенный гимн из этой зарисовки: «Покупать шубу, так в Ростове. Старый шубный митрополичий русский город. Здесь гуляют поповские гладкие шубы без карманов: зачем попу карман, только знай запахивайся, деньги не убегут.

Не дает мне покоя шуба, тянет меня в дорогу, в Москву да в Киев, — жалко зиму пропустить, пропадет обновка. Хочется мне на Крещатик, на Арбат, на Пречистенку. Хочется и в Харьков, на Сумскую, и в Петербург на Большой проспект, на какую-нибудь Подрезову улицу. Все города русские смешались в моей памяти и слились в один большой небывалый город, с вечно санным путем, где Крещатик выходит на Арбат и Сумская на Большой проспект.

Я люблю этот небывалый город больше, чем настоящие города порознь, люблю его, словно в нем родился, никогда из него не выезжал.

Отчего же так беспокойно мне в моей шубе? Или страшно мне в случайной вещи — соскочила судьба с чужого плеча на мое плечо и сидит на нем, ничего не говорит, пока что устроилась. Вспоминаю я, сколько раз я замерзал в разных городах за последние четыре года...»

Можно было бы, откачнувшись от этой тревоги и этого страха, схватиться за полу гоголевской «Шинели» — за шершавое сукно предгибельного, хищного счастья беззащитного человека. Было бы литературной правдой — повторить снова, что «все мы вышли из гоголевской «Шинели»... Но тревога Мандельштама здесь — уже не литературная. Она живая, и она очень многое предчувствует. «Последние четыре года» — это годы, начиная с 1917-го... Даже не будь печального признания в конце цитаты, можно было бы догадаться о психологической подоплеке неизнашиваемой «шубной» метафоры Мандельштама. Эта подоплека — психология человека замерзающего, смятенного напором хаотического злого начала.

*Кому зима — арак и пунш голубоглазый,  
Кому — душистое с корицею вино,  
Кому — жестоких звезд соленые приказы  
В избушку дымную перенести дано.*

*Немного теплого куриного помета  
И бестолкового овечьего тепла;  
Я все отдам за жизнь — мне так нужна забота, —  
И спичка серная меня б согреть могла ...*

При твердой внутренней уверенности в своей поэтической правоте, в повседневности Мандельштам стал с 17-го года человеком, обреченным на все новые шаги навстречу неустроенности, бесприютности — «замерзанию». Его независимость и достоинство, его нежелание «идти в колхоз» и наступившие новые жесткие времена вступили в неразрешимый, все нарастающий антагонизм. Те холода, о которых идет речь в приведенных стихах 1922 года, были только предвестниками будущих стуж в судьбе поэта. Стихотворение 31-го года «Волк» уже написано с неотступностью боли и загнанности:

*За гремучую доблесть грядущих веков,  
За высокое племя людей, —  
Я лишился и чаши на пире отцов,  
И веселья и чести своей.*

*Мне на плечи кидается век-волкодав,  
Но не волк я по крови своей:  
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав  
Жаркой шубы сибирских степей...*

Но и это еще не был конец охоты. Выстрелы раздадутся чуть позже — в мае 34-го года в Москве и в мае 38-го в Саматихе. Это даты первого и второго, — неизбежно гибельного, — ареста Мандельштама. И смерть в декабре 38-го года на краю земли, в дальневосточном пересыльном лагере, действительно будет гибелью от всегда им предчувствуемой стужи, в которой «по-звериному воет людье».



Огромная человеческая и поэтическая судьба Осипа Мандельштама требует глубинного, творческого проникновения. Цель настоящих заметок более локальна. Здесь прослеживается многозначность генетики одной из ключевых, излюбленных метафор поэта, ее едино-многослойная структура. О живящих эту генетику импульсах фонетических, осязательно-фактурных, предметных, бытийно-психологических, литературных и социальных несколько слов уже сказано. Еще одним очень сильным порождающим началом являются историософские или историофильские импульсы, работа дальней памяти.

Путеводная тоска Мандельштама «по мировой культуре» не могла миновать земли его предков — ветхозаветной Иудеи. «Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует», — сказано в «Четвертой прозе». Вновь явленная здесь метафора, заговор-заклинание, окликает, должно быть, больше единокровников-овцеводов, чем царей и патриархов. В их пастушьи овчинные одежды, зимние и ночные, в еще неотнятые руна их стад наверняка ввелись знакомые поэту, узнаваемые через века запахи. — Дым от костра, с алчной радостью поедающего сухую древесину, пряный дух горного разнотравья, поджарого и жестковатого, горячий запах разогретой прадавней земли, адамовой глины.

*С висячей лестницы пророков и царей  
Спускается орган, Святого Духа крепость,  
Овчарок бодрый лай и добрая свирепость,  
Овчины пастухов и посохи судей...*

В юности, в годы становления у Мандельштама было немало попыток отстраниться от своего еврейства — «Из вязкого омута вырос я, тонкой тростинкой шурша». Пугали «невеселые странные праздники, терзавшие слух дикими именами: Рош-Гашана и Йом-Кипур». Казалось чуждым и невнятным все то, что он определял как «иудейский хаос» в своей первой прозе — в «Шуме времени»: «Иудейский хаос пробивался во все щели каменной петербургской квартиры угрозой разрушенья, шапкой в комнате провинциального гостя, крючками шрифта нечитаемых книг

Бытия, заброшенных в пыль на нижнюю полку шкафа, ниже Гете и Шиллера, и клочками черно-желтого ритуала». В «Четвертой прозе» звучит уже горячо, почти запальчиво, восклицание о «почетном звании иудея, которым я горжусь». Объективно же, независимо от всех житейских коллизий, от всех психологических изменений Мандельштама, его кровь отягощена, и отягощена благодарно, воистину неодолимой, великой памятью. Памятью странного, доньше не вошедшего в тихое русло, исторического пути, памятью трагедий и героизма, памятью изощренных мудрствований и духовных откровений. Это кровь преодоления. Даже акустика движения ее — звуки выхода из безмолвия: шорох, шуршание, шелест, как определяет сам поэт:

*А ведь раньше лучше было.  
И, пожалуй, не сравнишь,  
Как ты прежде шелестила,  
Кровь, как нынче шелестишь.*

И это кровь, которая ни при каких обстоятельствах (испытано веками) не может утратить своего упорного голоса.

Древнееврейская азбука, заброшенная в пыль мальчиком Осипом Мандельштамом, все же брызнула на его сетчатку не сразу опознанным воспоминанием. И «настоящий еврейский учитель», который «учил, не снимая шапки» и «прятал свою гордость», выходя на улицу, отчего ученик ему не верил, все же смог бы услышать в ответ, хотя и много позже урочного времени, эхо собственной речи. Если вчитаться в словарь иврита, вслушаться в звучание слов древней Иудеи — часто, очень часто аукнутся то здесь, то там, тихо, но отчетливо, шепоты и шорохи излюбленной фонетики Мандельштама.

Сплетаются в нежнейшую почти безупречно ямбическую строку «шемеш, шаон, шана, шаа» — солнце, часы и год, и час. Три последних слова, будто неслучайно, пришли из плеяды всегда приблизительных имен Времени. Разве не крадется оно неслышно, вздыхая лишь тишайшим шелестом листвы о своем могуществе? Откуда «Шум времени»? Откуда эти идущие подряд числа «хамеш, шеш, шива, шмоне, теш», отсчитывающие шепотом

том секунды? Откуда жарко дышащие имена месяцев года «тишрей, хешван, шват»? Должно быть, всемогущей этой сути ничего не стоит коснуться «шевелиющихся губ» и благословить их вновь через несколько тысячелетий тем же самым мирром, которым они уже благословлялись прежде...

И само небо зовется в этом языке шаманящим словом «ша-маим», и корни трав в оврагах почв отзываются на шуршащее имя «шореш». Выскользнет ли из словаря Иудеи змея в жаркую дорожную пыль, взлетит ли орел в горячее небо — все равно и ей, рожденной ползать, и ему, крылатому, даны имена заклинающего шепота — «нахаш», «нешар»... И всюду, на каждой странице словаря, живет этот звук дыхания тишины, шепота молитвы, лиственного шороха. А буква «шин», этот звук обозначающая, — единственная литера ивритского алфавита, чьи очертания можно найти и в алфавите русском, в кириллице. Там она называется просто буквой «ша». Казалось бы, уж совсем частное совпадение, но можно увидеть в этой очередной частности глубокий и емкий символ. Суть множества совпадений одна — существует ясный и звучный резонанс голоса ветхозаветной крови Мандельштама и голоса его русской поэзии.

Реализуется, и сознательно, и подсознательно, в этом, уже конкретном, «родовом», историческом русле движение непрерывной во времени, многослойной, но и внутренне единой, метафоры стиха. Из сжатых глубин генетической памяти всплывает к «губам шевелящимся» и ключевой звук, и подлинность предмета, фактуры, цвета, запаха. И не избавиться русскому стиху Мандельштама от наваждения этой полнодышащей, всегда чреватой образами, буквы «шин», которую даже Каббала включает в свою троицу «букв-матерей». Не избыть густым северным шубам, этим сладострастным подругам свирепых морозов, воспоминаний о пастушьих овчинах смиренных волхвов. Мудрецы эти, склоненные над вифлеемскими яслями, вошли в пещеру еще в мехах иудейских, а выйдут из нее, унося с собою христианский символ агнца Божьего... Шершавые воловьи стога, младенческие завитки ягнят, шелест соломы под ногами... — Это в самом начале. «И Ешуа вошел в Ершалаим» — это уже в конце, но и в великом начале на-

чал... — Всего этого не хочет утратить однажды вдохнувшая воздух и жадная к дыханию многоаккордная метафора поэта.

И будет он, пока не отберут последний листок бумаги, пеленать, словно «в драгоценный лен», в свои первородные шкуры, руна и холсты то возлюбленную «мастерицу виноватых взоров», а то и бранные останки собратьев по ремеслу. Вот из стихов, обращенных к Марии Петровых:

*Не серчай, турчанка дорогая:  
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,  
Твои речи темные глотая,  
За тебя кривой воды напьюсь...*

Из строк, посвященных кончине Андрея Белого:

*Дышали шуб меха, плечо к плечу теснилось,  
Кипела киноварь здоровья, кровь и пот...*

Вот из «Египетской марки» (где даже титульная «Египетская марка» — детская кличка героя, человека с овечьими — никуда не деться, опять овечьими — копытцами) о смертельно раненном Пушкине: «Взгляд его упал на перегородку, за которой гудело, тягучим еврейским медом, женское контральто. Эта перегородка, оклеенная картинками, представляла собой довольно странный иконостас. Тут был Пушкин с кривым лицом, в меховой шубе, которого какие-то господа, похожие на факельщиков, выносили из узкой, как караульная будка, кареты и, не обращая внимания на удивленного кучера в митрополичьей шапке, собирались швырнуть в подъезд».

И может быть, еще две строки из «Ариоста», в которых звучит уже не тридесятый меховой, шубный шепот, но не менее интимный заговор нежного посвиста с еле уловимым поцокиванием. К тому же здесь восстановлено бережное мандельштамовское отношение к Пушкину, слегка помятое лихой образностью предыдущего отрывка:

*На языке цикад пленительная смесь  
Из грусти пушкинской и средиземной спеси...*

Эти «ш» и «с», почти неотличимые друг от друга в косноязычном или младенческом произношении, близки и по духу. Произнесенные отдельно как звук-фраза, они есть одновременно и призыв к тишине («ш-ш-ш», «с-с-с»), и первичный выход из тишины, из беззвучия. Как буквою «шин» алфавит иврита сцеплен с алфавитом русским, так и буквою «самех» (отпечаток звука «с») сцеплен он с азбукой греческой, повторяя малую, еще не всесуммирующую, «сигму».

И все же изящней и родовитей, слоистей и метафоричнее «шин» нет иероглифа в языке древней Иудеи, Галилеи. Это и впрямь буква-иероглиф, сжатая до ядерной плотности «повесть временных лет». Она — иудейский отроческий трехсвечник, еще не пустивший остальных побегов. Она — профиль финикийского судна или Одисеева корабля, опустившего на ночь парус, — чернеющего на фоне дремотного золота закатной воды, закатного неба. Она — и твердый трезубец еще полуязыческой, еще младакиевской Руси. Недаром так дружелюбно кивают ей мудрыми бородами болгарские братья-просветители Кирилл с Мефодием. Недаром ею «не искушающий чужих наречий» Осип Мандельштам как своею, как дважды своею, навсегда богат.

Завершая эти беглые прикосновения к генетической и метафорической прародине русского поэта, припомню отрывок из своих стихов, где не забыт звучащий трехсвечник огненного знака «шин». Борис в этих стихах — большой русский поэт, недавно умерший Борис Чичибабин. С ним не раз мы с общей тихой радостью слушали «волосяную музыку воды», вспоминая то «трамвайную вишенку страшной поры», то другие любимые строки Мандельштама...

*Кроплюсь живой водой Бориса,  
А в Осипе — вино люблю!  
Щепоть корицы и аниса  
Ловлю в отеческом хмелю.  
Он пред иконой русской речи  
Трехсвечник огненного «шин»  
Склонил, двукрылый и двуплечий,  
Поскольку Бог добра — един!*

*Веранды маленькой шкатулка  
Во тьме светилась, как фонарь,  
И всплески рыб листали гулко  
Реки дремотной календарь.  
Ежи пыхтели у ступеней,  
Когда сгущалась тишина,  
И душу книги откровений  
Я снова пил и пил до дна.*

*Когда в те ночи — Мандельштама  
Читал я, дочь моя спала.  
И пел ей бор, подобье храма,  
О том, что мир не знает зла.  
Ей, семилетней, снилась, верно,  
Не Семилетняя война,  
Не половодье мутной скверны,  
Которой снова Русь пьяна...*

*Ей снилось то, что преломилось  
В зеркальной книге мудреца:  
На стыке слов — Господня милость,  
Даль галилейского лица,  
Архангелова подбородка  
Утяжеленная краса  
И кратко-вечно, мощно-кротко  
Одушевленные глаза...*

\* \* \*

Дозируя интуитивно и подсознательно, и вместе с тем художнически-точно, ветхозаветную закваску своего поэтического вина, Мандельштам, однако, ни разу не делает попытки анализировать эту свою особенность. Его алхимическое действо с отсветами злато-черного ритуала происходит в полной тишине, конечно, из-за внешне враждебных обстоятельств, но, может быть, и не без влияния традиции иудаизма — не называть вслух Высшего и даже в письме-

нах оставлять только контуры его имени — Б-г... Свою же эллинистическую природу поэт декларирует звучно и торжественно.

Существует немало статей и очерков Мандельштама, где филологические, философские размышления об античных началах русской поэзии, собственного творчества изложены им обстоятельно и подробно. Таковы его работы «О природе слова», «Слово и культура», его «Разговор о Данте».

«Русский язык — язык эллинистический. В силу целого ряда исторических условий, живые силы эллинской культуры ..устремились в лоно русской речи, сообщив ей самоуверенную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью». — Это сказано о русской речи, которая была для Мандельштама высшей ценностью. А потому сказано и о собственной поэзии, о ее «говорящей плоти».

«Жизнь языка в русской исторической действительности перевешивает все другие факты полнотою явлений, полнотою бытия, представляющей только предел для всех прочих явлений русской жизни. Эллинистическую природу русского языка можно отождествлять с его бытийственностью. Слово в эллинистическом понимании есть плоть деятельная, разрешающаяся в событие. Поэтому русский язык историчен уже сам по себе, так как по всей своей совокупности он есть волнующееся море событий, непрерывное воплощение и действие разумной и дышащей плоти».

Может быть, и эти слова относятся больше к определению собственной историософской страсти и историофильской мудрости в стихе, чем к определению безусловноисключительного качества русской речи в ряду других развитых языков? Примечательно упоминание о «звучащей и говорящей плоти». Два близкие по смыслу прилагательных, стоящих рядом в этом определении, совсем не идентичны. Уже немало сказано выше о важной, самостоятельной роли звука в мандельштамовском метафоризме. Еще до формирования «плоти говорящей» — до говорения, до произнесения слова — звук принимает на себя и интонационную, и образную, и, в конечном счете, смысловую ответственность. И, вливаясь в плоть слова, фразы, звук все же успевает ясно заявить о своей самоценности и о суверенности.

Вдумываясь в определение бытийственности, событийности языка, в отождествление его с разумной и дышащей плотью, вспомним еще раз тезис С.Аверинцева о тусклости раннего манделштамовского стиха. И неяркость колорита, и приглушенность образа, остающиеся в известной степени во всех периодах творчества Манделштама, уравновешены не одной лишь серьезностью, торжественностью тона, неснятостью этой высокой интонации. Основное, что не только оправдывает отсутствие внешнего эффектного слоя, но делает просто необязательной плоскостную, поверхностную живописность, — это и есть названная им самим внутренне напряженная событийность, связевая многомерность его поэтического языка, уплотняющаяся вглубь «разумная и дышащая плоть» речи. Внешнее проявление того же свойства многомерности манделштамовского слова — это нередкое впечатление о его стихе как о стихе плотнo-выпуклом, скульптурном, архитектурном.

Но работы с линией, с колером, графики и живописи, в поэтической ткани Манделштама действительно почти не найти. Главное объяснение — его цвет, его свечение рождаются внутри образа и пробиваются наружу из глубины. Вряд ли цветовая сдержанность — это умышленная, нарочитая установка. В «Разговоре о Данте» есть примечательные слова: «Мне изо всей силы хочется опровергнуть отвратительную легенду о безусловно тусклой окрашенности или пресловутой шпенглеровской коричневости Данта». В этом слышна и попытка опровергнуть сходные подозрения о самом себе, возможно, свои же собственные подозрения. Нечто, освещающее вопрос с противоположной стороны, сказано, и довольно запальчиво, еще раньше в «Шуме времени»: «Цвет Пушкина? Всякий цвет случаен — какой цвет подобрать к журчанию речей? У, идиотская цветовая азбука Рембо!» Эмоциональность тона слишком велика, чтобы высказывание могло оказаться случайным. И цвет, и абрис предмета — во многих случаях статичны. В противовес этому любой звук, всегда и всюду, от воздушного шепота до грохота рушащегося мира, — неизменный спутник движения. И цвет, и обводы вещи — сугубо внешние, поверхностные ее качества. В противовес этому неоднородная, разнохарактерная фактура вещи, ее осязательность,



уводит вовнутрь, вглубь, в сущность. Уводит — и, следовательно, является качеством событийности, нестатичности.

Пушкин не был колористом, но любил четкую, выверенную графическую линию. Таковы, к примеру, его нередкие осенние и зимние пейзажные зарисовки. Для летних этюдов одной графики не доставало, и потому их написано намного меньше. То же перо оставило и множество узнаваемых профилей на полях черновики. Автографов Мандельштама сохранилось немного. Но останься целыми даже все его рукописи, на их полях едва ли нашлось бы больше одной рисованной загогулины. У Мандельштама был до дерзости своеобразный и неуступчивый человеческий и поэтический характер, было держащее все удары чувство творческой правоты и суверенности: «У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архива. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голоса, а кругом густопсовая сволочь пишет». Он работал с голоса, он писал звуком — к этому его толкал редкий дар-инстинкт, редкая потребность в движении, в событийности.

*И Шуберта в шубе застыл талисман —  
Движенье, движенье, движенье.*

Да, и его ключевой звук, и излюбленная фактура имеют еще одну важную подоплеку — тяготение к движенью! Конечно же, его неизбыточное «ш» — звук первичного движения воздуха в шепоте, шуршании, шелесте. И опосредствовав звук, он работал с осязательными импульсами, с фактурой, «полной воздуха, провалов, прогулов», работал с объемами. Ведущая идея — та же, называемая им «внутренним эллинизмом» — чреватость событийностью, движением. Ибо объем, как и рыхлая, сохранившая глубины, фактура, суть многомерность. А многомерность, разбегание измерений, линий взора — уже событийность, уже потенциал изменения.

Выше уже сказано не раз о неумолимом обращении Мандельштама к своей стратегической, анализируемой здесь метафоре. Но, обнаружив теперь уже «шубертовскую шубу» рядом с трижды повторенным «движением», отмечу, что динамика образности может проявляться еще интенсивнее, а ракурс проникновения все в ту же «меховую основу» может оказаться и вовсе неожиданным.

«В ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост». Ну, разве не пробует он свою неизменную воздушно-роговую фактуру, теперь уже как «дикое мясо», даже на вкус?

*Играй же на разрыв аорты  
С кошачьей головой во рту,  
Три чорта было — ты четвертый,  
Последний чудный чорт в цвету.*

Многочисленные «ч» в чертыханиях последних строк (еще и усиленные устаревшим «о» вместо «е») — это просто физически ощутимое сплевывание кошачьей шерсти с одновременным: «свят, свят, свят...» Здесь не грех и вспомнить, что единственная реальная шуба Мандельштама, — эта маленькая потертая мышь горы его шуб поэтических, — привезенная им, по сведениям разных книг то ли из Ростова, то ли из Харькова, то ли из Киева, сгорела от вспышки примуса в склочном Доме Герцена в Москве, едва не спалив спавшего на ней Михаила Пришвина. Если бы я был каббалистом, то непременно бы сказал, что это буква «шин», каббалистический символ огня, забрала к себе подругу-шубу. Слишком уж неразрывны в метафорическом мире Мандельштама этот ведущий звук и эта постоянная символическая фактура.

Присяги своему родовому прошлому Мандельштам не давал, хотя избыть его он был, слава Богу и хвала Б-гу, не в силах. Присяга же своему внутреннему эллинизму была им дана, и ей он никогда не изменял. В статье «О природе слова» Мандельштам говорит об Иннокентии Анненском, в котором он видит поэтического единомышленника: «Гумилев назвал Анненского великим европейским поэтом. Мне кажется, когда европейцы его узнают, смиренно воспитав свои поколения на изучении русского языка, подобно тому, как прежние воспитывались на древних языках и классической поэзии, они испугаются дерзости этого царственного хищника, похитившего у них голубку Эвридику для русских снегов, сорвавшего классическую шаль с плеч Федры и возложившего с нежностью, как подобает русскому поэту, звериную шкуру на все еще зябнущего Овидия... Все спали, когда Анненский бодрствовал... И в это время директор Царскосельской гимназии долгие ночи боролся с Еврипидом, впитывая в себя змеиный яд

мудрой эллинской речи, готовил настой таких горьких полынно-крепких стихов, каких никто ни до, ни после его не писал».

О чем бы ни писал поэт, он пишет это о себе. Поэзия — жанр непрерывных признаний. Крепчайший настой мандельштамовской поэзии включил в себя столь многое, что даже гениальное чудовище Гренуй из известного романа Патрика Зюскинда «Парфюмер» с его обонятельной сверхчувствительностью не смог бы определить всех составляющих этого напитка, этого зелья. Да это, видимо, и не требуется. «Поэзия — роскошь, но роскошь, доступная каждому», — говорил в одном из писем И.С. Тургенев. Каждый, имеющий в том душевную потребность, может обратиться к «трехтысячегранной», к сложно организованной, но глубинно-гармоничной, неодолимо притягательной поэзии Осипа Мандельштама. «За радость тихую дышать и жить, кого, скажите, мне благодарить?» — спрашивал поэт в самом начале своей юношеской книги, в самом начале пути.

Тихая радость вскоре была отнята, лишь только успел подрасти детеныш-век, и поэту суждено было принять в упор, один на один, жестокий и губительный взор зрачков «века-зверя». Но тот, кто ощущает себя собеседником, единомышленником, читателем-наследником Мандельштама, да возблагодарит щедрую на чаадаевские уроки Россию, одарившую поэта несравненной мощью и глубиной своей речи и, неотъемлемыми от этой речи, хищными, погибельными событиями-именами Чердыни, Воронежа-ножа, Саматихи, курвы-Москвы...

«Возблагодарим и земли «эллина и иудея», впрыснувшие в кровеносную систему «неисправимого звуколюб» свои полуденные, полынно-крепкие соки. Возблагодарим человеческий дар, духовную стойкость поэта, который вопреки судному времени «сорока тысяч мертвых окон» выстроил звучное, живое пространство своей поэзии.

\* \* \*

Легкая и стремительная подвижность, тяготение не к «бородатому развитию», а к счастливо-быстрым переменам, были не

только поэтическими, но и психологическими качествами Мандельштама. Во «Второй книге» жена поэта вспоминает: «Мандельштам убеждал меня, что тяга на юг у него в крови. Он чувствовал себя пришельцем с юга, волею случая закинутым в холод и мрак северных широт. Мне казалось нелепым, что он связывает себя со Средиземноморьем: ведь предки нынешних российских евреев в незапамятные времена потеряли связь с его берегами и через владения германских князьков, через земли рассеяния и уже не первого изгнания перебрались в пределы России...»

Неизбывная тяга на юг ощутима и в эллинистической, и в древнеиудейской интонациях историософии Мандельштама. Тот же магнитный зов всякий раз, снова и снова, приводил его к возлюбленным крымским берегам.

«На вершок бы мне синего моря, игольное только ушко!» — ностальгически писал поэт в воронежской ссылке в стихах о «ребятах из железных ворот ГПУ» и дважды повторял свое восклицание, предчувствуя, что ни моря, ни Крыма увидеть ему уже не суждено.

Русским поэтам уже два века кровно близки таврийские берега и понтийские воды. Взаимная влюбленность поэзии и Крыма начиналась еще с гурзуфских дней юного Александра Пушкина. «На облаках бы в синий Коктебель!» — заклинал городскую зиму своим глубинно-теплым, хрипловато-звучным голосом Борис Чичибабин. Хочу вспомнить и собственное признание из книги стихов «Врата»:

*Заговоренный полуостров  
Над исцеляющей водой,  
Твой кипарис шатрово-острый  
Увенчан щедрою звездой.*

*Ты — свиток отраженных русел,  
Завет, астральная печать.  
И мне любви соленый узел  
Не развязать, не разгадать!*

Крым — не только земля со всегда праздничной, исцеляющей природой, не только морской берег, где дышится вольно

и обновляюще. Чертеж Крыма — совершенно особенный, выпуклый и многоцветный исторический узор. Здесь тысячелетиями, счастливо и трагически, проливая и смешивая крови, пересекались пути, линии физического и духовного движения культур, религий, языков и народов. Мраморные и известняковые эллинские города крымских побережий. Почвы с бессчетными черепками амфор, еще не забывших душ вина, масла, зерна. Вознесенная на скальную кручу Согдайя-Сурож, неприступная крепость генуэзцев. Кипарисные минареты мечетей Гирей-ханов, наследников хищной Золотой Орды. Аскетические пещерные города караимов — неожиданный излом и без того причудливого пути иудаизма. Наконец, греческий Херсонес, крестивший киевского князя Владимира в христианскую веру византийскими перстами.

Всем этим был Крым. И сегодня память о минувшем сохранена глубинными взорами понтийских бухт и заливов, прикипела заветными словами к каменным и глиняным губам молчаливых гор. Эта аура распаханного и многомерного культурного и языкового пространства, эта причастность к сложной, первородной истории средиземноморских и пришлых цивилизаций несомненно притягивала к Крыму и Мандельштама. И, как стихи Мандельштама, «мешая важное с пустяками, наплывая на русскую поэзию», уже «слились с ней, кое-что изменив в ее строении и составе», так и крымские города и селения, где судилось поэту побывать, стали теперь, отмеченные воспоминанием о нем, чуть иными — еще на йоту светлее, романтичнее, притягательней...

По крайней мере, для меня это так. Мой Крым становится мне еще дороже, когда, удивившись неожиданному перепаду рельефа татарской улочки или наткнувшись на безымянную древнюю плиту с арабской вязью, политую молодым солнцем, я вдруг вспоминаю, что вот здесь, именно здесь, мог остановиться и Осип Мандельштам и удивиться тем же камням, тем же деревьям. Почему-то не в Москве или Питере, не в Киеве или Харькове, но именно в Крыму мне особенно хотелось бы его встретить — среди этих солнечных, ноздреватых ракушечников, среди разлапистых смоковниц и тутовых деревьев.

Итак, добираться мне до Феодосии —  
Лишь ночь, лишь чуток загорелого дня.  
Там кровная мысль о двоюродном Осипе  
Так бодро под ребра бодает меня.  
Там облик египетский брезжит и слышится  
Непойманный цокот-хорей башмаков.  
Развеяна гневная Максова ижица,  
Но свеж голубеющий плюш ишаков.

Привольно вдыхается нищее диво  
Земли загорелой, зеленой воды.  
Овечьих холмов травяные наплывы  
Вдоль моря текут, вдоль текучей слюды.  
Лоскутная, известняковая Кафа!  
Как щедро — всего-то полсутки пути,  
Чтоб в складках пиратского красного шарфа  
Листок со взъерошенной рифмой найти!

С щепоткою тмина, с корицею в мокко,  
С угаданным клювом средь гущи на дне,  
С такой молодую, не знающей срока  
Пузырчатой радостью в желтом вине.  
С рыбацкою лодкой, что, еле белея,  
Спешит, обгоняя кефаль и макрель,  
В край ладана, смирен, тоски и елея,  
Туда, где Эллада, Ливан, Галилея —  
Озера и смоквы заветных земель...

Да простится мне повторение этой воображаемой, но такой желанной встречи с Мандельштамом в Феодосии-Кафе. В той Феодосии, которой он посвятил и стихи, и прозу, в которой оставил жить навсегда колоритнейшие фигуры начальника порта, полковника Цыгальского, Мазесы да Винчи. Не знаю, сказал ли кто-либо о Феодосии лучше, чем говорят эти слова, где «неизменно дует ветер свежий»:

Окружена высокими холмами,  
Овечьим стадом ты с горы сбегаешь  
И розовыми, белыми камнями  
В сухом, прозрачном воздухе сверкаешь.

И есть еще в Крыму Коктебель, где летом 1915 года Мандельштам впервые встретился с Цветаевой в волошинском доме, а в 1933 году, в последний свой приезд в Крым, читал Андрею Белому и Анатолию Мариенгофу только что написанный «Разговор о Данте». Есть Гаспра, где надиктован Надежде Мандельштам «Шум времени», есть отделенный от Коктебеля предгорным лесом городок Старый Крым, где довелось поэту холодной весной 33-го года встретить «тени страшные Украины, Кубани», «как в туфлях войлочных, голодных крестьян» — людей, опухших от голода, казнимых на своей земле изуверской властью.

В 1917 году, еще в прежней жизни, еще до всех нечеловеческих испытаний, настигавших и огромную страну, и самого поэта, были им написаны в крымской Алуште, в Профессорском уголке, такие светящиеся, такие юно-эллинистические и живительно-крымские стихи «Золотистого меда струя из бутылки текла...»! Вот последними строками этих памятных стихов, несущих дыхание размеренного ночного прибоя, дыхание оживающих тысячелетий, и хотел бы я завершить свои заметки — еще не «Разговор о Мандельштаме», но лишь начало этого разговора:

*Золотое руно, где же ты, золотое руно?  
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны.  
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,  
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.*

Одиссей — это он, русский поэт Осип Мандельштам «трамвайная вишенка страшной поры», «неисправимый звуколюб», «и эллин, и иудей». Нет, не канул он бесследно на краю земли в промерзлую мертвецкую яму, но возвратился через десятилетия безмолвия на берега своей любви — на берега и невские, и таврические. Он возвратился, ибо так нужно Богу и людям. Возвратился, чтобы каждый, кому дано почувствовать его поэзию, полюбил его звучащую душу навсегда.

## ЗАЩИТА НАРБУТА

---

Владимир Нарбут — одна из знаковых фигур своего времени. Яркий, ни на кого не похожий поэт, магнетически-сильный творческий характер. Человек, сполна разделивший со своим народом кроваво-крестный путь Руси первой половины минувшего века.

Родился В. Нарбут в 1888 году в теплых краях, в исконных землях славного некогда черниговского княжества — вблизи городка Глухова, бывшего в свой час одной из столиц украинского гетманства. Принял же лютую смерть на ледяном краю света, на северо-восточной окраине необозримой сверхимперии. Погиб, то ли сброшенный с баржи сапогом конвойного в ледяную воду приколымской бухты Находка, то ли взорванный вместе с плавучей тюрьмой, вместе с другими калеками-каторжанами, не пригодными, как и он сам, к ударному труду. Казнь состоялась в день пятидесятилетия Владимира Нарбута — 14 апреля того же 38-го года, когда был уничтожен еще один русский поэт, друг Нарбута, Осип Мандельштам.

Трагическую предопределенность нового этапа русской истории, жестокость и жертвенность собственной судьбы предчувствовал Владимир Нарбут уже и в 13-ом, и в 22-ом — в годы, которыми датировано его стихотворение «Пасхальная жертва», один из несомненных поэтических шедевров «черниговского князя»:

*Молчите, твари! И меня прикончит,  
по рукоять вогнав клинок, тоска,  
и будет выть и рыскать сухой гончей  
душа моя ребенка-старичка.*



*Но, перед Вечностью свершая танец,  
 стопой едва касаясь колеса,  
 Фортуна скажет: «Вот — пасхальный агнец,  
 и кровь его — убойная роса».  
 В раздутых жилах пой о мудрых жертвах  
 и сердце рыхлое, как мох, изрой,  
 чтоб, смертью смерть поправ, восстать из мертвых,  
 утробой отравленная кровь!*

Владимиру Нарбуту, уничтоженному людоедским режимом вместе с миллионами его соотечественников, суждено было восстать из мертвых. Его стихи, около семи десятков лет не появлявшиеся в советской печати, с начала девяностых годов снова стали достоянием читателей. Его деятельная личность, наделённая редкостным энергетическим даром, оставив заметный след в культурной жизни многих городов России и Украины, продолжает вызывать интерес исследователей, раскрывается в новых аспектах, под новыми углами зрения.

Петербург и Харьков были весьма важными этапами в писательской биографии В. Нарбута. В первую очередь это утверждение относится, конечно, к Санкт-Петербургу, являвшемуся в начале века не только административной, но и культурной, литературной столицей Российской империи. Сюда, в северный град Петров, куда тремя четвертями века раньше устремился из глубин патриархальной Полтавщины двадцатилетний Николай Гоголь, направились в 1906 году и братья Нарбуты — Георгий и Владимир, двадцати и восемнадцать лет отроду.

Нарбуты были зачислены в Петербургский университет, причем Владимир в течение шести лет учился последовательно на трех факультетах: математическом, восточных языков, филологическом. Фортуна была явно благосклонна к молодым провинциалам с первых же их петербургских шагов — почти сразу по прибытии им посчастливилось поселиться в доме известного русского художника И. Я. Билибина. Билибин оказал очень существенное профессиональное влияние на старшего из двух братьев, Георгия Нарбута, ставшего впоследствии одним из крупнейших мастеров русской и украинской книжной графике начала 20-го века.

Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что на Владимира Нарбута, стоявшего тогда лишь у самых истоков своего поэтического будущего, глубинная и увлеченная художническая натура Ивана Билибина воздействовала благотворно. Билибинские иллюстрации к былинам о Добрыне и Муромце, к русским народным и пушкинским сказкам помечены не только полновочувственной красочностью, не только изяществом линии, причудливо соединившей в себе иконописную традицию и модерн. В художественной манере Билибина, одного из лучших учеников Ильи Репина, сквозит большее — влюбленное, философски подпитанное вращение в непрерывный многовековой контекст фольклорного действия: народного орнамента, мифологии и демонологии, в контекст древнерусской миниатюры.

Эти же признаки глубинно-временных, генетических, сгущенно-метафорических прорастаний художественной фактуры невозможно не заметить в дальнейшем в поэтике Владимира Нарбута. Так же, как действие равняется противодействию в известной теореме, так и любовно-волевое вращение художника в почву, в огромность традиции определяет встречное движение образа, поднимает жизнеспособные побег неведомого, но сущего.

Сам петербургский круг общения В. Нарбута несомненно обязывал его к истовым художническими усилиям. Вспоминая о первых годах своей петербургской жизни в заметках «О Блоке» («Календарь искусств», № 1, 1923, Харьков), Нарбут пишет: «С Александром Александровичем я уже был знаком и носил пушкинский его, темно-зеленого цвета, с большими отворотами и упрямой талией сюртук. Упомяну кстати, что последний унаследовал я от художника И. Я. Билибина, в квартире которого я в ту пору жил и где, если не изменяет мне память, впервые видел Блока».

Какие причудливые — ветвистей, чем билибинские — орнаменты из имен, ассоциаций, окликов и умолчаний выстраиваются при чтении этого краткого абзаца, «клочка воспоминаний»: Пушкин, Блок, Репин, Билибин, Нарбут... Но кто-то же большеглазый и дальнорский эти узоры-сцепки набросал — пусть и эскизно — и скрытый их смысл взыскует быть и замеченным, и разгаданным.

Конечно, и отеческое духовное покровительство Билибина (его звали Иваном Яковлевичем, так же, как и родного деспота-от-

ца Владимира Нарбута), и цветисто-поверхностные всплески фольклорной «Яри» нарбутовского друга-акмеиста Сергея Городецкого лишь помогли Нарбуту укрепиться в своем собственном, врожденном, внутренне и неотъемлемо присущем ему поэтическом заряде. В знаке заряда — почти неизменно отрицательном по отношению к «истеблишменту», как принято теперь терминологически англизировать русскую «сыть да гладь». В составе черного пороха этого заряда, что хоть отчасти, но достался ему все же от «хорунжего сотни Глуховской Романа Нарбута», упомянутого еще в гетманском универсале Мазепы XVII века... Кстати, не случайно, видимо, назовет позже Владимир Нарбут Романом и своего единокровного сына.

Петербург — и позитивными импульсами, и от обратного — подтолкнул Нарбута к осознанию своего «гоголианства», своего семиколенного родства с виами-ведьмаками, упырями-вурдалаками украинского усадебного быта. Осознание этого оказалось художнически чреватым и вскоре было переведено поэтом в шершавую ткань стиховой метафоры. Вековые мотивы, где фантастические ноты порой неразделимы с реальным звучанием «пузырей земли», едва-едва были слышны уже в первой петербургской книге В. Нарбута «Стихи», вышедшей в 1910 году. Но этот же мотив, поднятый автором почти до крещендо, зарядил мощной и бударажающей вибрацией дюжину стихотворений его второго сборника «Аллилуйя» (1912), вызвавшего немалый скандал в приличном обществе.

Большая часть из 100 экземпляров тиража была уничтожена по постановлению Департамента печати, заклеившего книгу как богохульную и кощунственную. Исключенный из университета, Нарбут вынужден был укрываться несколько месяцев от судебного преследования — вдали от Петербурга, в этнографической экспедиции в Абиссинии и Сомали. «Аллилуйя», между тем, была прочитана не только цензорами, но и литературными кругами Петербурга и вызвала множество разноголосых откликов. Наиболее пристально попытался взглянуть тогда в необычность новой книги поэта, в ее смысловое и генетическое ядро (кто и откуда? и камо грядеши?) старший соратник Нарбута по кругу акмеистов Николай Гумилев в своих «Письмах о русской поэзии».

В стихах «Аллилуйи», где иные усматривали лишь нарочитый физиологизм, стремление к эпатажу, Гумилев отметил «галлюци-

онирующий реализм», последовательный протест против «бес-содержательных красивых слов», «внимание ко всему подлинно отверженному, слизи, грязи и копоти мира». И далее из гумилевских «Писем»: «Показался бы простой кунсткамерой весь этот набор сильного, земляного, кряжистого словаря, эти малороссийские словечки, иногда нелепые рифмы, грубоватые истории, если бы не было стихотворения «Гадалка». В нем объяснение мечты поэта, зачарованной и покоренной обступившей ее материей...»

Вот две завершающие строфы «Гадалки»:

*Вся закоптелая, несметный груз  
годов несущая в спине сутулой, —  
она напонила степную Русь  
(ковыль и таборы), когда взглянула.  
И земляное злое ведовство  
прозрачно было так, что я покорно  
без слез, без злобы — приняла его,  
как в осень пашня — вызревшие зерна.*

Гумилев профессионально чутко уловил камертонность этих восьми строчек, заметил в них проблеск-намеки на разгадку неудобного и темно-грозового замысла «Аллилуйи». Авторского замысла или иного, властно-нездешнего, лишь заставляющего шевелиться мужицкие нарбутовские губы?

Нет, это, проблеснувшее в финале «Гадалки», — совсем не «объяснение мечты ...покоренной обступившей ее материей»... Сквозь прозрачность «земляного злого ведовства» В. Нарбу-ту — хотел он этого или нет — уже зримо явились и жертвенный «пасхальный агнец», и «кровь его — убойная роса» — то, о чем напишет он, еще отчетливее свидетельствуя, всего через год — в 1913-ом. То, что начнет реально сбываться еще через год — в 1914-ом и достигнет невиданных масштабов жертволюбия — начиная с семнадцатого года и на долгие-долгие десятилетия вперед.

Главное в «Аллилуйе» то, что это книга плохих предчувствий. Молох всеобщего катаклизма подступал, глубинные слои почвы, болезненно корбясь, передавали на поверхность пока только глухой тревожный гул. Этот сверхнизкий неотвратимо-гибель-

ный звук, эти ноты социально-тектонической катастрофы — основной тон нарбутовской «Аллилуйи». Неотвратимость угрозы и принимаема не иначе, как «покорно, без слез, без злобы» — ипостасью женственности. Не иначе, как презрением к гибели, в случае ипостаси мужества: «Молчите, твари! И меня прикончат...»

Недаром В. Нарбут, рецензируя сборник «Ива» осенью 1912 года в противовес его автору, С. Городецкому, упоминает «тот гнев, тот безысходный ужас, каким проникнуты строки бытовиков-народников». Недаром и стихотворение «Портрет», стоящее в «Аллилуйе» рядом с «Гадалкой», предваряет Нарбут выразительным эпиграфом из Григория Сковороды: «взглянь на род человеческий. Он ведь есть книга: книга же черная».

Исчезающе мало жизненного пространства для надежд оставляет уплотненная смысловая и образная ткань «Аллилуйи». Первое стихотворение своей книги, «Нежить», Нарбут еще завершает некой просветленной нотой, словно бы пытаясь прислушаться к отклику, к эху неприветливого внешнего мира:

*А в крайней хате в миске-черепа на припечке  
уху задерживает пленка перламутра,  
и в сарафане замусоленном на цыпочки  
приподнялся над ней ребенок льнянукудрый.*

Но этот светлоголовый детский образ в финале последнего стихотворения сборника «Упырь», в финале всей «Аллилуйи» оборачивается дурной противоположностью — младенцем-оборотнем, вскормленным ничего не подозревающей крестьянкой, «приземистой мамкой»:

*Невдомек ротозейке-неряхе...  
что при гноте жестяной каптючки —  
в жидком пепле — дитенок чудной  
всковырнется и липкие ручки,  
как присоски при щедрой получке,  
лягут властно на плечи, и — вой...*

И впрямь все действия людей, нелюдей и вещей, все скрипы, скрежеты и всхлипы в причудливой многофигурной композиции

«Аллилуйи» размещены между «Нежитью» и «Упырем», между Вием и воем... За исключением, разве что, еще одного наивно-безответного вопрошанья в середине книги: «Вьется-плачет жаворонок невидимка (ты ль то, ангелок серебрянокрылатый?)»... И осуществлена эта мрачная дислокация событий совсем не по злой воле автора. Властвует и звучит сам материал, бесстрашно окликнутый Нарбутом, — почва как стихия. Сама мать-сыра Земля чревоушает утробным и безжалостным гулом.

В год выхода «Аллилуйи» почти никто не расслышал и не распознал вряд ли понятного в полной мере и самому автору фатального инфразвука. Но уже ближайшие годы России показали, что книга плохих предчувствий, книга неслышанных предостережений подтверждается, увы, стократно и тысячекратно.

Примечательно, насколько естественно подкрепил Нарбут смысловое содержание «Аллилуйи» соответствующей поэтической пластикой — этим глухо и тягостно, угловато и неуклюже, мощно и самовластно ворочающимся словом. Этой затрудненной, сбивчивой, словно заторможенной, ритмичкой. Снова напрашивается мысль о поэте как о резонаторе для звучащих по своим собственным законам земляных горбов и каменных глыб, о книге как о переложении голоса стихии на околочеловеческий язык.

Впрочем, и учено-косноязычную, своенравно-своемудрую лексику старца Сковороды можно порою распознать в нарбутовских инструментовках:

*Яблоком является плотская сласть безчестна,  
В кую влечет, как змий, плоть хитра и прелестна...*

Но в первую очередь на своей кухне слова Нарбут остаётся самим собой — хуторским, кряжистым, первородно-почвенным. И вовсе он не потенькивает словом как прозрачным севрским фарфором, а напористо гремит им как «предметом утвари», ворочая то тяжкими чугунными сковородами, то шершаво-глиняными горшками-макитрами.

Даже не вполне понятая, «Аллилуйя» бросила весьма выразительное освещение на фигуру автора. В письме 1913 года к Анне Ахматовой Н. Гумилев, полагая, нисколько не покривил душой:

«Я совершенно убежден, что из всей послесимволической поэзии ты да, пожалуй (по-своему), Нарбут окажется самыми значительными».

Владимир Нарбут покинул Петербург в 1913 году после неудачной издательской затеи. «Новый журнал для всех», им редактируемый, в связи с финансовыми неладами ему пришлось продать, причем продать лицам, весьма непопулярным в петербургских культурных кругах. Нарбут возвратился на несколько лет в черниговские края, в Глухов. Его публикации продолжали появляться в петербургских журналах и после 1913 года. Известно, что поэт еще не раз возвращался в город, где прошли первые семь лет его литературной деятельности — это были и приезды из Воронежа по делам журнала «Сирена», и приезд из Харькова в 1921 году, по-видимому в связи со смертью А. Блока.

Не может вызывать сомнения, что Петербург, его литературная, общекультурная аура сыграли первостепенную роль в формировании Нарбута-поэта. Даже формальные признаки красноречивы: здесь, в Петербурге, вышли в свет первые три его книги — «Стихи», «Аллилуйя», «Любовь и любовь» (1913).

Здесь же судьба подарила ему дружбу с А. Ахматовой, О. Мандельштамом, М. Зенкевичем — дружбу, длившуюся почти три десятилетия, сохранившую человеческое лицо и в самые нечеловеческие времена, вплоть до рокового ареста Нарбута в 1936 году.

Между тем, следует ясно понимать, что и «Цех поэтов», и акмеистское содружество, и общение с художниками круга И. Билибина, и десятки прозаических и поэтических публикаций в петербургских журналах, и множество иных, по-своему ценных, культууроформирующих импульсов за долгие семь лет петербургской жизни поэта помогли сформироваться лишь спусковому механизму сложной и своеобразной поэтической системы В. Нарбута. Слишком самоценным, накрепко укорененным в собственную физическую, историческую, мифологическую почву был этот необыкновенный человек.

И сам его характер, нередко до сих пор осуждаемый и об-суждаемый всуе, неоднозначный, страстный и мятежный, лишь включался в сферу его духа — в координаты страстотерпия, мужества, стойкости, в координаты истинного творчества наконец.

«Владимиръ Нарбутъ» — с двумя твердыми знаками, словно глядящими в упор, глаза в глаза, с обложки «Аллилуйи». Нарбут — и в самой фонетике своего имени «некий твердый знак сих вавилонских мест». Поэт, который через несколько лет после Петербурга, уже израненный адовыми кругами русской смуты, с полным правом мог написать и о себе, и о времени:

*Обритый наголо хунгуз безусый,  
хромая, по пятам твоим плетусь,  
о Иоанн, предтеча Иисуса,  
через воющую волкодавом Русь.  
И под мохнатой мордой великана  
пугаю высунутым языком,  
как будто зубы крепкого капкана  
зажали сердца обгоревший ком*

Харьковский период биографии В. Нарбута охватывает в основном 1921–1922 годы. Но, работая в 1919–1920 годах организатором новой советской печати в Киеве, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Нарбут бывал и в эти годы — и нередко — в Харькове, который с 1918 года стал большевистской столицей Украины. Во всяком случае в единственном до сих пор посмертном отечественном томе его произведений (Москва, «Современник», 1990) присутствуют два стихотворения В. Нарбута — 1919-го и 1920-го годов — написанные в Харькове:

*России синяя роса  
крупитчатый железный порох,  
и тонких сабель полоса,  
сквозь вихрь свистящая в просторах...  
Взрывайся, пороха крупа!  
Свисти, разящий полумесяц!  
Россия, дочь!  
Жена!  
Ступай —  
и мёртвому скажи: «Воскресе».*



Даже эти несколько строк, харьковских по рождению, свидетельствуют, что со времен «Аллилуйи» и с В. Нарбутом, и со всей страной произошли огромные изменения. Ядовитые пузыри земли, подспудное брожение которых чуял Нарбут еще в петербургские годы, вышли на поверхность в семнадцатом году, и уже несколько лет над Россией и Украиной не мог развеяться запах гари и пороховых дымов.

В 1917 году надо было делать выбор, и В. Нарбут со свойственными ему решимостью и страстью присягнул новой большевистской вере. В канун 1918 года в усадьбе под Глуховом на семью Нарбутов было совершено вооруженное нападение, по всей видимости «зеленой» бандитской вольницей и по политическим мотивам. Были убиты младший брат Владимира, Сергей Нарбут, и управляющий имением Миллер. Сам В. Нарбут получил пулевое ранение в левую руку (далеко ли до «сердца обгоревшего кома»?) Кисть руки пришлось срочно ампутировать. К счастью, прежде, чем началась стрельба, жена Нарбута успела спрятать под кровать их двухлетнего сына Романа...

Через несколько месяцев, осенью 1918-го, в Ростове-на-Дону Нарбуту, арестованному деникинской контрразведкой, как большевистскому газетному редактору был вынесен смертный приговор. Освобожденный из тюрьмы красными конниками бывшего вахмистра Первой мировой Бориса Думенко, Нарбут тем не менее остался навсегда с клеймом белогвардейского плена. В 1928 году, уже в Москве, один из «крупных организаторов советского литературного процесса» А. Воронский привлек к остротверделой партлитдискуссии документы о нарбутовских днях в деникинских застенках. Тем самым судьба Нарбута была решена — в том же, 1928 году, он был исключен из партии и лишен всех постов, а в 36-ом году последовал и фатальный арест. Жернова того же репрессивного механизма уничтожили в 30-е годы и самого Воронского, бывшего, помимо всех его иных заслуг, и личным другом Ленина. Спаситель же В. Нарбута, brave рубака Думенко, был расстрелян еще в 1920 году, как формулируется ныне, «по ложному обвинению»...

Однако от времени основательного появления В. Нарбута в Харькове до колымской его казни оставалось еще более полу-

тора десятков лет. В Харькове Нарбут появился на подъеме своей судьбы, переведенный в украинскую столицу из Одессы и назначенный директором Радиотелеграфного агентства Украины. К этому моменту в Одессе были изданы две книги его новых стихов — «Плоть» (1920) и «В огненных столбах» (1920).

Два неполных харьковских года В. Нарбута так же отмечены выходом новых поэтических книг: «Советская земля» (1921) и «Александра Павловна» (1922, издательство «Лирень», руководимое Г. Петниковым). Последний прижизненный сборник Нарбута «Александра Павловна» некоторые исследователи склонны считать вершиной нарбутовской лирики:

*Вы набожны, высокомерно-строги.  
Но разве я не помню, как (давно)  
во флигиле при городской дороге  
летело настезь, в бузину, окно!  
Вас облегал доверчиво и плотно  
Капот из кубового полотна.  
О май!. Уж эти тонкие полотна,  
уж эти разговоры у окна!*

Не правда ли, удивительно чиста и целомудренна здесь лирическая интонация поэта Нарбута? И ни революционер Нарбут, меченный пулей, тюрьмой, смертным приговором, ни суровый комчиновник Нарбут, «организатор и водовоз» советской печати, никогда с этим поэтом ничего поделать не могли. Простыми словами, на интонации, на дыхании воистину оживляет В. Нарбут этот майский день у окна. И зарождается, может быть, этот светлый запев к «Александре Павловне» не без знакомой ноты весеннего бунинского «Нового храма»:

*Порог на солнце в Назарете,  
верстак и кубовый хитон...*

Из стихотворений, вошедших впервые в книги харьковских изданий, особого внимания заслуживает «Большевик» — тетраптих или, еще точнее, стихотворный цикл, опубликованный в сборни-

ке с максималистски-лобовым названием «Советская земля», выбранным скорее Нарбутом-драконоборцем, чем Нарбутом-поэтом.

Обложка книги, кстати, была оформлена известным харьковским художником-авангардистом Борисом Косаревым, оставившим несколько сбивчивых строк воспоминаний о Нарбуте в духе пресловутого «Алмазного венца» В. Катаева с его почти опереточным персонажем Колченогого. Прошедший через испорченный телефон и суетно протиражированный альманахом «Двуречье» (Х., 2004), устный пассаж Косарева напоминает прискорбный случай с неким академиком. Онный же умудрился вlepить дважды по две ошибки в нелёгких для написания словах «профессор» и «премьер-министр»...

Именно из харьковского цикла «Большевик» взяты те самые стихи, которые с восхищением цитирует в мемуарах «Ни дня без строчки» Юрий Олеша, близко знавший Нарбута по Одессе, Харькову и Москве:

*Над озером не плачь, моя свирель.  
Как пахнет милой долгая ладонь!  
...Благословение тебе, апрель.  
Тебе, небес козлёнок молодой!*

И об этих же стихах пишет в своих, как всегда ярких, воспоминаниях Константин Паустовский: «На сцену вышел поэт Владимир Нарбут — сухорукий человек с умным, желчным лицом. Я увлекался его великолепными стихами, но еще ни разу не видел его. Не обращая внимания на кипящую аудиторию, Нарбут начал читать свои стихи угрожающим, безжалостным голосом. Читал он с украинским акцентом:

*А я трухлявая колода,  
годами выветренный гроб...*

Стихи его производили впечатление чего-то зловещего. Но неожиданно в эти угрюмые строчки вдруг врывалась щемящая и невообразимая нежность:

*Мне хочется о Вас, о Вас, о Вас  
бессонными стихами говорить...*

Нарбут читал, и в зале установилась глубокая тишина...»  
Продолжим то, что непременно хочется продолжить:

*Над нами ворожит луна-сова,  
и наше имя и в разлуке: три.  
Как розовата каждая слеза  
из Ваших глаз, прорезанных впродоль!  
О тёплый жемчуг!  
Серые глаза,  
и за ресницами живая боль...*

Эту загадку о имени «три», о «серых глазах», прорезанных впродоль», зная канву нарбутовской биографии, разгадать не так уже и трудно. Коллизия с именем «три» как раз в Харькове 22-го года и разрешилась счастливо для влюбленного Нарбута. Болезненной и тягостней и для поэта, и для его читателя, и даже для самого неделимого времени — прошлого-настоящего-будущего — всякий раз возвращаться к сомнениям, читая другие строки тетраптиха:

*Мария!  
Обернись, перед тобой  
Иуда, красногубый, как упырь.  
К нему в плаще сбегала ты тропой  
чуть в звездах проносился нетопырь.  
Лилейная Магдала,  
Кариот,  
оранжевый от апельсиновых рощ...  
И у источника кувшин...  
Поет  
девичий поцелуй сквозь пыль и дождь.*

.....

*И, опершись на посох, как привык,  
 пред Вами тот же, тот же, — он один!  
 Иуда, красногубый большевик,  
 грозových дум девичьих господин...*

И какая же нота окончательней и подлинней в этой неожиданной, накрепко цепляющей внимание строке об Иуде-большевике? Покаянье ли в смертном грехе братоубийства? Богохульное ли возвышение-приглашение Иуды к большевистскому партбратству, к коммунистическому Пиррову пиру? Но ведь Пирр-то был, были обескровленные и опустошенные в распре города и веси, тела и души, а до пира так и не удалось добраться... Или же это тот, уже недетерминированной природы, случай, когда электризованная речь тянется к смыслу самовластно и напрямую, не поддаваясь авторскому волевому и рациональному преломлению?

Так в «Чевенгуре» и «Котловане» Андрея Платонова высвечена наркотическими очами адептов красного дела, высвечена во всей патологии фантазмагория кумачово-стадного счастья. Босховы и Брейгелевы слепцы и уроды воскресают и хлопотливо-озабоченно снуют, держась друг за друга, по воронежской степи. «Красногубый Иуда-большевик» Нарбута и стилистически, и всю сутью — незаменимый поводырь этой торжественной процессии.

Апокалиптическое время, жестокая биография Нарбута, бросающая поэту ежечасно вызов за вызовом, способны сказать в той или иной мере «да» любому из трех вариантов догадки об «иудиной» строке стихов «Большевик». Объективность трудносовместима с помехами пространства-времени. И все-таки тема покаяния, принятия вины — и всеобщей, и личной — неотъемлема от многозначности этого текста. Тот же болевой мотив звучит у Нарбута — уже явно и отчетливо, на форсированной ноте — в стихотворении «Совесь» из другой его харьковской книги — «Александра Павловна»:

*Жизнь моя, как летопись загублена,  
 киноварь не вьется по письму.  
 Я и сам не знаю, почему  
 мне рука вторая не отрублена...*

В своей книге «На рубеже двух эпох» Корнелий Зелинский пишет о встрече с В. Нарбутом в Харькове в 1921 году. Нарбут на днях возвратился из Петербурга и «привез в Харьков изящную книжку Н. Гумилева «Огненный столп...» Нарбут в задумчивости взял в руки и свой сборник «В огненных столбах», отпечатанный в Одессе годом раньше гумилевского, и произнес: «Нам всем гореть огненными столпами. Но какой ветер развеет наш пепел?» Огнем и ветром судного времени помечены лучшие стихи В. Нарбута из двух последних прижизненных — харьковских — книг, стихи о мужестве и покаянии, об «окаменелой муке» и «железном потоке».

В сборнике «Александра Павловна» помещено и нарбутовское стихотворение «На смерть Александра Блока». Та поездка Нарбута из Харькова в Петербург-Петроград, о которой вспоминает К. Зелинский, по всей вероятности была связана со смертью А. Блока в начале августа и с участием Нарбута в прощании с поэтом. Слишком выпукло-документальное изображение останков, совпадающее до деталей и с мемуарами Н. Берберовой, и с известной зарисовкой Ю. Анненкова, дает Нарбут в своих строках:

*Узнать, догадаться о тебе,  
Лежащем под жестким одеялом,  
По страшной отвиснувшей губе,  
По темным под скулами провалам?..  
Увидеть, догадаться о твоём  
Всегда задыхающемся сердце?..  
Оно задохнулось!  
Продаем  
Мы песни о веке-погорельце...*

Век-вероотступник и век-погорелец все же подарил Владимиру Нарбуту в 1922 году щедрый просвет, воистину «летающее настёжь, в бузину, окно». В Харькове судьба соединила его с Серафимой Густавовной Суок, женщиной, которую он любил уже давно и которую суждено ему было любить до последнего, предсмертного магаданского вздоха. В Москву, куда перевели Нарбута в том же 1922 году, они приехали уже как муж и жена. Во всесоюзную столи-

цу Нарбут переводился снова с повышением — партийное начальство все еще ценило его энергию и организаторский талант.

Прощаясь с неполным харьковским двухлетьем В. Нарбута, отметим, помимо двух названных полновесных поэтических книг, изданных им здесь, на слобожанской почве, и нередкие его выступления в харьковской периодике — в уже упомянутом «Календаре искусств» (№№ 1, 2, 4), в журнале «Художественная мысль», в газетах «Коммунист», «Понеделник». Отсюда же, из Харькова, хлопотал Нарбут в 1922 году об одесском переиздании «Аллилуй», которую он пытался выпустить заново еще в 1919 году в Киеве. Тогда обложку и фронтиспис для нового издания «Аллилуй» опять, как и в 1912 году, оформил брат поэта, талантливый и своеобразный график Георгий Нарбут. Киевское издание не удалось осуществить, а Георгию жизни в Киеве оставалось — всего лишь год. В 1920 году старшего из братьев Нарбутов не стало...

Жизнь В. Нарбута в Москве с 1922-го по 1936 год — отдельная немалая тема. Об этом отрезке биографии поэта остались живые, хотя и нередко более чем субъективные свидетельства в двух книгах воспоминаний Надежды Мандельштам, в «Мемуарах» Эммы Герштейн. В 1940 году, когда стало окончательно ясно, что Владимира Нарбута нет в живых (а казнен он был еще в апреле 38-го года), Ахматова и Зенкевич откликнулись на гибель друга-поэта стихами. Восемь хореических строк Анны Ахматовой из цикла «Тайны ремесла», которые она посвятила Владимиру Нарбуту, — одна из самых прозрачно-глубинных и проникновенно-личностных ахматовских миниатюр. Это стихи, где в пространстве между строк речь идет одновременно о поэзии и жизни, о человеке и Боге, о смерти и памяти:

*Это — выжимки бессонниц,  
 Это — свеч кривой нагар,  
 Это сотен белых звонниц  
 Первый утренний удар...  
 Это теплый подоконник  
 Под черниговской луной,  
 Это — пчелы, это донник.  
 Это пыль, и мрак, и зной.*

Вдова поэта С. Нарбут-Суок сохранила все рукописи погибшего, не отобранные при аресте, сохранила одиннадцать писем Владимира Нарбута, отправленных им из пересыльных и колымских лагерей. В отличие от вдовы Михаила Булгакова ей не удалось добиться при жизни издания оставшихся после мужа рукописей. Но во многом, храня верность памяти Нарбута, эта хрупкая женщина смогла убедить высшие, неземные, разумеется, силы... В 1956 году Серафима Нарбут становится женой известного писателя Б. Шкловского. В 1960 году дача Шкловского в подмосковном Шереметьеве сгорает.

На пепелище остается единственная не уничтоженная огнем вещь — старый портфель из толстой рыжей кожи. Открывшие портфель понятия обнаруживают в нем совершенно не поврежденные огнём рукописи Владимира Нарбута. Находят те самые, последние и полные пронзительной нежности письма, что были посланы поэтом жене из гибельных лагерей. И разве не подлинным знамением является эта неопалимость! Разве не замолвил слово в небесах за великомученника Нарбута его невидимый чудом выживший «ангелок серебрянокрылатый»?

Прошла еще почти четверть земного века после шереметьевского известия свыше, пока, наконец, в Париже в 1983 году не был издан весомый том «Избранных стихов» Владимира Нарбута. Да и уже дышащий на ладан монстр тоталитаризма совершил впоследствии — вольно или невольно — глубокий реверанс в сторону загубленного им поэта: объемистый том «Стихотворений» («Современник», 1990), включающий большую часть сохранившихся стихов Нарбута, его лагерные письма к жене, равнодушный и обстоятельный очерк о поэте Н. Бялосинской и Н. Панченко, был издан тиражом 50 000 экземпляров. Для нынешних постсоветских времен и пространств подобные тиражи поэтических книг, конечно, немыслимы.

Едва ли не лазарево восстание из мёртвых настигло сквозь «пыль, мрак и зной» стихи Владимира Нарбута. И всё же постоянно ловлю себя на желании произнести слова в его защиту. Причин этому — множество. Может быть, в том числе — и собственное самоощущение вослед десятилетиям сочинительства.



Незащищённость человека поэтического склада, эфемерность его поделок из тонкой материи, сшитых на живую нитку-рифму, предстают притчей во языцех для отчуждённого большинства и печалью для редких сочувствующих. Эта неприкаянность художника, хрупкость его бытия пронизательно препарированы уже В. Набоковым в его психологически блистательной «Защите Лужина».

Тем более достойно восхищения то, что среди этих людей, поставленных на ветру и на юру самою своей натурой, реально существуют непобеждённые. Преданные ли казни, сами ли захлопнувшие дверь, возвышенные ли чередой унижений — но не побеждённые, не смятые, оставившие за собой — словом, поступком, жизнью — всю полноту своей поэтической правоты. Таковы Осип Мандельштам и Марина Цветаева. Таков великий поэт без рифмы Андрей Платонов.

По самому высшему счёту, по очень личному ощущению остаётся для меня — не в пантеоне! — в солнечной системе непобеждённых и Владимир Нарбут. И это моё отношение к нему уже только отчасти определяется и количеством, и качеством оставленных им поэтических текстов. Словесный образ, родивший первое — и решающее! — притяжение, конечно же, не исчезает. Природа его воздействия не может не остаться навсегда — родственной, костяковой, арматурной.

Но естественно и то, что с течением времени звучат уже и иные регистры. Сигнализируют и другие, во многих смыслах более обширные, источники импульсов. Ореол-харизма, биографический заряд страстотерпия, ставший устойчивым мифом — не на глиняных ногах, на воздушных световых столбах. Человеко-метафора, убедительная и нравственно, и эстетически. Может быть, тем более жизнеспособная, что предстаёт скорее страстно-противоречивой в своей основе, чем стерильно-выхолощенной. Человеко-метафора, убедительная психологически, исторически, этнически, — опираюсь здесь исключительно на своё личное восприятие-доверие. Те самые два твёрдых знака в русском имени и литовской фамилии. Наследие поработанного украинства и расплющенной казацкой вольницы. Бунт киноварной буквой и земляным словом, отсеченной рукой и чересполосицей

зablуждений против трёх кряду веков деспотии, насилия, закабаления. И верхнюю границу этих трёх столетий дай Бог нам всем вместе необманно углядеть во мгновении сегодняшнем, в просветлении, едва лишь забрезжившем...

По высшему человеческому и поэтическому счёту, по твёрдому счёту черниговско-глуховскому и московско-магаданскому моя защита Нарбуту не нужна. Возможно, дружественные хлопоты о нём — лишь некая потребность ухода за несуществующей нарбутовской могилой. Говорю о том, что порою мне всё же очень хочется заслонить Владимира Нарбута от суеты земных шумов и скрежетов, от криворотых и щербатых поцелуев.

Например, защитить его от эха былых шапочных знакомств — развязных желтополосных пассажиров из катаевского «Венца» и псевдомемуаров Георгия Иванова. Или, казалось бы, от почти любовных признаний Надежды Мандлнштам: «Я любила Нарбута: барчук, хохол, гетманский потомок, ослабевший отросток могучих и жестоких людей, он оставил кучку стихов, написанных по-русски, но пропитанных украинским духом...» Ибо вслед за этими свидетельствами симпатии, на страницах этой же «Второй книги», красуются своенравностью выплески неприкрытого пренебрежения: «По-моему, Нарбут не понял ни единого слова в статье, которую он тиснул в своей воронежской «Сирене»...», «Мандельштам обращался с Нарбутом нежно, как с больным ребёнком. Ничего объяснять ему не пытался, но ценил в нём хохлацкое остроумие и любовь к шутке...»

Не сомневаюсь, что сам Осип Мандельштам видел существо Владимира Нарбута значительно глубже поверхности пресловутого «хохлацкого остроумия». Поэтому и оставался на протяжении многих десятилетий другом человека, чья ментальность едва ли не противостояла его собственной. Полагая, что вряд ли вдова нарбутовского друга дала себе труд вчитаться и вдуматься в упомянутую ею «кучку стихов», передаю слово для дополнительных — и весьма уместных для данного абзаца — наблюдений Л. Черткову, автору очерка «Судьба Владимира Нарбута» в парижском издании «Избранные стихи» 1983-го года: «В целом стихотворения книги «Аллилуйя» нам кажется правомерным осторожно сравнить с созданным многие годы спустя «Стиха-

ми о Неизвестном солдате» (1937) сотоварища Нарбута по «Цеху поэтов» Осипа Мандельштама. Как и у Мандельштама, чрезвычайно сложные, герметичные образы соседствуют у Нарбута с прозрачно-внятными фрагментами. Можно было бы, например, сопоставить по-акмеистически отчётливый финал «Стихов о Неизвестном солдате» с концовкой первого стихотворения «Аллилуйи».

Я вполне разделяю мнение некоторых исследователей о недооценённости творческого наследия Нарбута. Нарбутоведение как раздел литературной критики, теории и истории литературы существует на сегодня в самом зачаточном состоянии. «Первопроходцем серьёзного изучения творчества Нарбута» называет Олег Лекманов уже упомянутого выше Леонида Черткова. Исследование самого О. Лекманова о книге «Аллилуйя», уже отмеченный очерк Н. Бялосинской и Н. Панченко, статьи Р. Тименчика и Т. Нарбут, В. Устиновского, недавняя нью-йоркская публикация И. Померанцева — вот, пожалуй, и всё, что может быть отнесено на данный момент к опытам заинтересованного и углублённого взгляда на поэзию Владимира Нарбута.

Причин этой сдержанности и неспешности, прохладцы да опаски на подступах литературной братии к Нарбуту — несколько. Первая — конечно, фактор времени. Стихи Нарбута стали доступными современному отечественному читателю совсем недавно, только лишь после выхода в 90-ом году упомянутого московского тома «Стихотворений». Сборники, изданные до 22-го года включительно, сохранились в немногих, буквально единичных, экземплярах. Сыграла свою зловещую роль практика уничтожения книг ГУЛАГовских узников — подлежащих полному забвению «врагов народа». Так, в Харьковской научной библиотеке им. В. Короленко, известной богатством книжных фондов, не осталось ни единого прижизненного издания Нарбута невзирая даже на то, что две книги его стихов издавались в 20-е годы именно в Харькове.

Вторая причина заторможенного восприятия Нарбута, заключается, на мой взгляд, в том, что интерес читателей и исследователей к «серебряному веку», акмеизму да и самому феномену поэтического «воскресения из мертвых» был в огромной степе-

ни утолён новым открытием сверхсветящейся словесной галактики Осипа Мандельштама. Начиная с появления в 1973-ем году синей мандельштамовской книжки «Библиотеки поэта» с «отменным по омерзительности предисловием литературного упыря Дымшица» (определение И. Вишневецкого), лавина публикаций, посвященных Мандельштаму, не останавливается и не поддаётся уже реальным количественным оценкам. Число томов об авторе «Камня», «Тристий» и «Воронежских тетрадей» — многие сотни, число статей — премногие тысячи. Филологический караул или устал, или притомился и посему вяловато-подозрительно переводит взгляд на работавшего рядом с признанным кумиром другого поэта — Нарбута, звучащего к тому же в некомфортно-иной — неуклюжей, не так ли? корявой, не правда ли? — пластической тональности.

Третья причина определённой отстранённости читающей публики от Нарбута также, полагаю, объективно существует. Вероятно, что она добавляет соли и перца по вкусу в затронутую, второпричинную — сказать бы, сравнительно-соревновательную, — коллизию. Нарбут очень неудобен конформистскому интеллигентскому большинству своим врождённо-генетическим бунтарством, никуда не девшимся с 1912-го года и до сей поры, бунтарством далеко не просто мужицко-хуторской природы.

Не находите ли Вы, гипотетический собеседник, что сердцевина человеческого и творческого характера Владимира Нарбута была раз и навсегда окрашена той же хромосомой долгой исторической памяти, которыми заражены и заряжены, к примеру, Ирландская Республиканская армия или фронда Басконии, пинающие ныне в сонно-мягкие заплывшие бока европейский истеблишмент? Не покажется ли Вам такое предположение диким? Или диковатым? Или столь же неприличным, как, например, иные из нарбутовских текстов: «Упырь», «Портрет», «Порченный», «Тиф», «Самоубийца», «Покойник»? Пожалуй, здесь не «больной ребёнок» Надежды Яковлевны попискивает, но подаёт голос лишённое покоя существо как минимум трёхвековой недужной — и вельми опасной в своём застарелом недуге — памяти.

Казалось бы, о факте украинства автора ранние стихи Нарбута способны свидетельствовать исключительно в эстетическом ключе, хотя почти всякий раз — и форсированно, и выразительно. Такова, к слову, вся нарбутовская пейзажная лирика. Но порою и совсем ещё молодой стихотворец (строки 1909-го, 1910-го и 1912-го годов) проговаривается о болевом и не имеющем срока давности:

*Прощай, Украина, до весны!  
Ведь в череп города я еду,  
И будут сны мои грозны,  
Но я вернусь к тебе, как к деду.*

Или далее — о глуховском акте предания анафеме гетмана Мазепы с ритуалом сожжения чучела непокорного старца (не того ли самого деда из предыдущего ямба?):

*Подыму полено медленно,  
Стану бить по масти ведьминой —  
От загривка до бедра...  
В Глухове, в Никольской, гетмана  
Отлучили от Петра...*

Или и вовсе в дерзко-пророческом ключе:

*Я в облако войду без колебаний  
(украинский апостол) в постолах.*

Кардиограмма последующей протестной реализации Нарбута неустойчива и причудлива. Не только дурные предчувствия в «Аллилуйе», но и почти неприкрытые оклики-притягивания грядущего катаклизма: «Чем хуже, тем лучше...» Нелюбезное расставание с Петербургом и возврат на немощёную черниговскую почву. Наконец, принятие пагубного решения на переломе 17-го года — иных, не губительных, шагов навстречу всеобщей катастрофе просто не существовало — сублимация благородно-наследного бунтарского заряда в присягу лжеидею Интернационала.

Окликание «отец своих» в стихах 20-го года свидетельствует о едва ли не полном зачернении и личностной, и родовой кармы:

*Кто победителем из праха  
Поднимется, скажи, закят?  
И для кого чернеет плаха?..  
...Ясновельможные молчат.*

Или в другом опусе:

*Пусть треснет под твоею шашкой  
Шляхетский череп-скорлупа!*

Вакханалия братоубийства дала невероятно мало шансов Нарбуту, чтобы остаться в будущем, «по итогам века», «украинским апостолом» и послушником русского стиха. Каким-то чудом он смог остаться — по крайней мере, на мой взгляд и вкус — и тем и другим. Пожалуй, что эскизом, наброском апостола и, наверняка, одним из непослушнейших послушников поэзии. Остался самоценным творческим явлением благодаря лучшим стихам и десятым, и двадцатым годов, вопреки всем человеческим слабостям — нет, не ослабевшего — «гетманского потомка», вопреки бесчеловечности бесовского соблазна, заполонившего Русь. Не исчез, заплатив по самому жестокому счёту за свою «вогнанность по рукоять» в выпавшее ему время, за мутацию святого бунтарского духа в «гремучую доблесть» повапленных гробов.

Вот эта намешанность в Нарбуте «разного и помногу», его дворянство и мужицтво, шляхетство и большевизм, вместившиеся разом в одном лихо-гайдамацком нраве, — настораживают многих. И столь же многих раздражает то, как размашисто выламывается он зачастую из канонов гармонии и эстетики стиха. Едва ли не каждому из остепенённых филологов какою-то стороной своей полихромности и сверхэнергетики Нарбут представляется не вполне своим.

*На ивах иволги горели  
Жар-птицею иногородней —*

писал в начале прошлого века недавно объявившийся в столице двадцатиоднолетний провинциал. Нарбут и осуществился

в итоге — и в стихе, и в биографии — вызывающе иногородней, не столичной и не ключющей со стола, птицей. Не иволгой, конечно, совсем другой — резко-певчей *gara avis* с ястребиным взором, подрубленным крылом, соколиными ухватками. «Смерть летит, как кобчик пёстренький грозна...» — из его же, нарбутовской, со степным клёкотом, песни.

Сие — реальность. Иногородним существом представляется Нарбут — наверняка даже иноземельно-иноземным — большинству, причастному к озвучиванию событий и надёжно скрепляющему некую важную систему:

*В Москве хохол, а в неньке-Украине  
нездешний псалмопевец и москаль...*

Не грех и завершить строфу — полагаю, Владимир Нарбут не отказал бы в данном случае в солидарности:

*Аз есмь! Аз на крыле ещё доньше,  
не лизоблюд, не презвенник, не враль.*

Итак, если называть вещи своими именами, то следует открыто сказать о преимущественном игнорировании явления Нарбута критическим бомондом на протяжении полутора десятков лет, вслед за выходом тома «Стихотворений» 90-го года. Ничуть не сомневаюсь, однако, во временности этого заблуждения. Редкое личностно-энергетическое наполнение свода из двухсот с лишним стихотворений, вошедших в книгу, делает самозащиту Владимира Нарбута самодостаточной.

Неподдельная заряженность нарбутовских текстов страстью и образностью — не только яснооко-лирической, но и многоочито-исторической, — намагниченность его слов почвенной мифологией, давней и прадавней памятью, орнаментами фактуры и фонетики обрекают поэтическое наследие Нарбута на дальнейшее прораствание и ветвление. Мог бы подытожить совсем кратко, и не убоясь двусмысленности, что лучшие стихи Владимира Нарбута напитаны кровью и — молоком. Не сомневаюсь, что для более подробного анализа где-то, совсем рядом, «грамотеет племя» нарбутоведов.

Было бы справедливо, если бы «ведали» они поэта исходя именно из его, нарбутовского, характера и дара. Ибо несомненные достоинства поэзии Нарбута с лихвой перекрывают те действительно немалые огрехи, которые так охотно спешат предъявить ему недоброжелатели. Было бы справедливо и мудро со стороны литературной критики направить в сторону Владимира Нарбута не лазерный луч рафинированности и снобизма, но дружелюбно-мягкий свет и звук ну хотя бы трёх воронежских строк Осипа Мандельштама, великого поэта, который ни разу не усомнился в своей любви к Нарбуту за почти три десятилетия их дружбы:

*Не сравнивай: живущий несравним.  
С каким-то ласковым испугом  
Я соглашался с равенством равнин...*

Поэзия Владимира Нарбута для непредвзятого и чувствующего слово собеседника не требует специальных рекомендаций. Как и все подлинное, она говорит и будет говорить сама за себя. Нарбута ценят сегодняшние «смысловники» и «звуколюбы». Даст Бог, будет у него читатель и завтра. Если, конечно, не «исчезнут как класс» люди поэзии — читатели и писатели — не сгинет само слово, обращенное к лучшему в человеке... «Исчезновение литературы (в ее «высоком» смысле и статусе) не включает в себе, по сути, ничего невозможного и трагического...», — меланхолически философствует Д. Пригов, прогуливаясь со своим пугливым догом то ли по Абрамцеву, то ли по Швейцарии. Ведь вымерли же в социальном «смысле и статусе» некогда незаменимые боевые лошади!

Не хочется верить в столь болезненный и ущербный прогноз, в торжество самодовольной рыночной зимы. Да и не верится, не верится даже сейчас, в мрачноватом начале третьего тысячелетия, — стоит хотя бы услышать живой и не утративший магнетизма голос русского поэта и «черниговского князя» Владимира Нарбута из уже далёкой весны тысячелетия минувшего:

*...Благословение тебе, апрель.  
Тебе, небес козлёнок молодой!*



## НА УЛИЦЕ ПУШКИНСКОЙ...

---

(о поэте Марлене Рахлиной)

7 июня родные, друзья, коллеги прощались с поэтом Марленой Рахлиной на 2-ом харьковском кладбище, на старом погосте в конце Пушкинской улицы. Последние годы Марлена много болела и вот ушла из жизни в начале этого лета, не дожив два с лишним месяца до своего 85-летия. Атмосфера похорон представлялась мне значительной и скорбно-просветлённой — провожали в последний путь, по горячий июньской земле, человека, прожившего большую и достойную жизнь — и в творчестве, и в гражданском прямостоянии. Невольно ощущалось дыхание исторического контекста — по существу, без каких-либо официозных форсажей.

И наверное, не случайно через три-четыре дня после этих похорон возникли у меня стихи, о той самой «улице Пушкинской, улице бывшей Немецкой», которая была и остаётся и переплетением живых незабываемых харьковских реалий, и одновременно значительным символом того, что оставалось всегда одинаково дорогим и мне самому, и, как мне видится, Марлене Рахлиной, поэту, человеку чуткой совести и искреннего протеста против всех ипостасей насилия и несправедливости:

*Над улицей Пушкинской три с половиной десятка  
несгинувших лет продолжают свеченье, витая.  
И с «Белым» фугас веселей, чем эфирная ватка,  
дурманит мозги и толкает к закуске «Минтая».  
Вдоль улицы Пушкина прожито жизни две трети,  
увы, небезгрешных, но всё-таки неповторимых.  
И дети друзей повзрослели, и новые дети  
смекают навскидку о числах — реальных и мнимых.*

С яичного купола и с кирпичей синагоги  
она начинается, с бицепсов «Южгипрошахта».  
А далее скорбно молчат лютеранские боги  
над щепнем Хруща богохульного. С бухты-барахты  
порушена-взорвана кирха на штрассе Немецкой,  
и дом кагэбэшный, в дизайне коробки для спичек,  
склепал на руинах обком — со всей дурью советской,  
со всем прилежаньем сержантских малиновых лычек.

Но дальше, но больше — весь бодрый «бродвей» опуская,  
все лавки, витрины и все заведенья с «мартини»,  
все шпалы на выброс, все рельсы «пятёрки»-трамвая,  
ведёт моя улица к неоскудёнью светлыни.  
Всех ульев и лестниц метро — во спасение мало.  
Седмицам и троицам брезжит просвет, но не тыщам —  
здесь храм Усеченья Главы Иоанна Купалы  
парит белизною над старым снесённым кладбищем —

крестильный мой храм. Как срослись имена в аннограмме!  
Погосты, 2-ой и 13-ый, — сцепки и звенья.  
В семейной ограде отцу и печальнице-маме  
и к Пасхе цветы оставляю, и к датам рожденья.  
Но здесь же легли, словно в Пушкинской строчке остались:  
мудрец Потебня, Багалий, Пугачов, Чичибабин.  
И, будто бы миром на сердце сменяя усталость,  
смолкает над дальней могилою дьякон-Шаляпин...

На улице Пушкинской мы и пребудем вовеки —  
не яблом-хореем, так яблоком и хороводом!  
Спешат молодые и радостные человеки  
вдоль утра её, становясь предвечерним народом.  
И пусть бы потом, в андерграунде, в метровокзале,  
иль, может, на самой высотной небесной опушке,  
две наши души, улыбаясь, друг другу сказали:  
«Увидимся снова, как прежде, — в кофейне на Пушке...»

Увидимся, непременно. Уже сейчас снова видимся — и в пуш-  
кинско-уличных виршах, и в этих моих вспоминающих заметках.

Наши встречи с Марленой не были частыми, особенно в последние годы, — во время её болезни, — но они всегда несли в себе намёк на содружество и оставляли добрый след — прочитанные вслух, в живом звуке, стихи, подаренную авторскую книгу, несколько слов дарственной памятной надписи на титуле нового сборника. Ну, вот, например, начертанное её рукой на двух книжках, поднятых мной сейчас из-под моих домашних бумажных печатных монбланов: «дружески и сердечно» — на книге 94-го года, «с большой симпатией» — на сборнике 2001-го.

Думаю, что обозначенные Марлеиным пером определения дружества, сердечности и взаимной симпатии наших отношений не были всего лишь данью вежливости. Ибо по-настоящему много общего связывало нас долгие годы — и в круге человеческого общения, и в творческих предпочтениях, и, может быть, в главном — в совпадении основной и жизневедущей этической максимы, в ощущении того, что «твоя доля с голытьбою», что ты всегда и при любых обстоятельствах на стороне униженных и оскорблённых. На стороне тех, кто угнетаем бесовской и иезуитской одновременно природой власти. Думаю, что и для неё, так же, как для меня, осознание этого морального приоритета оставалось главным в каждом житейском и творческом действии.

«Власть отвратительна, как руки брадобрея...» — едва ли не самое памятное для отечественного читателя изречение Осипа Мандельштама. И если этот афоризм, отнесённый в оригинале как будто бы к средневековой Венеции, цепляет по преимуществу бритвенной остротой своей образности, то применительно к родимым широтам эти горькие слова остаются неизменно актуальными при любой смене режимов и по сию пору режут душу воистину по живому... И отец, и мать Марлены Рахлиной были репрессированы тоталитарным режимом — и это обстоятельство, личностно обострённо-важное для неё, было, как она прекрасно понимала, лишь одним штрихом в общем неисчислимом списке преступлений деспотии, в скорбном списке жертв бесчеловечных и жестоких правителей.

Противостояние аморальной власти и творческое диссидентство Марлены Рахлиной естественно вырастали из никогда не теряемого ею чувства личностного достоинства, из ощущения

своего человеческого и поэтического дара. И поэтому именно целостным проявлением её личности видится мне и её многолетняя тесная дружба с правозащитниками Ларисой Богораз и Юлием Даниэлем, с Борисом Чичибабиным и Генрихом Алтуняном, и то постоянное состояние её поэтической души, когда живые стихи приобретают дыхание, естественно вырастая «из любви и беды»:

*Одна любовь — и больше ничего,  
одна любовь — и ничего не надо.  
Что в мире лучше любящего взгляда?  
Какая власть! Какое торжество!  
Вы скажете: «Но существует Зло,  
и с ним Добро обязано бороться!»  
А я вам дам напиться из колодца:  
любовь и нежность — тоже ремесло.  
Любовь и нежность — тоже ремесло,  
и лучшее из всех земных ремёсел...  
У ваших лодок нет подобных вёсел,  
и поглядите, как их занесло!..*

Это полные подлинного дыхания строки Марлены, которые поднимаются из самого существа её благородной души, — строки, вырастающие из любви. А вот едва ли не самые известные её стихи, полные горечи и скорби, растущие «из беды», из самой почвы многолетнего человеческого страдания — воистину, из безмерности всенародного «оскорбления и унижения»:

*Ведь что вытворяли! И кровь отворяли,  
и смачно втыкали под ногти иглу...  
Кого выдворяли, кого водворяли...  
А мы все сидим, как сидели, в углу.*

*Любезная жизнь! Ненаглядные чада!  
Бесценные клетки! Родные гроши!  
И нету искусства — и ладно, не надо!  
И нету души — проживем без души!*

*И много нас, много, о Боже, как много,  
как долго, как сладостно наше житье!  
И нет у нас Бога — не надо и Бога!  
И нету любви — проживем без нее!*

*Пейзаж моей Родины неувядаем:  
багровое знамя, да пламя, да дым,  
а мы все сидим, все сидим, все гадаем,  
что завтра отнимут? А мы — отдадим!*

Поэт, который способен говорить подлинным голосом своего времени, способен сохранять в своем слове дыхание всечеловеческой почвы — является для меня по определению Настоящим Поэтом. Таким человеком, художником и гражданином в неразделимом личностном единстве, была Марлена Рахлина, таким послушником и посланцем своей Совести оставалась она во все периоды своей долгой и значительной жизни.

Очень важной в социальном отношении представляется мне гражданская позиция Марлены последних лет, трудных времен становления государственности Украины. Выражением этой позиции, выражением её неизменного этического выбора в пользу защиты угнетённых — были поэтические переводы Марлены Рахлиной с украинского языка. Вышла в свет книга её переводов Василя Стуса, поэта, которого Марлена без малейших сомнений называла гениальным. Называла и принимала таковым всею своей душой, в отличие от, увы, немалой части той снобистской литературной и иной публики на Украине, которая бормочет что-то невнятное через ленивую губу о великом страстотерпце и мученике Стусе, и, не помня толком своего собственного родства, продолжает ностальгировать в тональности «Севастопольский вальс, золотые деньки»... К великому сожалению, и до сих пор языковый апартеид на Украине и антинациональная и антидемократическая политика верхов подпитываются флюидами «золота партии» и тоской по фальшиво-золотым денькам.

Да, совсем не случайно выплыли из моего подсознания на лист бумаги, на монитор компьютера уже давно предчувствованные мною строки о улице Пушкинской — именно после прощания с Марленой Рахлиной. Ибо она является как раз тем челове-

ком, который в ряду немногих способен примирить меня с очень неоднозначной и разнородной харьковской средой сегодняшнего смутного времени... И в противовес этой, порою просто-напросто безнадёжной, пестроте и суете оборотней, данной нынешними годами нелегких испытаний, Марлена представляет, конечно же, сторону света и справедливости, сторону, едва ли не ставшую уже реликтом совести и человечности. Она для меня — так же, как и сердечный друг всей её жизни, большой русский поэт Борис Чичибабин, остаётся многозначительным и неподдельным символом добра действенного и живительного. Добра, и до сих пор всё-таки непобежденного, вопреки, всему наглому беспределу новых хозяев жизни, вопреки всему этому мутно-пенному карнавалу нечисти самых разных маскировочных раскрасок.

Атомы живительного кислорода всё же продолжают своё бодрящее броуновское движение «в жёстком воздухе харьковских улиц». В капиллярах-переулках, впадающих в аорту Пушкинской улицы, живёт и искрится ещё немало подлинно дорогих нам ярко-красных кровяных телец. Может быть, живёт всё более и более в смысле неумирания памяти о лучшем и о лучших, в смысле надежды на продолжение, на умное и талантливое обновление традиции.

В одну из уже давних памятно-продолжительных встреч с Марленой в её квартире на первом этаже дома на Стадионном проезде, в тот день, с его скромным застольем и с поочерёдным чтением наших собственных стихов вслух, ещё в конце 80-ых годов, она сообщила мне о совершенно неожиданном, но весьма немаловажном для меня обстоятельстве — о том, что, начиная с 36-го года ей пришлось учиться в одном классе с моим отцом — в 82-ой школе на Чернышевской улице. Да, — уточняя неблизкие уже даты, — отец мой, на год младше Марлены, пошёл учиться в школу в 33-ем году, сразу во второй класс со своим багажом домашних знаний, а годом пересечения их жизненных путей стал тридцать шестой, когда семья Рахлиных перебралась в Харьков из Ленинграда, города рождения Марлены.

Высоченное здание этой общей Марлениной и отцовской школы, возведённое ещё до большевистского переворота как очень выразительный образец неоготического стиля, строилось в исходном варианте для городской женской гимназии, а ныне слу-

жит по мере сил искусству Мельпомены, приютив за своими раз-  
машистыми стрельчатыми окнами и за бетонными украшениями  
своего фасада,- за фигурами химер, грифонов и средневековых  
магистров в учёных колпаках, — режиссёрский факультет Харь-  
ковского института искусств.

Марлена добавила при той нашей памятной встрече на Новых  
Домах, что отца они в своём классе называли Котиком и Котом.  
Это и немудрено, учитывая, что мой Константин Иванович, бу-  
дущий строгий командир советского производства, и в семье не-  
изменно именовался так же — Котиком и Котей. По некоему важ-  
ному метафизическому счету для меня и Чернышевская, и этот  
её 79-ый дом, с пережившими все химерные времена каменными  
химерами-горгульями, сливаются с несущей траекторией улицы  
Пушкинской. Тем более, что и расстояния между Чернышевской  
и Пушкинской — всего-то три-четыре сотни метров, если мерить  
этот путь по перпендикулярной им Бассейной улице. Не стану  
и называть здесь Бассейную её нынешним именем — украинской  
фамилией одного из большевистских холуёв-партократов, рети-  
вого исполнителя людоедской сталинской стратегии Голодомора  
33-го года... А ведь в Киеве в прошлом году наконец сподобились  
свалить каменное изваяние именно этого истукана с пьедестала  
у входа в футбольный стадион в приднепровском парке...

Вернёмся же однако в свои пенаты, туда, «где стылый Харь-  
ков, торгаш и картёжник, дёрнув двести, гордиться собой», где  
«под холмом Журавлиным художник спит в обнимку с промёр-  
злой судьбой». Вернёмся, точнее говоря, к лучшей части много-  
грешного полиса, к его Пушкинской улице, к его Площади Поэ-  
зии, тоже лежащей как раз на оси этого Пушкинского росчерка:

*Здесь храм Усечения Главы Иоанна Купалы  
парит белизною над старым снесённым кладбищем —  
крестильный мой храм. Как срослись имена в анаграмме!  
Погосты, 2-ой и 13-ый, — сцепки и звенья.  
В семейной ограде отцу и печальнице-мame  
и к Пасхе цветы оставляю, и к датам рожденья.  
Но здесь же легли, словно в Пушкинской строчке остались:  
мудрец Потембня, Багалий, Пугачов, Чичибабин...*

Действительно, накрепко срослись и переплелись имена в анаграммах, в стихотворных строках живых и мёртвых, в капиллярах и сосудах кровнородственных улиц. И Потебня с Багалеем, филологические светила родного университета Марлены, и друзья ее с прадавних пор, Борис Чичибабин и Лёша-Леонид Пугачев, талантливый актер, музыкант и художник, и вот уже с июня этого года сама Марлена, — все они остались на улице Пушкинской, на 2-ом и на 13-ом погостах, словно и вправду воплотились в некой точно-прицельной, отыскавшей свои звуки и знаки без промаха, Пушкинской строке...В почти что провидческой, штрих-пунктирной улице-строчке. Здесь же покоится и классик украинской литературы Пётр Гулак-Артемовский, здесь и прекрасные художники, пейзажист Сергей Васильковский и авангардист Борис Косарев. И ещё очень многие, дорогие, вернее, бесценные и незабываемые, — оставившие за собой эту уже последнюю пушкинскую прописку, в том числе и давний соученик Марлены по 82-ой харьковской средней школе, ушедший из жизни четырнадцатью годами ранее...

*На улице Пушкинской, улице бывшей Немецкой,  
студентки, плывущие с лекций, в упор волооки.  
И отсветом зыбким от утренней «Казни стрелецкой»  
чернеют их волосы, и розовеют их щёки...*

Это ещё одна строфа из мужских стихов, посвящённых роднящей нас символической улице и объединяющей нас потребности гармонии, которая по моему глубокому убеждению является и основным первоисточком этической стороны личности. И думаю, что о том же, о главном, звучат и стихи прекрасной женщины, любящей матери, верного друга своих друзей, слова подлинного человека добра и поэзии Марлены Рахлиной:

*А я вам дам напиться из колодца:  
любовь и нежность — тоже ремесло.  
Любовь и нежность — тоже ремесло,  
и лучшее из всех земных ремёсел...  
У ваших лодок нет подобных вёсел,  
и поглядите, как их занесло!..*



## «БЛАЖЕННЫ ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ...»

---

Чистосердечность — наверное, самая впечатляющая примета стихов Ольги Бондаренко. Её поэтическая душевная открытость сродни речистому наречию «настежь», сродни распахнутости окна наружу во всю его ширь. Страсть и доверчивость угадываются одновременно в движении этого распаха — во вторжении жизнелюбия то в солнечно-многолиственное, то в мятежно-ливневое пространство внешнего мира. Это сходство-родство усиливается, когда свежесть встречного воздушного потока удастся сохранить в словесной ипостаси:

*О чём ты так неугомонно  
И так неистово поёшь,  
Мой необузданный, зелёный,  
Летающий отовсюду дождь?*

Вопрошание, выдыхаемое навстречу летнему ливню, не может не быть в то же время и вопросом поэта к себе: о чем свои собственные пения-дожди? О чем звуки и слова собственных молитв и заговоров? И еще прямей и взыскательней: зачем и для чего длится это, не вполне от мира сего, поэтическое звучание?

При всей жёсткости и болезненности вопроса «зачем?» сама суть его вторична. На первый план в самовзыскующем ряду художника раньше или позже выходит вопрос «почему?» Почему поэтический голос, посмевавшийся открыться однажды в целомудрии одиночества, способен не прерываться порою десятилетиями — вопреки то равнодушию, то явному пренебрежению едва ли не всего мира?

Ответ, точнее центральная и важнейшая часть ответа, состоит и в этом случае, конечно же, в присутствии веры.

Вера художника, то есть человека, наделённого полновластным зрением и слухом, — вера в бытие, осенённое высшим духовным началом, — безмерна и всеупорна по определению. Вере же его звука и слова, его грифельной линии или кистевого мазка в свою назначенность и данность достанет, сказано, и размеров горчичного зерна.

Достанет, дабы вынести своё странное и трудное предназначение до незнаемого рубежа — в бунте или кротости, в смирении или протесте — кому как на роду написано. «Хватит душе словаря и трёх ягод из сада...»

Хватит, чтобы «претерпеть до конца» и не отдать за миску чечевичного хлёбова своего первородства — да, личностного, неповторимого, но и не одному только носителю первородства подаренного. Чтобы не предать той самой ценности, которая привнесена в мир не только ради одного дарохранителя.

Вот сильное — и парадоксальное, и обнадёживающее — обстоятельство в этой коллизии, когда и защитить, и утвердить духовный дар суждено по преимуществу в одиночку, сплошь и рядом — не благодаря, но вопреки времени и современникам.

*Тысячелетия для Бога —  
Всего лишь миг!  
Он судит нас не слишком строго —  
Он к нам привык...  
И для Него поступки наши  
Порой смешны,  
Но Он не зря роняет чаши.  
И дарит сны.*

Похоже на то, что Ольга Бондаренко почти полвека тихо и упорно не уставала верить в своём стихе исходному для неё благословию свыше. И стало быть, по её вере, это благое Слово не могло её собственных слов не коснуться. Очевидно и то, что своими тесными земными путями и одновременно своими «воздушными коридорами» ей — существу хрупко-

му, всегда житейски неустроенному — удалось пройти сполна. Критических суждений о своих стихах ей пришлось выслушать немало — и от литрецензентов из «непробиваемых» советских печатных изданий, и от тех, кто обретался, рядом, на библиотечных (четыре с половиной десятка лет О. Бондаренко отдала работе в научной библиотеке им. Короленко) и литературных стезях.

Спору нет, реальные основания для таких упреков существовали. Однако, уже сама интонация её поэтического письма — подчёркнуто-личностная, камерная, интимная, — уже само движение эмоции и раздумья стиха не по «социальным» горизонтальным плоскостям, но по метафизической вертикали делали её подборки принципиально непроходимыми в каких-либо редакциях:

*В ряду последнем я была.  
Меня нигде не замечали.  
И умирали два крыла  
От нерассказанной печали*

Скопидомские, по одному-два стихотворения, публикации в харьковских — одной-двух — газетах, да пара катренов, вошедших в сборник «Майдан поэзии», — вот всё, чем родной город, стоящий на берегах славных рек Лопань и Нетечь («хоть лопни, а не потечёт»), откликнулся за почти полвека литературной жизни О. Бондаренко на её страстность и искренность:

*Я пришла рассказать сокровенное.  
Отзовитесь, не будьте мертвы?*

Благородную работу по сохранению обширного наследия Ольги Бондаренко совершила, уже двенадцать лет спустя после ухода поэта из жизни, её коллега, сотрудница отдела редких изданий и рукописей библиотеки им. Короленко, Софья Шоломова. Сборник «И живёт моя частица в светлой книге бытия» (Х., 2003), включающий около двух сотен стихотворений О. Бондаренко и статьи составителя о её творчестве, вышел в свет в количестве пяти экземпляров.

Наиболее объёмная прижизненная публикация О. Бондаренко (12 стихотворений) состоялась в 1986 г. в московском журнале «Литературная учёба». Связана эта публикация с почти детективными — литературными и околослитературными — обстоятельствами. Ещё в 1960 г. на стихи, посланные О. Бондаренко в адрес А.А. Ахматовой, «Анна всея Руси» ответила неизвестной ей харьковчанке лаконичной, как *veni, vidi, vici*, телеграммой: «Стихи понравились. Благодарю доверие. Привет. Ахматова».

В 1971 г. журнал «Простор» напечатал в посмертной ахматовской подборке одно из стихотворений О. Бондаренко «Нет, это было не со мной...», присланное ею А. Ахматовой в 60-м и ошибочно включённое теперь публикаторами в ахматовский поэтический свод. Вскоре последовало опровержение «Простора». Оно, однако, ничуть не помешало маститому знатоку творчества Ахматовой В. Виленину напечатать в 1983 году в «Вопросах литературы» обстоятельную статью, где им усмотрены подспудные связи стихотворения «Нет, это было не со мной...» с ахматовской «Поэмой без героя»... Такова, совсем вкратце, эта многолетняя история причудливого, и во многом двусмысленного, соприкосновения двух поэтических имён — великого и признанного и безвестного, скромного, но всё же смеющего, почти безмолвно, настаивать на своём собственном достоинстве.

Редкий лично-человеческий дар Ольги Бондаренко определяет и несомненные достоинства её стихов. Сверхлаконичная ответная телеграмма Ахматовой 60-го года — лишь одно частное этому свидетельство.

Благородство, искренность и открытость взгляда О. Бондаренко на мир, жизнелюбие и полнота вдоха не теряются при переходе к выдоху — к простому и ясному, без какого-либо нарочитого изыска, стиху. Она в полной мере наделена тем самым «вечным детством», которое столь благодатно для поэта в его собственных координатах и почти всегда губительно для него в роли участника лукавых игрищ «взрослых людей». Потому так органично звучат в общем контексте простосердечия, смирения и слова горечи, и слова выстраданной умудрённости:

*Так и будет,  
Как от века повелось.  
Кто-то любит,  
Кто-то губит,  
Кто-то — гость...*

Лексическая и образная система стихов О. Бондаренко — традиционна. Порою перебор таких «рабочих» определений, как «душа», «сердце», «небеса», «лучи», становится очевидным. Однако подлинность движения поэтической эмоции способна и на основе, казалось бы, простейших средств создать неожиданно сильный и значительный образ:

*Кажется — ты перебрался  
В самое сердце небес...*

Вот в этом «сердце небес» угадывается и некое новое, ощути-мо-фактурное наполнение, и нечто словно бы отобранное самим временем, фольклорно-эпическое.

Неброскость технического арсенала стиха почти априорно выводит тексты О. Бондаренко за рамки «современного литературного процесса» (по словам одного из более или менее добро-желательных к ней московских рецензентов, поэта А. Парщикова). Однако её вера и верность, её непридуманное бытие в добре, её, наконец, пожизненная преданность не букве, но духу поэзии — удивительным образом награждают многие из её восьми-стиший качеством высокой простоты.

При этом глубина и многомерность образа проявляются всегда ненарочито, без аффектации и чаще всего словно бы исподволь. Ну, вот, например, разве не опять же полнообъёмный, теперь уже зимний, аналог того самого — «зелёного, летящего отовсюду дождя»?

*А снег летит со всех сторон,  
Навстречу вымершему саду...*

И та же мятежность, тот же взгляд одновременно чуть ли не с противоположных сторожевых башен — в оценке собственных земных деяний. От почти отчаяния и самооговора:

*Я считала себя настоящей.  
Но ошиблась, ошиблась я зло...*

до обретения зрения как будто бы более высокополётного, более широкого и едва ли не беспечального:

*Ни один не уходит бесследно,  
Ни один. Ни один, ни один.*

«Я готова к любым поворотам» — пишет Ольга Бондаренко в одном из поздних стихотворений. Важнейшие повороты человеческого бытия — цикличны и повторимы, жизнь за жизнью, век за веком.

«Блаженны чистые сердцем, ибо они наследуют Царствие небесное...» И у того же ангелохранимого летописца («Со львом крылатым Марк и с ангелом — Матфей...») нетрудно отыскать свидетельства о второй стороне правды: земные царства-государства наследуются совсем другими существами — лживыми и жестокими, изворотливыми и своекорыстными. Так — повсюду и во все времена. Так до Нового Завета, и после него. Но и в этом неизменном раскладе реалий различается сквозь пелену сожаления всевластный промысел Господний.

Ибо Он, премудрый промышленник, всегда догадывается и чаще всего знает, что творит. Он Сам и создал, и не устаёт повторять краткие ключевые слова: «Аве» утреннее и «Аминь-амен» вечернее.

Истинно и свидетельство о Сыне Человеческом евангелиста Луки: «Думаете ли вы, что Я пришёл дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение» (Лука, 12. 51). В этом земном мире, разделённом, и сегодня, может быть, всё более разделяющемся, стихи Ольги Бондаренко неизменно остаются на стороне «сердца небес», на стороне добра и гармонии.

2005 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

---

### *КРОВЬ, МОЛОКО*

1. Литера на багряном щите .....5
2. Окраина, околица, сестрица ..... 45
3. Третий мемуар.....109

### *НА УЛИЦЕ ПУШКИНСКОЙ...*

- «Неисправимый звуколюб» —  
заметки о метафоризме Осипа Мандельштама ..... 265
- Защита Нарбута ..... 296
- На улице Пушкинской... ..... 321
- «Блаженны чистые сердцем...» ..... 329

Літературно-художнє видання  
(російською мовою)

СЕРГІЙ ШЕЛКОВИЙ

## НА УЛИЦЕ ПУШКИНСКОЙ...

проза, есеїстика

ISBN 617-587-045-7



Відповідальний за випуск *Є.Ю. Захаров*

Редакція авторська

Комп'ютерна верстка *О.А. Мірошниченко*

Фото на обкладинці *С.К. Шелковий*

Підписано до друку 27.09.2011

Формат 60 x 84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Constantia

Друк офсетний. Умов. друк. арк. 18,88 Умов. фарб.-від. 20,42

Умов.-вид. арк. 31,0. Наклад 500 прим.

Харківська правозахисна група

61002, Харків, а/с 10430

<http://khpg.org>

<http://library.khpg.org>

Видавництво «Права людини»

61112, Харків, вул. Р. Ейдемана, 10, кв. 37

Свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України  
серія ДК № 3065 від 19.12.2007 р.

Надруковано на обладнанні Харківської правозахисної групи

61002, Харків, вул. Іванова, 27, кв. 4